

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://mandelshamjoseph.ru/> Приятного чтения!

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам

Виктор Чалмаев. Импровизация судьбы
Я уменьшаюсь там – меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я – сказать, что солнце светит.
О. Мандельштам. «Ода» (1937)

Современники Осипа Мандельштама, воссоздавая эпизод его появления в редакции акмеистического журнала «Аполлон» – он пришел вместе с матерью Флорой Осиповной Вербловской, – очень быстро ощутили одно препятствие, сбивавшее объектив, мешавшее, если угодно, точности «снимка». Юный поэт уже тогда был лишен «статичности», полон сумятицы, он пребывал в состоянии изменчивости, какого-то трудного боренья с самим собой. Этаким неусидчивый, ершистый, конфликтный «егоза»! К тому же Бог весть что о себе предполагающий...

Едва ли кто из первых портретистов Мандельштама – скажем, тот же редактор «Аполлона» С. К. Маковский, поэт М. А. Волошин – понимал, что сконфуженный, льнувший к матери юноша, избравший мучительный путь русского поэта, решает для себя множество труднейших вопросов. С чем, с каким багажом входить в русскую поэзию и православие, в эту завораживающую и опасную бездну? «Быть русским – мало им родиться», – скажет Игорь Северянин. А ведь смущенный юноша, готовый сполна разделить участь России, принять даже ее тяжелую железную кару, не имел и этого «мало»! Родился он в Варшаве, в семье торговца кожами, в юности учившегося в талмудической школе, одинаково плохо говорившего и по-немецки и по-польски, рос вне православия и долгое время, по существу, вне почвы русского языка...

Было над чем задуматься. Очень ли полноценна стартовая позиция да еще с явной, как отметит С. Рассадин, «разночинной неполноценностью, межеумочностью», «косноязычием рождения» для восхождения в качестве яркого русского поэта?

Собеседники из новой поэтической среды обитания сразу заметили устойчивые внешние черты в текучем, непрерывно менявшемся портрете, полном претензий и неуверенности, Мандельштама, сохранившиеся навсегда: вечное поднятие, вскидывание головы, выдвигание вперед подбородка, привычку закрывать глаза при чтении стихов, мешковатую одежду, неловкую, незелегантную, будь то сюртук или пиджак. Из длинных рукавов пиджака нередко торчали только кончики пальцев. Поднятие головы было формой постоянного духовного пророческого самоутверждения, невольного преодоления внутренних тревог. Тут не до складок одежды, не до рукавов пиджака! На вещах всегда лежит отпечаток человека...

Таким смятенным запечатлел себя поэт – вовсе не считаясь с невольным самоумалением – в стихотворении «Автопортрет» (1914):

В поднятии головы крылатый
Намек – но мешковат сюртук;
В закрытии глаз, в покое рук –
Тайник движенья непочатый.
Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость, –
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!
(Курсив мой. – В. Ч.)

Не правда ли – неплохое введение в поэтическую биографию, во все изначально драматичное автобиографическое пространство поэта? Образующее стихами и прозой, письмами и дневниками, даже жестами, поступками, запечатленными на экране памяти современников? Безусловно, прав мастер «литературных раскопок» биограф поэта О. А. Лекманов, [1] сказавший, что «многие из мемуарных портретов поэта как бы вышиты по канве мандельштамовского стихотворения».

Поэт явно подтолкнул мемуаристов к определенному штампу, к представлению его в образе еврея Соломона из повести Чехова «Степь»: «Короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его птичья, общипанная фигура». Для Н. Пунина, мужа А. Ахматовой в 20–30-е годы, он – «маленький еврей», для А. Блока «жидочек-артист», для Г. Иванова – «актерский ученик», «ангел», для И. Эренбурга – «щуплый,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru маленький, с закинутой назад головкой, на которой волосы встают хохолком, похожий на молоденького петушка».

И все же ориентация на стихотворный «Автопортрет», на внешнее сходство застенчивого поэта с заносчивым петушком[2], не сельским, конечно, а тем, что разрывает своим криком ночную тьму у античного Акрополя (это нравилось и самому Мандельштаму), не вполне правомерна. Вдова поэта Н. Я. Мандельштам в частной беседе рекомендовала совершенно иной символ, выдвигала как самые многозначительные строки 1932 года:

Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык.
(«Батюшков»)

На наш взгляд, есть еще одно, самое автобиографичное, итоговое произведение поэта – «Мой щегол, я голову закину» (1936), – вновь говорящее и о «тайнике движенья тайном», и о необычайной цельности и единстве его жизни как сплошной импровизации судьбы. Оно, говоря по-народному, подтверждает мысль, что каков человек в колыбельку – таков он и в могилку. Причем этот главный автопортрет, последняя оглядка на самого себя, осматривание прожитого и предстоящего со стороны, извне, создан на исходе жизни:

Мой щегол, я голову закину –
Поглядим на мир вдвоем:
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоём?
Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли – до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?
Что за воздух у него в надлобье –
Черн и красен, желт и бел!
В обе стороны он смотрит – в обе! –
Не посмотрит – улетел!
(Курсив мой. – В. Ч.)

Именно такой, нарядный и наивный красавец, обречен «летать и петь»! Собственно он-то, а не грузный нелетающий петух у Акрополя и способен соединить полет и пение... И как ошутима ненавязчивая грусть, печаль сожаления и предчувствий во всем описании хрупкого красавца, грусть, сосредоточенная к тому же в одном слове – «щегловит»! Это, конечно, чисто мандельштамовский неологизм, восходящий к слову «щеголеват», то есть вызывающе изящен, чист со своим незамутненным оперением («перья черно-желты»). Воздух вокруг него «черн и красен, желт и бел». Этот денди среди птиц, по сути дела, хрупок для суровой зимы, для века-волкодава, колючего, как мякина с ее остьями. В одном из вариантов стихотворения мысль о родстве со щеглом выражена еще более отчетливо: «Словно щеголь, голову закину / И щегла увижу я...»

Совсем уж очеловеченным, по существу двойником, с которым хочется поглядеть на мир вдвоем, предстает этот щегол, не осознающий, до чего же он щегловит, после двукратного пожелания в духе народного совета «смотреть в оба», беречься беды, ползущей отовсюду: «в обе стороны он смотрит – в обе!» Вздох скрытого сожаления провожает его отлет («не посмотрит – улетел!»). Время «щегловитых», поющих, играющих, певчих птиц проходит, – наступает время птиц хищных, ловчих, «канцелярских». И скоро самому поэту будет не с кем, кроме щегла, то есть себя же самого да живущих в памяти друзей, вроде Гумилева, «поглядеть на мир вдвоем»[3].

Сейчас, пожалуй, не все и поймут, что РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) во главе с литературным гангстером Л. Авербахом, с журналом «На посту», буквально пропитом ненавистью, «рапортами» доношительства, и помнится-то благодаря таким каламбурам и другим шуткам «певчих птиц». Мандельштам напишет об этих «канцелярских птичках» и такие строки:

...величайший постник в мире
Лишь тот, кто натошак читает «На посту».
(Курсив мой. – В. Ч.)

Это скрытое «щегольство» (иначе – гордость, даже самоудовлетворенность!) как главная, стержнеобразующая черта характера, ядро всей поэтической миссии Мандельштама родилось на основе той сверхзадачи, которую он поистине с русским

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru
размахом ставил перед собой:

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.

Вот, оказывается, о чем возмечтал этот пришелец в русскую поэзию, преодолевший порог безъязычия! Он мечтал, если говорить на его языке, гуманизировать XX столетие, изжить разрыв времен, согреть и очеловечить историю, освятив ее всеми богатствами культуры. И если удастся – превратить историческое пространство в уютный «вселенский очаг»! И это все – при полном понимании, что «век-волкодав» скоро бросится и на его плечи, что «грядущее холодно и страшно».

Такие «претензии», уверенность, что «от меня будет свету светло», не умерли в поэте до конца его дней. «И меня только равный убьет», – скажет он, многое, очень недоброе успев разглядеть в зрачках века.

Случайно ли то обстоятельство, что в 1909–1911 годах, то есть в самом начале созиданья себя, сотворенья жизненных и поэтических импровизаций, Мандельштам обратился к урокам поэта-символиста Вячеслава Иванова? С нескольких писем (и открыток) к нему, «Вячеславу Великолепному», хозяину знаменитой «башни» (религиозно-художественного салона в Петербурге), собственно, и начинается вечно смятенное, полное вихревых порывов – в разные стороны! – автобиографическое пространство Мандельштама...

В таком обращении к мэтру символизма и к наиболее близкому другому кумиру поэтической юности Гумилева, Мандельштама, Ахматовой – И. Ф. Анненскому – есть случайная закономерность. Оба эти поэта по возрасту могли принадлежать к «старшим символистам» вроде Брюсова, Бальмонта, Ф. Сологуба (и даже к «декадентам» 80–90-х годов вроде Минского и Мережковского). Но по всему характеру творчества, по пафосу «спасения» символизма от брюсовского этического релятивизма, от кукольной театральности, нравственного безразличия, готовности служить и Богу и Дьяволу – лишь бы не прозябать, быть вечно чем-то одержимым, исключительным! – Вячеслав Иванов, конечно, принадлежал к «младшим символистам». К поколению Блока и Андрея Белого. Он хотел спасти символизм на путях его своеобразной «христианизации», полного приобщения к русской религиозной традиции понимания красоты. Она, красота, не украшает мир, не делает его изысканней, нарядней, она... спасает, воскрешает мир! От Вячеслава Иванова Мандельштам мог услышать о таком резком разграничении западного (индивидуалистического) и русского (соборного) представления о призвании поэта: «Для человека западной обмирщенной образованности лучший свет человечества – гений, для русского народа – святой» (выделено мной. – В. Ч.).

В тесной связи с этой, русской точкой зрения на пророческую, вестническую миссию художника, восходящей, конечно, к пушкинскому «Пророку», к Киевской Руси, к «Слову о законе и благодати» митрополита Илариона, Вяч. Иванов определял и особенности беспокойного, нескованного логикой и формальным совершенством русского ума:

Своначальный, жадный ум, –
Как пламень, русский ум опасен:
Так он неудержим, так ясен,
Так весел он – и так угрюм.
Подобный стрелке неуклонной,
Он видит полюс в зыбь и муть;
Он в жизнь от грезы отвлеченной
Пугливой воле кажет путь.
Как чрез туманы взор орлиный
Обслеживает прах долины,
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле.
(«Русский ум»)

Вот какой опасный и трудный уровень восхождения задавал молодому европейцу из еврейской семьи этот поздний символист!

Не о подобных ли «семенах», глубоко запавших в душу, говорится в письме Мандельштама Вяч. Иванову от 20 июня 1910 года: «Ваши семена глубоко запали в мою душу и я пугаюсь, глядя на громадные ростки»?..

Характерна и приписка, предшествующая подписи: «Почти испорченный Вами, но исправленный Осип Мандельштам».

«Почти испорченный, но исправленный»... Забегая вперед, можно сказать, что в подобных экспромтах, «приписках» к письмам, надписях на книгах, обмолвках, случайных выкриках в момент ссоры, как при вспышке магии, предстает вся незримая работа души Мандельштама. Не следует пропускать подобные жемчужины духа. Анне Ахматовой Мандельштам подносит свою книгу «Камень» с надписью, говорящей о стихах как откровениях свыше, об огне, зажигаемом божественной рукой: «Анне Ахматовой – вспышки сознания в беспомыслии дней. Почтительно – Автор».

Одного из молодых поэтов, который пришел искать публикаций, жаловаться, что его не печатают, Мандельштам не только весьма невежливо выгнал из комнаты, но и напомнил, прокричав вслед с верхней площадки лестницы «А Иисуса Христа печатали?»

В письме к А. А. Ахматовой от 25 августа 1928 года (это день смерти Николая Гумилева) он скажет – с поразительной искренностью: «Хочется видеть Вас. Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется».

И он мужественно отстаивал свое молитвенное, священное собеседование с изгнанным из обихода Гумилевым. Когда в 1933 году на литературном вечере в Ленинградском Доме печати Мандельштаму сунули записку провокационного характера – кто из старших поэтов для него значим? – и у него не было возможности уклониться от ответа, то, побледнев, скомкав записку, он выкрикнул в тревожной тишине:

– Чего вы ждете от меня? Какого ответа? Я – друг моих друзей!.. Я – современник Ахматовой!

Лишь бы дух веял, где хочет... Даже в одной из последних, внешне очень прозаических просьб 1937 года – о работе, о деньгах, о материальной поддержке – безработный и безденежный Мандельштам тревожится только за вспышки сознания, за ясность духовную. «Пока что мое физическое „я“ оказывается ненужным и неудобным приложением к моей работе. Между тем без него обойтись нельзя», – жалуется он Н. С. Тихонову на абсолютную нужду, на свои жалкие усилия по физическому выживанию (середина марта 1937 года). И в это же время он пишет строки, говорящие о том, какой птицей небесной он оставался:

Я скажу это начерно, шепотом –
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра...
И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище –
Раздвижной и прижизненный дом.
Земная жизнь с ее «вопросами» – это чистилище, приготовление к отчету перед
высшим Судией, к явлению в небесное хранилище душ...

Подобное мироощущение создавало и свою систему ориентаций. Русский гений – это святой. Это Христос.

...Возвращаясь к трудной эпистолярной беседе с Вяч. Ивановым 1909–1911 годов (в ней затронуты и Ф. И. Тютчев, и строгий ямб – «узда настроения», оценен сборник Вяч. Иванова «По звездам» – книга эта для Мандельштама «слишком круглая, без углов»), важно увидеть глубоко личный подтекст даже мимолетных строк.

Почему Мандельштам, например, так боится ростков от «семян», запавших в его душу после чтения Вяч. Иванова?

Почему в письме к своему бывшему гимназическому учителю Владимиру Гиппиусу Мандельштам (из Парижа 19–27/IV 1908 года), начинающий поэт, говорит не столько о поэзии, сколько о своих исканиях в сфере религии? Он пишет и об увлечении марксистской догмой, и об очистительном огне норвежского драматурга Генриха

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru
Ибсена, и о притяжении ко всей религиозной культуре, добавив, правда: «Не знаю, христианская ли, но во всяком случае религиозная»...

Все автобиографическое пространство Мандельштама крайне драматично, полно мук и тревог, если его рассматривать в свете главного, духовно-нравственного решения: поэт восходит к русскому пониманию красоты как святости, таланта поэта как дара, полученного даром от Бога именно для жертвенного служения России и человечеству. Бурный внутренний рост в сторону образа поэта-пророка, восхождение к молитвам о России, к страдальческому пафосу в любви к жизни сопровождались уходом из иудаизма, из «хаоса иудейского», движением к христианству. И к обожествлению всех стихий русского языка. Такого апологета русского языка, видевшего в каждом русском слове крепость, античный Акрополь, не было, пожалуй, в XX веке.

Правда, до православия Мандельштам («испорченный, но исправленный») так и не дошел: 14 мая 1911 года он был крещен в методистской кирке в Выборге, то есть стал протестантом. Он выбрал, оставив иудаизм, как выражается С. С. Аверинцев, «стускленный, неяркий вариант христианства», который исключает патетику, который скудостью обрядов «щадит нервы слишком возбудимого, слишком впечатлительного человека».

Почему именно этот вариант? Потому ли, что «протестантизм... был в колер, в масть „матовому“ миру раннего Мандельштама»? Потому ли, что скудость протестантского обихода воспринималась им как «честность и праведность, исключая патетику и недостоверные духовные притязания»? [4]

Вопрос, видимо, сложнее.

Смысл этого решения, пусть и половинчатого, не приведшего поэта к Рублеву и Сергию Радонежскому, но глубоко соответствующего всему русскому художественно-религиозному Ренессансу начала XX века, тем не менее нельзя преуменьшать.

Оно как бы «раскололо», расщепило весь внутренний мир поэта. Все почти стихотворения Мандельштама о Москве – он, истинный петербуржец, приехал впервые в древнюю столицу, «стародавний колодец русскости» (И. Ильин) в январе 1916 года к М. И. Цветаевой – это явное изложение духовной биографии, «раскола» в душе, тревог от «въезда» в Россию:

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

Что это за роковая рогожа, прикрытие казнимых? Почему вслед за рогожей вспоминается Углич, где играют дети в бабки (то есть тема гибели юного царевича Димитрия)? Москва не возникает, не экспонируется, а как бы жадно засасывает, поглощает, затягивает, вроде воронки или омота, своего гостя. Она вселяет даже... испуг, набрасывает на него то мантию самозванца, то одежду царевича Алексея («по улицам везут меня без шапки»), заставляет вспомнить идею Москвы – третьего Рима.

Не три свечи горели, а три встречи –
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече,
И никогда он Рима не любил.

Все дело в том, что Рим – то поэту как раз был крайне близок. Как и Франция, у которой и в 1937 году он будет просить:

...как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости.

Целый пласт мандельштамовской лирики 1916 года возник в движении к Москве, к иконе, этому «умозрению в красках» (Е. Трубецкой), к московским соборам, где, «как в нежных глиняных амфорах, играет русское вино», где «просвечивает скрытое горенье»... Но сила притяжения России и православия как бы уравнивается силой притяжения, томления, обращенного к Элладе, к Риму: эту двойственность Мандельштам угадал и в Вяч. Иванове...

В Москву, в историческую Россию, в стихию русского языка в лице Мандельштама «въехал» с немислимыми муками поэт-филолог, посещавший лекции на словесном факультете Сорбонны, учившийся в Гейдельберге, живший в Швейцарии, навсегда

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru покоренный красотой Италии и творениями Данте, переживший увлечение «музыкой жизни» великих поэтов Франции Ш. Бодлера и П. Верлена. Это был завершённый «западник». Весь свой русский акмеизм Мандельштам будет определять как «тоску по мировой культуре»...

Уйти от своих «европейских» видений – гомеровской «Илиады», императорского Рима, французского театра, от эллинизма – он просто не сможет: это, и прежде всего Рим, останется частью его самого, островком свободы в 30-е годы. Но возникла (и пересеклась с тоской по мировой культуре) и тоска по России, по глубинным слоям ее православной культуры, по Батюшкову и Державину, Лермонтову, даже по «Слову о полку Игореве» («Как Слово о Полку струна моя туга»). Многие «непредсказуемые», на первый взгляд, поступки, решения поэта, обычно объясняемые как-то бегло, поверхностно, будут иметь «тайник движенья непочатый» в его русском, христианском отношении к миссии поэта, пророка, подвижника, святого.

Правда, эти две «тоски» – «тоска по мировой культуре» и тоска по сокровенной России, по русскому Слову – будут причудливо смешиваться, переплетаться, порождать уникальнейший художественный мир и неповторимое жертвенное самосознание Мандельштама, когда «у чужих людей мне плохо спится / И своя-то жизнь мне не близка».

Откуда могло прийти к нему высочайшее уважение к Сергею Есенину, о котором он, не стесняясь, заявлял и после «Злых замечок» Н. И. Бухарина, антиесенинского пасквиля 1927 года, этой очередной казни поэта? Мандельштам отыщет в есенинском наследии строку:

«Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого как наваждение рассыпается рогатая вечность. Угадайте, друзья, этот стих: он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:

...Не расстреливал несчастных по темницам.

Вот символ веры, вот поэтический канон настоящего писателя – смертельного врага литературы» (курсив мой. – В. Ч.).

Как родился совершенно не представимый в среде свирепых расстрельщиков 20-х годов и их комсомольских бардов из коммуно-чекистского салона Л. Ю. Брик импульсивный поступок хрупкого Мандельштама в вельможной квартире вождей Каменевых в годы террора? Он услышал, как подвыпивший чекист Я. Блюмкин, до этого в 1918 году убивший германского посла Мирбаха, спасенный и пригретый самим Троцким, расхвастался охапкой ордеров на арест (и расстрел), ордеров, уже подписанных Дзержинским, снабженных печатью:

«И Мандельштам, который перед машиной дантиста дрожит, как перед гильотиной, вдруг вскакивает, подбегает к Блюмкину, выхватывает ордера, рвет их на куски.

Потом, пока еще ни Блюмкин, никто не успел опомниться – опрометью выбегает из комнаты, катится по лестнице и дальше и дальше, без шапки, без пальто, по ночным московским улицам, по снегу, по рельсам, с одной лишь мыслью: погиб, погиб» (Г. В. Иванов. «Петербургские зимы». 1928).

Во всех этих эпизодах импровизации судьбы, часто стихийных, непредумышленных, присутствует все тот же «тайник движенья непочатый»: усвоенное в юности представление о трагической миссии русского поэта, о том, что поэт – «волна, а океан Россия» (Я. Полонский).

В конце XX века возникла, правда, и иная смотровая позиция, нравственная площадка для диалогов с Россией: «ниоткуда с любовью». Так определил в названии книги эту позицию – для себя, конечно, не для всех! – Иосиф Бродский. Обращаться к России «ниоткуда с любовью» – не будем судить эту мучительную позицию Иосифа Бродского! – Мандельштам не мог, не умел. Ведь если ты вещаешь о чем-то «ниоткуда», то и послание твое... придет в «никуда», во всяком случае не в Россию. При таком «ниоткуда» не скажешь, как сказал Мандельштам в 1934 году после написания известной «Эпиграммы» («Мы живем, под собою не чуя страны»): «Я к смерти готов» (Из воспоминаний А. Ахматовой).

Центральное звено всей импровизации судьбы, приближения Мандельштама к

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
идеальному образу поэта-подвижника и его крестного страдальческого пути, – конечно, поэтические исповеди 1917–1918 гг. Ни единой мысли о бегстве из России, о том, чтобы искать особой судьбы, отдельной от России – при полном понимании, что «темен жребий русского поэта»:

Кто знает, может быть, не хватит мне свечи.
И среди бела дня останусь я в ночи.
И, зернами дыша рассыпанного мака,
На голову мою надену митру мрака.
Как поздний патриарх в разрушенной Москве,
Неосвященный мир неся на голове,
Чреватый слепотой и муками раздора,
Как Тихон – ставленник последнего Собора, –
напишет Мандельштам в 1918 году, соотнеся свою судьбу с мученической судьбой патриарха Тихона. На меньшее – и в удаче и в беде – он не согласен. Он тоже – «поздний патриарх» из царства поэзии.

Н. Я. Мандельштам по-своему, но достаточно точно определила причину неразлучности с Россией, непонимания эмигрантского пути для себя: «...Почему не бежал Сократ? Потому что важен был суд совести, участь сограждан, потому что он был гражданином...»

Могло ли при таком суровом самоограничении, неприятии чересчур «болтливой» литературы возникнуть изобилие мемуаристики, летописности, дневниковой откровенности в наследии поэта-подвижника, вечного кочевника, вынужденного скитальца?

...Архив и голос. Известно яростное, исповедальное признание поэта, благословляющее «голос», но как бы закрывающее доступ в архив, в свой уникальный духовно-эмоциональный мир. Он буквально изгоняет, как Христос изгонял торговцев со ступенек храма, искателей в его судьбе зрелищного, игрового, скандального начала:

«У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я, к черту, писатель! Пошли вон, дураки!» («Четвертая проза». 1930).

Вновь – какая многозначительная «мелочь»!.. И это после чрезвычайно драматических событий и переживаний – впечатлений от керенщины («заседало лимонадное правительство Керенского»), от опасных скитаний по югу (Крым, Грузия в 1918–1921 гг.), стычек с разрешенной псевдолитературой и встреч с бедствующей, теснимой литературой, которая еще дышала «ворованным воздухом» свободы...

Откуда бралась подобная резкость?

Безусловно, обстоятельства личной неустроенности, вечная бездомность и осознанная неприязнь ко всему «разрешенному и предписанному», частые утраты рукописей, начинавших блуждание «в людях», определили этот выпад.

Но предопределило столь активную неприязнь к литературщине, к мещанскому любопытству к зрелищной, заданной части биографий писателей – все то же понимание красоты как святости, как спасительного моления.

Если все истинное стихотворство – священнодействие, сплошная молитва о душе, угадывание вестей от Бога, то к чему сберегать черновые, бытовые подстрочники к ним? Близкая Мандельштаму Марина Цветаева также считала, что стихи весь мандельштамовский «быт перемололи», а потому, может быть, «живя в очень трудных условиях, без сапог, в холоде, он умудрился оставаться избалованным». Молитва не имеет репетиций, заготовок, черновики, она всегда – не зрелищна...

Судьба Мандельштама – даже изложенная в «Шуме времени», в «Египетской марке», в «Путешествии в Армению», в письмах к невесте, потом жене Н. Я. Мандельштам, в записных книжках, – это упрек всем создателям нарочито зрелищных биографий. Они искусно превращают свою жизнь в серию непрерывных «презентаций». Для них как бы и не «позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех» (Б. Пастернак).

Истинный талант может быть занимателен по совершенно иной причине: он способен

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru
жить без необходимого, без стандартного, но теряться, тускнеть при отсутствии...
излишнего, ненужного толпе!

XIX век еще уважал эту особенность поэта-чудака, который до явления божественного глагола «среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней» (Пушкин). Этот век еще не высмеивал даже юродивых, этих «санитаров» израненных, озверевших толп.

Н. Я. Мандельштам запомнила слова мужа о XIX веке: «Знаешь, если когда-нибудь был золотой век, это – век девятнадцатый. Только мы не знали». Мандельштам неоднократно сопоставлял XIX век – «Но разбит твой позвоночник, / Мой прекрасный жалкий век!» и век XX – «Мне на плечи бросается век-волкодав». Самое завершённое автобиографическое произведение Мандельштама «Шум времени» (1923) начинается со своеобразной похвалы русской провинции, пусть и подстоличной, вокзалу в Павловске, в столичном «полу-Версале»:

«Я помню хорошо глухие годы России – девяностые годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм – тихую заводь: последнее убежище умирающего века... Туманные споры о какой-то „Крейцеровой сонате“ и смену дирижеров за высоким пультом стеклянного Павловского вокзала, казавшуюся мне сменой династий».

XX век таких прибежищ для царственной культуры, такой благословенной «тишины» не имел. Он уже научился бросаться на плечи – в особенности поэтические – крайне изощренно. И тема «века», «немеющего времени» – предмет неостановимого диалога поэта со временем.

Все пространство переживаний, самооценок Мандельштама заполнено или «приглядкой» к XX веку с его катастрофами –

Ну, что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.

(«Сумерки свободы». 1918).

или прямым противоборством с какими-то новейшими путами, несвободой, «мякиной» с ее колючками, с лишениями («Лишив меня морей, разбега и полета». 1935). В наиболее автобиографичных фрагментах «четвертой прозы» (1930) поэт, измученный «канцелярскими птичками», опалой, запретами, рисует такое удручающее свое состояние:

«...Что это за фрукт такой, этот Мандельштам, который столько-то лет должен что-то такое сделать и все, подлец, изворачивается? Долго ли еще он будет изворачиваться?..»

Я виноват, двух мнений здесь быть не может. Из виноватости не вылезая. В неоплатности живу. Изворачиваньем спасаюсь. Долго ли мне еще изворачиваться?

Мой труд, в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя воля, и я на это согласен. Подписываюсь обеими руками».

Сквозь весь XX век – в автобиографической прозе и поэзии Мандельштама – проступает силуэт главного соблазна времени, создававшего обманность, профанацию и творчества и строительства личности, в целом – судьбы.

В чем этот кошмарный соблазн заключался?

Оказывается, «век-волкодав» придумал и навязал поэзии очень коварную и картинную новинку: вместо пушкинского, тютчевского пути самореализации, когда действовал принцип «веленью Божию, о Муза, будь послушна», возник путь поэта как «оскандаленного героя», повсеместно «озэкранный», «повсесердно утвержденного».

Не стоит забывать, отмечая заслуги «серебряного века», и о театрализации личностей, об играх с масками, которые этот век навязывал в виде «желтой кофты» (Маяковскому), смазных крестьянских сапог и образа крестьянского Леля (Есенину), «дервиша» (М. Волошину), Черубины де Габриак, «герцогини-поэтессы» (учительнице Е. И. Дмитриевой) и т. п. «Пой по нашим нотам – и мы тебя примем...»

Еще до придумывания стихов, поэм, драм поэт обязан был придумать свой образ,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru свою маску, как можно более экзотическую. Он должен был создать свой наряд, жаргон, подобрать «реестр» чудачеств. И при этом обязательно надо было научиться «подмигивать» потребителю всех чудачеств, пошлых выходов, подмигивать сквозь маску непонятого гения (или шута), успокаивая публику: мои проделки нестрашны, забавны, притворны! Поэт обязан был запускать в оборот очередную серию слухов, недомолвок о своем образе жизни, пороках, наклонностях, роковых «тайнах».

На глазах молодого Мандельштама возникали и отмирали, например, всецело игровые, театрализованные «биографии» двух королей поэтов – Константина Бальмонта, жившего в образе нелепого небожителя, своего рода павлина с изумрудным опереньем («Я изысканность русской медлительной речи, / Предо мною другие поэты – предтечи»), и Игоря Северянина, по оплошности принявшего роль «трагического паяца» эпохи. Он явно «утопил» себя в цитатах, в бокалах с шампанским (да еще с ананасами) из собственных «поэз». «Хвост», общее оперенье, прием начинали управлять поэтом. «Тяжелую дань эпохе... заплатило трудолюбивейшее и благороднейшее поколение русских поэтов», – заметил Мандельштам.

Во что превратился в конце жизни модный, пугавший всех драмами жизни и смерти, «черными масками» и мессами писатель Леонид Андреев?

Гости на его нелепо-грандиозной даче в Финляндии вспоминали, что, когда он величаво сходил на завтрак, как граф Лоренцо из его драмы «Черные маски», то небольшой оркестр с полонезом, с выходной увертюрой, если бы он внезапно заиграл... был бы излишним (К. И. Чуковский)!

Весьма любопытно, что в этом вопросе – упрощения, удешевления, измелчения поэтической личности под видом ее внешнего усложнения, демонизации! – Мандельштам вновь, как и при открытии Москвы, Кремля, соприкоснулся с душевным опытом Марины Цветаевой. Она неоднократно повторяла: «Я единственность в мире чую раньше, чем мир»; «Я – в стане уединенных»; «Вы невинны, это я безмерна» и т. п. Ко всем принудительно «озэкранным», «огимненным», «популярившим» – в угоду моде, толпе, социальному заказу! – и Мандельштам мог бы обратить слова неистойой Марины, сказанные по другому поводу:

С пошлой бессмертной пошлости
Как справляйтесь, бедняк?
(Курсив мой. – В. Ч.)

Впрочем, он, с годами убедившись, как велики и принудительны размеры этой пошлости – тут он просто предугадал даже опустошение целой плеяды громких (эстрадных) лириков 60-х годов! – говорил еще резче:

«Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух» («Четвертая проза»).

«Безымянский, силач, подымающий картонные гири... Чернильный купец, нет, не купец, а продавец птиц, – и даже не птиц, а воздушных шаров РАППа...» («Путешествие в Армению»).

Сейчас на рубеже веков какая-то оторопь берет перед масштабами провидческой правоты поэта, силой его предвидения. Да ведь что такое целые косяки романов-рек на заданную, то есть не выстраданную тему – будь то «производственный роман», официозная «Лениниана», «молодежная повесть» и т. п., – как не картонные гири, не воздушные шары?! Как, впрочем, и последовавшие за этим косяком их разоблачения, отрицания? Все тот же дух сенсации, «откликушества», скандала или триумфа, все той же «пошлыны пошлости».

Дух пошлости проник и во многие так называемые «дневники», мемуары, всякого рода «романы без вранья» (А. Мариенгоф), созданные в состоянии флирта с тем же обывателем, любителем вечных поэтических «презентаций», под властью внеличных, казенных или антиказенных, завербованных форм сознания. Мандельштам скажет за всех и для всех, кто дорожил «ворованным воздухом» истинной свободы:

«Скандалом называется бес, открытый русской прозой или самой русской жизнью... Это не катастрофа, но обезьяна ее, подлое превращение, когда на плечах у человека вырастает собачья голова. Скандал живет по засаленному просроченному паспорту, выданному литературой. Он – исчадие ее» («Египетская марка». 1927).

Где бывал, куда ездил поэт? Почему его так притягивало Черное море, христианский

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Юг (Армения, Грузия), Эллада, образы Италии, аббаты из французских романов и семейство Домби из романа Ч. Диккенса? Почему в воронежской ссылке он то и дело восходил мыслью

От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим – яснеющим в Тоскане?
Можно ли сказать, что православие, до которого он не «дошел», все же притягивало его? Хотя бы в его армянском (григорианском) варианте?

Строки Мандельштама 1914 года – «Посох мой, моя свобода – / Сердцевина бытия» – как и раннее, обращение к Вяч. Иванову, к идее красоты как святости, объясняют очень многое и в характере его путевых заметок, в самой идее пути.

По сути дела он был... не путешественником, – хотя посетил и целый ряд европейских стран, и Украину, начиная с Киева, и Грузию, то и дело возвращался в «знакомый до слез» Ленинград и в «буддийское лето» Москвы, – а своего рода паломником. Он стремился вечно что-то строить, то есть «бороться с пустотой, гипнотизировать пространство», не летать, а «подниматься только на те башни, какие сами можем построить» («Утро акмеизма»).

Что в связи с этим означало для него, скажем, пространство Армении («оружий камней государство»), которую он посетил в 1930 году?

При всей яркости и точности автобиографических подробностей – в стихах и в книге прозы («Путешествие в Армению») – решающую особенность восприятия можно определить словами самого поэта-паломника: «Первое условие – искренний пиетет к трем измерениям пространства – смотреть на них не как на обузу и на несчастную случайность, а как на Богом данный дворец» (Курсив мой. – В. Ч.).

Может быть, эта идея дворца, данного Богом, но, увы, «испорченного» историей, несовершенными людьми, – вообще главнейшая во всем дневниковом, эпистолярном и лирическом пространстве Мандельштама? Он мыслит целыми континентами и голосами пространства, эпох, Времени.

В Европе холодно. В Италии темно.
(Ариост. 1933–1935)

Я говорю с эпохой, но разве
Душа у ней пеньковая?

(Полночь в Москве. 1931)

Айя-София – здесь остановиться

Судил Господь народам и царям!

(«Айя-София». 1912)

«Все перепуталось, и сладко повторять:

Россия, Лета, Лорелея».

(«Декабрист». 1917)

Хотя временами он тосковал и по сердечному разговору на лестнице, разглядывал воронежские влажные огороды или берега зубчатой Камы. «Каждая минута тянется вечностью. Один не могу сделать шага, – пишет он в апреле 1937 года В. Я. Хазиной, жалуясь на астму, усиливаемую одиночеством. – Дошел... до того, что хотел явиться в любую больницу. Цеплялся за людей. Сидел часами в чужих местах (в учреждении, среди рабочего дня) – лишь бы быть около кого-нибудь».

В свете этих устремлений поэт и увидел Армению, с одной стороны, как вариант Палестины, как святую землю, обладающую высочайшим моральным и религиозным статусом, как Дворец и Храм. Он превратил свое путешествие в хождение, то есть нравственное деяние, в богоугодное дело, в путь духовного восхождения. Но и малые подробности этой земли не исчезли. Здесь крестьяне-курды с узелками сыра примирили «дьявола и бога, каждому воздавши половину», здесь не просто каменистые земли, а есть «книга звонких глин», есть «прекрасной земли пустотелая книга, / По которой учились первые люди»... А самый обычный водопад с нитями воды?

Какая роскошь в нищенском селенье –
Волосная музыка воды!

Что это? пряжа? звук? предупреждение?

чур-чур меня! Далеко ль до беды!

Откуда это заклинание «чур-чур меня»? Сейчас очевидно, что поэт во все свои путешествия, или паломничества, в любой маршрут привносит символику «тесного» и «пространственного» пути, идею евангельской притчи о «небесных вратах»: в них

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru войдет лишь тот, кто идет в жизни трудным, «тесным путем», то есть в самоограничении, с молитвой, а не по роскошным, фальшивым широким путям, «вводящим в пагубу». И только в свете такого понимания святости «узкого», жертвенного пути становятся понятными такие «армянские» строки поэта, как

Были мы люди, а стали людье...

Понятен и его испуг, осмысленный через обращение к строкам Маяковского и его неологизму «громадьё» («Я планов наших люблю громадьё, / Размаха шаги саженьи»):

И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен...

«Переогромленность» – это своего рода искусственная раздутость чванства, внутренняя гигантомания, надувные бицепсы ограниченного таланта. В идеологическом плане – это спекуляция на пролетарском первородстве, на риторике вещаний.

Перо Мандельштама – летописца своей жизни, странствий, «возвращений» в Петербург или Москву, в Коктебель, вынужденных перемещений в места ссылки на Каму и в Воронеж – повинуется общей установке на предельную активность самого акта, священного действия паломничества. Не только после просмотра фильма «Чапаев» поэт будет упрашивать – время, историю – «измеряй меня, край, перекраивай». Любое место, куда он ступает, таит в себе «узел жизни, в котором мы узнаны / И развязаны для бытия». Даже место, воспроизводимое в воспоминаниях, во снах, в молениях. Паломник не просто рассматривает святую землю, не ради одних мук идет он тесным путем: он непрерывно строит, крепит свою личность, он готовится к высшему суду.

Так, Петербург и Павловск в «Шуме времени» позволили поэту узнать в себе и «ребяческий империализм», восхищение мощью России-империи (оно вначале, правда, «плохо вязалось с кухонным чадом средне-мещанской квартиры... с еврейскими деловыми разговорами»), и идеализм русских мальчиков-революционеров. «...Мне было смутно и беспокойно. Все волнение века передавалось мне. Кругом перебежали странные токи... Мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары», – вспомнит поэт истоки своего увлечения марксистской догмой.

Москва, «подаренная» поэту М. Цветаевой, поездка с ней в Александров одарили Мандельштама неубывавшей замороженностью «тяжестью веков» и тем, что позднее Надежда Яковлевна Мандельштам назовет: «синтез всех слоев личности», достигаемый «благодаря ведущей идее, строящей личность»[5]. В московском автобиографическом цикле стихов любопытно и присутствие Марины Цветаевой, присутствие почти не скрываемое[6].

К сожалению, в силу множества причин – или пропали в скитаниях, кочевьях, или не вошли в оборот в общем массиве эпистолярной прозы какие-либо документы, но любовные отношения поэта разных лет остались почти неосвещенными. Ситуации его поклонения О. Н. Арбениной, актрисе Александринского театра (1920), бурного увлечения юной Ольгой Ваксель (1924), впоследствии в 1932 году вышедшей замуж за вице-консула Норвегии в Ленинграде, уехавшей в Осло, но вскоре покончившей с собой, поклонения перед «мастерицей виноватых взоров» поэтессой Марией Петровых (30-е годы), увлечения в Воронеже Натальей Штемпель – весьма не разыграны, неопределенны. «Изменнические стихи», как называл он ряд стихотворений (их сберегла Н. Я. Мандельштам, описавшая и сами эпизоды несостоявшегося разрыва с поэтом, его ухода к О. Ваксель), сохранились только частично, как факт биографии переживаний. Но бытовых подстрочников этих стихотворных событий – скажем, стихотворения, посвященного О. Арбениной «За то что я руки твоей не сумел удержать» (1920) или эпитафии О. Ваксель «Возможна ли женщине мертвой хвала» (1935, 1936) – нет пока в обозримом обиходе.

Возникает, правда, и мотив оправдания поэта Надеждой Яковлевной Мандельштам. Кто знает, какие страсти бушевали – или могли бушевать, но вовремя гасились! – в этой семье-крепости?

А нужны ли подробности после таких строк, обращенных к памяти юной сумасбродки, знавшей, может быть, одно геройство – «быть женщиной великий шаг, / сводить с ума – геройство» (Б. Пастернак), – той же Ольги Ваксель:

И прадеда скрипкой гордился твой род,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru

От шейки ее хорошея,
И ты раскрывала свой аленький рот,
Смеясь, итальянсь, русея...
Я тяжкую память твою берегу –
Дичок, медвежонок, Миньона, –
Но мельниц колеса зимуют в снегу
И стынет рожок почтальона.

Один из друзей А. Блока, летописец литературного быта 1910-х годов, творец особой «петербургологии», завсегда артистических кабаре «Бродячая собака», «Привал комедиантов» (в Петербурге) и «Странствующий энтузиаст» и «Мансарда» (в Москве 20-х годов) Вл. Пяст запомнил то упоение, с которым молодой Мандельштам разделял богемное веселье, трактирный размах и артистичное озорство собратьев по перу. Он принимал, видимо, и свою кличку «Мраморная муха» (как автор «Камня») в подвале «Бродячей собаки», участвовал в сочинении грациозных экспромтов, своего рода литературных игр.

«Мандельштам, задирая голову, рассыпал свои оригинальные стихи», – вспоминал В. Пяст[7], приводя несколько образцов этих экспромтов, в частности строки о Блоке – «Блок – король и маг порока; / Рок и боль венчают Блока» и несколько экспромтов в честь постоянных богемных посетительниц, королев «Бродячей собаки»: он называл одну из них библейским именем Юдифь, себя, очевидно, дерзко представляя поверженным Олоферном. В сладкий ужас его повергали, судя по многим несложившимся циклам любовных посвящений – об этом говорит и раздел данной книги «Изменническая лирика», – недоступные красавицы тех лет, посещавшие «Собаку». Среди них были знаменитая балерина Тамара Карсавина, Вера Судейкина – «Коломба 10-х годов», как называла ее А. Ахматова, актрисы Алиса Коонен, Евгения Хованская, Наталья Волохова – прототип бессмертного цикла Блока «Снежная маска», литераторши Тэффи, Лариса Рейснер... Анна Ахматова, в те годы тоже разделявшая «ночную» жизнь богемного Петербурга, вспомнит позднее о тех артистичных женщинах, вроде Саломеи Андрониковой-Гальперн, – «Соломинке», Ольге Арбениной-Гильденбрандт – красивой легкомысленной актрисе Александринки, которые в полном смысле вдохновили и «научили» Мандельштама писать стихи о любви.

Почему Мандельштам все же не создал своего образа идеальной возлюбленной, «единственной на свете» (А. Блок), не сочинил поэмы о любви как «святом месте души»? Хотя он явно испытывал воздействие «Стихов о Прекрасной Даме» А. Блока, его циклов «Снежная Маска» и «Кармен»? На его глазах слагалась книга любви В. Маяковского из поэм «Облако в штанах» и «Про это»... А совсем рядом с ним создавала свой образ великой избранницы, желавшей и в любовном поединке страдать только по великим поводам, – Анна Ахматова.

Тогда же в России жил и работал И. А. Бунин, искренне веривший, «что, может быть, для чувства любви, чувства эротического,двигающего миром, пришел писавший ее („Жизнь Арсеньева“ – В. Ч.) на землю». И на замечание одного критика об «избытке рассматривания» некоторых интимных подробностей в его любовной новеллистике Бунин отвечал с усмешкой:

– Какой там «избыток»! Я делал только тысячную долю того, как мужчины всех племен и народов «рассматривают» всюду, всегда женщин со своего десятилетнего возраста и до 90 лет... Последите-ка, как жадно это делается в каждом трамвае, особенно когда женщина ставит ногу на подножку трамвая! И есть ли это только развратность, а не нечто в тысячу раз иное, более страшное?

Автобиографическое пространство Мандельштама в известном смысле... асексуально, лишено этого бунинского (и блоковского, есенинского!) рассматривания. В своей асексуальности он равен, пожалуй, другому современнику – Андрею Платонову. Но причины этого отсутствия особой власти – «человеческая жизнь вся под властью жадности женщины» (Бунин) – у каждого из них особая.

Сейчас очевидно, что Мандельштам явно уставал от спора с веком-волкодавом, от чрезмерности тех вселенских и очень рационалистических задач – «узловатых дней колена надо флейтою связать», – которые он выдвинул перед собой. Своей поэмы о Прекрасной Даме, о женщине, которая «дала красивое страданье» или «своей величавой походкой всколыхнула мне душу до дна» (С. Есенин), он и не мог создать. Но, по крайней мере, «полдороги» к этой песне души он – в пределах «изменнической» лирики – все же прошел. И эта грань его души выразилась в намеках, началах тех или иных микроциклов.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Впрочем, многие «изменнические» стихи – или стихи, посвященные той или иной женщине, – так далеко уходят «от темы», а вернее, так прочно соединяют реальную фигуру адресатки и мечту поэта о сверхреальной Элладе, о красоте, к которой стремится душа, что их и изменой – то, даже платонической, не назовешь. Иосиф Бродский справедливо объединил два чудесных стихотворения «Золотистого меда струя из бутылки текла...» (1917) и «С миром державным я был лишь ребячески связан...» (1931) в одно «остановившееся прекрасное мгновение». Но где же в них те петербургские красавицы, на которых «жалуется» поэт, сбежав к «нереидам» на Черное море:

И от красавиц тогдашних – от тех европейнок
нежных,
Сколько я принял смущенья, надсады и горя?
Их нет, как нет и Веры Судейкиной, одной из первых звезд тогдашнего русского кинематографа (впоследствии жены композитора Игоря Стравинского), встреченной поэтом в Крыму – той, что «через плечо поглядела». Но какой-то особый привкус любви, восхищения, предчувствий исхода и этой европейки нежной из России, есть в любой подробности крымской Эллады – «виноград, как старинная битва, живет», «золотистого меда струя из бутылки текла так тягуче и долго»... И, конечно, в концовке:

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
Любовь – последний, наивысший дар наполненному кораблю, завершение пространства и времени жизни.

Письма к Н. Я. Мандельштам – их довольно много в данной биографии, рассказанной поэтом, – это вновь состояния Одиссея, полного пространством и временем, но берегающего не себя, а другого, доверившегося ему человека. Эти письма переполнены вестями о нереальных успехах (в материальной сфере), о «золотых горах», обещаемых жене.

Но образ Надежды Яковлевны Мандельштам – неизменной собеседницы, привозившей в Воронеж опальному поэту самые важные вести, сохранявшей и приумножавшей его связи, знака и т. п., в целом в еще большей мере сливается со многими другими подробностями, жизнеощущениями. Явно Надежде Яковлевне посвящено стихотворение «Холодок щекошет темя...» (1922) – в этот год зарегистрирован их брак, – но и в нем тема любви как бы заслонена перечнем обид на время («и меня срезает время, / Как скосило твой каблук»), предчувствием бед

...И вершина колобродит,
Обреченная на сруб.
Подробности гибели Мандельштама в пересыльном лагере «Вторая речка» под Владивостоком – крайнее нервное истощение, боязнь отравления, а наряду с этим чтение соседям Петрарки (по-итальянски) и Бодлера (по-французски), безразличие к еде и т. п. – говорят об одном: он и последние дни, среди явных помрачений, жил в образе поэта-вестника, контуры которого давно возникали в его сознании. В один из последних приездов в Ленинград он в зале ожидания Московского вокзала увидел искусственную пальму трактирного типа. И свой скудный узелок – все пожитки! – повесил на нее с возгласом:

– Странник в пустыне!

Образы-метафоры Мандельштама 30-х годов вообще отсвечивали темами, намеками, атомами смыслов, говорящих о близкой беде. На этот раз метафора просто утешала. Провожавшие поэта друзья – их вообще было уже немного! – грустно смеялись и плакали. «Бедный узелок на пальме – в этом образе вдруг сконцентрировалась судьба поэта, его странническая неумолимая судьба», – вспоминала Е. М. Тагер. И как тут не вспомнить вещи слова великого русского поэта:

Странником в мире ты будешь,
В этом твое назначенье,
Радость – Страданье твое...
Виктор Чалмаев

Шум времени

Музыка в Павловске

Я помню хорошо глухие годы России – девяностые годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм – тихую заводь: последнее убежище умирающего века. За утренним чаем разговоры о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара, туманные споры о какой-то «Крейцеровой сонате» и смену дирижеров за высоким пультом стеклянного Павловского вокзала, казавшуюся мне сменой династий. Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и, одно к одному, – девяностые годы слагаются в моем представлении из картин разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни.

Широкие буфы дамских рукавов, пышно взбитые плечи и обтянутые локти, перетянутые осиные талии, усы, эспаньолки, холеные бороды: мужские лица и прически, какие сейчас можно встретить разве только в портретной галерее какого-нибудь захудалого парикмахера, изображающей капули и «а-ля кок».

В двух словах – в чем девяностые годы. – Буфы дамских рукавов и музыка в Павловске; шары дамских буфов и все прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала, и дирижер Галкин в центре мира.

В середине девяностых годов в Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры двенадцатого года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царил Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневевших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз и навстречу ему тяжелые испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы.

Вышло так, что мы сделали павловскими зимогорами, то есть круглый год на зимней даче жили в старушечьем городе, в российском полу-Версале, городе дворцовых лакеев, действительных статских вдов, рыжих приставов, чахоточных педагогов – (жить в Павловске считалось здоровее) – и взяточников, скопивших на дачу-особняк. О, эти годы, когда Фигнер терял голос и по рукам ходили двойные его карточки: на одной половинке поет, а на другой затыкает уши, когда «Нива», «Всемирная новь» и «Вестники иностранной литературы», бережно переплетаемые, проламывали этажерки и ломберные столики, составляя надолго фундаментальный фонд мещанских библиотек!

Сейчас нет таких энциклопедий науки и техники, как эти переплетенные чудовища. Но эти «Всемирные панорамы» и «Нови» были настоящим источником познания мира. Я любил «смесь» о страусовых яйцах, двуголовых телятах и праздниках в Бомбее и Калькутте, и особенно картины, большие, во весь лист: малайские пловцы, скользящие по волнам величиной с трехэтажный дом, привязанные к доскам, таинственный опыт господина Фуко: металлический шар и огромный маятник, скользящий вокруг шара, и толпящиеся кругом серьезные господа в галстуках и с бородками. Мне сдается, взрослые читали то же самое, что и я, то есть главным образом приложения, необъятную, расплывшуюся тогда литературу приложений к «Ниве» и проч. Интересы наши вообще были одинаковы, и я семи-восемью лет шел в уровень с веком. Все чаще и чаще слышал я выражение «fin de siècle», «конец века», повторявшееся с легкомысленной гордостью и кокетливой меланхолией. Как будто, оправдав Дрейфуса и расквитавшись с чертовым островом, этот странный век потерял свой смысл.

У меня впечатленье, что мужчины исключительно были поглощены делом Дрейфуса, денно и ночью, а женщины, то есть дамы с буфами, нанимали и рассчитывали прислуг, что подавало неисчерпаемую пищу приятным и оживленным разговорам.

На Невском, в здании костела Екатерины, жил почтенный старичок – рёге Лагранж. На обязанности этого преподобия лежала рекомендация бедных молодых французских девушек боннами к детям в порядочные дома. К рёге Лагранжу дамы приходили за советом прямо с покупками из Гостиного двора. Он выходил старенький, в затрапезной ряске, ласково шутил с детьми елейными католическими шутками, приправленными французским остроумием. Рекомендация рёге Лангранжа ценилась очень высоко.

Знаменитая контора по найму кухарок, бонн и гувернанток, на Владимирской улице, куда меня частенько прихватывали, походила на настоящий рынок невольников.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru Чайвших получить место выводили по очереди. Дамы их обнюхивали и требовали аттестаций. Аттестация совершенно незнакомой дамы, особенно генеральши, считалась достаточно веской, иногда же случалось, что выведенное на продажу существо, присмотревшись к покупательнице, фыркнуло ей в лицо и отворачивалось. Тогда выбегала посредница по торговле этими рабынями, извинялась и говорила об упадке нравов.

Еще раз оглядываюсь на Павловск и обхожу по утрам дорожки и паркетные вокзала, где за ночь намело на пол-аршина конфетти и серпантина, – следы бури, которая называлась «galà» или «бенефис». Керосиновые лампы переделывались на электрические. По петербургским улицам все еще бегали конки и спотыкались дон-кихотовские коночные клячи. По Гороховой до Александровского сада ходила «каретка» – самый древний вид петербургского общественного экипажа; только по Невскому, гремя звонками, носились новые, в отличие от грязно-бордовых, курьерские конки на крупных и сытых конях.

Ребяческий империализм

Конный памятник Николаю I против Государственного совета неизменно, по кругу, обхаживал замшелый от старости гренадер, зиму и лето в нахлобученной мохнатой бараньей шапке. Головной убор, похожий на митру, величиной чуть ли не с целого барана.

Мы, дети, заговаривали с дряхлым часовым. Он нас разочаровывал, что он не двенадцатого года, как мы думали. Зато о дедушках сообщал, что они – караульные, последние из николаевской службы и во всей роте их не то шесть, не то пять человек.

Вход в Летний сад со стороны набережной, где решетки и часовня, и против Инженерного замка охранялся вахмистрами в медалях. Они определяли, прилично ли одет человек, и гнали прочь в русских сапогах, не пускали в картузах и в мешанском платье. Нравы детей в Летнем саду были очень церемонные. Пошептавшись с гувернанткой или няней, какая-нибудь голоножка подходила к скамейке и, шаркнув или присев, пищала: «Девочка (или мальчик, – таково было официальное обращение), не хотите ли поиграть в „золотые ворота“ или „палочку-воровочку“?»

Можно себе представить, после такого начала, какая была веселая игра. Я никогда не играл, и самый способ знакомства казался мне натянутым.

Случилось так, что раннее мое петербургское детство прошло под знаком самого настоящего милитаризма, и, право, в этом не моя вина, а вина моей няни и тогдашней петербургской улицы.

Мы ходили гулять по Большой Морской в пустынной ее части, где красная лютеранская кирка и торцовая набережная Мойки.

Так незаметно подходили мы к Крюковому каналу, голландскому Петербургу эллингов и нептуновых арок с морскими эмблемами, к казармам гвардейского экипажа.

Тут, на зеленой, никогда не ездимой мостовой, муштровали морских гвардейцев, и медные литавры и барабаны потрясали тихую воду канала. Мне нравился физический отбор людей: все ростом были выше обыкновенного. Нянька вполне разделяла мои вкусы. Так мы облюбовали одного матроса-«черноусого» и приходили на него лично посмотреть и, уже отыскав его в строю, не сводили с него глаз до конца учения. Скажу и теперь, не обинуясь, что, семи или восьми лет, весь массив Петербурга, гранитные и торцовые кварталы, все это нежное сердце города, с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, кариатидами Эрмитажа, таинственной Миллионной, где не было никогда прохожих и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка, особенно же арку Главного штаба, Сенатскую площадь и голландский Петербург я считал чем-то священным и праздничным.

Не знаю, чем населяло воображение маленьких римлян их Капитолий, я же населял эти твердыни и стогны каким-то немислимым и идеальным всеобщим военным парадом.

Характерно, что в Казанский собор, несмотря на табачный сумрак его сводов и дырявый лес знамен, я не верил ни на грош.

Это место было тоже необычайное, но о нем после. Подкова каменной колоннады и

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru широкий тротуар с цепочками предназначались для бунта, и, в воображении моем, место это было не менее интересно и значительно, чем майский парад на Марсовом поле. Какая будет погода? Не отменят ли? Да будет ли в этом году?.. Но уже раскидали доски и планки вдоль летней канавки, уже стучат плотники по Марсову полю; уже горой пухнут трибуны, уже клубится пыль от примерных атак и машут флажками расставленные вешками пехотинцы. Трибуна эта строилась дня в три. Быстрота ее сооружения казалась мне чудесной, а размер подавлял меня, как Колизей. Каждый день я навещал постройку, любовался плавностью работы, бегал по лесенкам, чувствуя себя на подмостках участником завтрашнего великолепного зрелища, и завидовал даже доскам, которые наверное увидят атаку.

Если бы спрятаться в Летнем саду незаметно! А там – столпотворение сотни оркестров, поле, колосющееся штыками, чресполосица пешего и конного строя, словно не полки стоят, а растут гречиша, рожь, овес, ячмень. Скрытое движение между полков по внутренним просекам! И еще серебряные трубы, рожки, вавилон криков, литавр и барабанов... Увидеть кавалерийскую лаву.

Мне всегда казалось, что в Петербурге обязательно должно случиться что-нибудь очень пышное и торжественное.

Я был в восторге, когда фонари затянули черным крепом и подвязали черными лентами по случаю похорон наследника. Военные разводы у Александровской колонны, генеральские похороны, «проезд» были моими ежедневными развлечениями.

«Проездами» тогда назывались уличные путешествия царя и его семьи. Я хорошо наострилсь распознавать эти штуки. Как-нибудь у Аничкова, как усатые рыжие тараканы, выползали дворцовые пристава: «Ничего особенного, господа. Проходите, пожалуйста, честью просят...» Но уже дворники деревянными совками рассыпали желтый песок, но усы околоточных были нафабрены и, как горох, по Караванной или по Конюшенной была рассыпана полиция.

Меня забавляло удручать полицейских расспросами – кто и когда поедет, чего они никогда не смели сказать. Нужно признать, что промельк гербовой кареты с золотыми птичками на фонарях или английских санок с рысаками в сетке всегда меня разочаровывал. Тем не менее игра в проезд представлялась мне довольно забавной.

Петербургская улица возбуждала во мне жажду зрелищ, и самая архитектура города внушала мне какой-то ребяческий империализм. Я бредил конногвардейскими латами и римскими шлемами кавалергардов, серебряными трубами Преображенского оркестра, и после майского парада любимым моим удовольствием был конногвардейский праздник на Благовещенье.

Помню также спуск броненосца «Ослябя», как чудовищная морская гусеница выползла на воду, и подъемные краны, и ребра эллинга.

Весь этот ворох военщины и даже какой-то полицейской эстетики пристал какому-нибудь сынку корпусного командира с соответствующими семейными традициями и очень плохо вязался с кухонным чадом средне-мещанской квартиры, с отцовским кабинетом, пропахшим кожами, лайками и опойками, с еврейскими деловыми разговорами.

Бунты и француженки

Дни студенческих бунтов у Казанского собора всегда заранее бывали известны. В каждом семействе был свой студент-осведомитель. Выходило так, что смотреть на эти бунты, правда на почтительном расстоянии, сходилась масса публики: дети с няньками, маменьки и тетеньки, не смогшие удержать дома своих бунтарей, старые чиновники и всякие праздношатающиеся. В день назначенного бунта тротуары Невского колыхались густою толпою зрителей от Садовой до Аничкова моста. Вся эта орава боялась подходить к Казанскому собору. Полицию прятали во дворах, например во дворе Екатерининского костела. На Казанской площади было относительно пусто, прохаживались маленькие кучки студентов и настоящих рабочих, причем на последних показывали пальцами. Вдруг со стороны Казанской площади раздавался протяжный, все возрастающий вой, что-то вроде несмолкавшего «у» или «ы», переходящий в грозное завывание, все ближе и ближе. Тогда зрители шарахались, и толпу мяли лошадыми. «Казак, казак», – проносилось молнией, быстрее, чем летели сами казаки. Собственно «бунт» брали в оцепленье и уводили и Михайловский манеж, и Невский пустел, будто его метлой вымели.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru
Мрачные толпы народа на улицах были первым моим сознательным и ярким восприятием. Мне было ровно три года. Год был 94-й, меня взяли из Павловска в Петербург, собравшись поглядеть на похороны Александра III. На Невском, где-то против Николаевской, сняли комнату в меблированном доме, в этаже. Еще накануне вечером я взобрался на подоконник, вижу: улица черна народом, спрашиваю: «Когда же они поедут?», говорят – «Завтра». Особенно меня поразило, что все эти людские толпы ночь напролет проводили на улице. Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественно пышном, парадном виде. Проходил я раз с няней своей и мамой по улице Мойки мимо шоколадного здания Итальянского посольства. Вдруг – там двери распахнуты и всех свободно впускают, а пахнет оттуда смолой, ладаном и чем-то сладким и приятным. Черный бархат глушил вход и стены, обставленные серебром и тропическими растениями, очень высоко лежал набальзамированный итальянский посланник. Какое мне было дело до всего этого? Не знаю, но это были сильные и яркие впечатления, и я ими дорожу по сегодняшний день.

Обычная жизнь города была бедна и разнообразна. Ежедневно к часам пяти происходило гулянье на Большой Морской – от Гороховой до арки Генерального штаба. Все, что было в городе праздного и вылощенного, медленно двигалось туда и обратно по тротуарам, раскланиваясь: звяк шпор, французская и английская речь, живая выставка английского магазина и жокей-клуба. Сюда же бонны и гувернантки, молодежь француженки, приводили детей: вздохнуть и сравнить с Елисейскими полями.

Ко мне нанимали стольких французенок, что все их черты перепутались и слились в одно общее портретное пятно. По разумению моему, все эти француженки и швейцарки от песенок, прописей, хрестоматий и спряжений сами впадали в детство. В центре мировоззрения, вывихнутого хрестоматиями, стояла фигура великого императора Наполеона и война двенадцатого года, затем следовала Жанна д'Арк (одна швейцарка, впрочем, попала к кальвинисткам), и сколько я ни пытался, будучи любознателен, выведать у них о Франции, ничего не удавалось, кроме того, что она прекрасна. У французенок ценилось искусство много и быстро говорить, у швейцарок знание песенок, из которых коронная – «песенка о Мальбруке». Эти бедные девушки были проникнуты культом великих людей: Гюго, Ламартина, Наполеона и Мольера. По воскресеньям их отпускали слушать мессу, никаких знакомств им не полагалось.

Где-нибудь в Иль-де-Франсе: виноградные бочки, белые дороги, тополя, винодел с дочками уехал к бабушке в Руан. Вернулся – все «scelle»[8], прессы и чаны опечатаны, на дверях и погребках – сургуч. Управляющий пытался утаить от акциза несколько ведер молодого вина. Его накрыли. Семья разорена. Огромный штраф, – и в результате суровые законы Франции подарили мне воспитательницу.

Да какое мне дело было до гвардейских праздников, однообразной красоты пехотных ратей и коней, до батальонов с каменными лицами, текущих гулким шагом по седой от гранита и мрамора Миллионной?

Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накиннутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался – и бежал, всегда бежал.

Иудейский хаос пробивался во все щели каменной петербургской квартиры угрозой разрушения, шапкой в комнате провинциального гостя, крючками шрифта нечитаемых книг Бытия, заброшенных в пыль на нижнюю полку шкафа, ниже Гете и Шиллера, и клочками черно-желтого ритуала.

Крепкий румяный русский год катился по календарю, с крашеными яйцами, елками, стальными финляндскими коньками, декабром, вейками и дачей. А тут же путался призрак – новый год в сентябре и невеселые странные праздники, терзавшие слух дикими именами: Рош-Гашана и Иом-Кипур.

Книжный шкаф

Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах! Разве я мог не заметить, что в настоящих еврейских домах пахнет иначе, чем в арийских? И это пахнет не только кухня, но люди, вещи и одежда. До сих пор помню, как меня обдали этим приторным еврейским запахом в деревянном доме на Ключевой улице, в немецкой Риге, у бабушки и дедушки. Уже отцовский домашний кабинет был непохож на гранитный рай моих стройных прогулок, уже он уводил в чужой мир, а смесь его обстановки,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru подбор предметов соединялись в моем сознании крепкой вязкой. Прежде всего – дубовое кустарное кресло с балалайкой и рукавицей и надписью на дужке «Тише едешь – дальше будешь» – дань ложнорусскому стилю Александра III; затем турецкий диван, набитый гроссбухами, чьи листы папиросной бумаги исписаны были мелким готическим почерком немецких коммерческих писем. Сначала я думал, что работа отца заключается в том, что он печатает свои папиросные письма, закручивая пресс копировальной машины. До сих пор мне кажется запахом ярма и труда проникающий всюду запах дубленой кожи, и лапчатые шкурки лайки, раскиданные на полу, и живые, как пальцы, отростки пухлой замши – все это, и мещанский письменный стол с мраморным календариком, плавают в табачном дыму и обкурено кожами. А в черствой обстановке торговой комнаты – стеклянный книжный шкафчик, задернутый зеленой тафтой. Вот об этом книгохранилище хочется мне поговорить. Книжный шкаф раннего детства спутник человека на всю жизнь. Расположение его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположение самой мировой литературы. Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкафу, никогда не протиснуться в мировую литературу, как в мирозданье. Волей-неволей, а в первом книжном шкафу всякая книга классична, и не выкинуть ни одного корешка.

Эта странная маленькая библиотека, как геологическое напластование, не случайно отлагалась десятки лет. Отцовское и материнское в ней не смешивалось, а существовало розно, и, в разрезе своем, этот шкафчик был историей духовного напряженья целого рода и прививки к нему чужой крови.

Нижнюю полку я помню всегда хаотической: книги не стояли корешок к корешку, а лежали, как руины: рыжие Пятикнижия с оборванными переплетами, русская история евреев, написанная неуклюжим и робким языком говорящего по-русски талмудиста. Это был повергнутый в пыль хаос иудейский. Сюда же быстро упала древнееврейская моя азбука, которой я так и не обучился. В припадке национального раскаянья наняли ко мне настоящего еврейского учителя. Он пришел со своей Торговой улицы и учил, не снимая шапки, отчего мне было неловко. Грамотная русская речь звучала фальшиво. Еврейская азбука с картинками изображала во всех видах – с кошкой, книжкой, ведром, лейкой одного и того же мальчика в картузе с очень грустным и взрослым лицом. В этом мальчике я не узнавал себя и всем существом восстаивал на книгу и науку. Одно в этом учителе было поразительно, хотя и звучало неестественно, – чувство еврейской народной гордости. Он говорил об евреях, как французенка о Гюго и Наполеоне. Но я знал, что он прячет свою гордость, когда выходит на улицу, и поэтому ему не верил.

Над иудейскими развалинами начинался книжный строй, то были немцы: Шиллер, Гете, Кернер – и Шекспир по-немецки – старые лейпцигско-тюрингенские издания, кубышки и коротышки в бордовых тисненых переплетах, с мелкой печатью, рассчитанной на юношескую зоркость, с мягкими гравюрами, немного на античный лад: женщины с распущенными волосами заламывают руки, лампа нарисована, как светильник, всадники с высокими лбами, и на вьетках виноградные кисти. Это отец пробивался самоучкой в германский мир из талмудических дебрей.

Еще выше стояли материнские русские книги – Пушкин в издании Исакова – семьдесят шестого года. Я до сих пор думаю, что это прекрасное издание, оно мне нравится больше академического. В нем нет ничего лишнего: шрифты располагаются стройно, колонки стихов текут свободно, как солдаты летучими батальонами, и ведут их, как полководцы, разумные, четкие годы включительно по тридцать седьмой. Цвет Пушкина? Всякий цвет случаен – какой цвет подобрать к журчанию речей? У, идиотская цветовая азбука Рембо!

Мой исаковский Пушкин был в ряске никакого цвета, в гимназическом коленкором переплете, в черно-бурой, вылинявшей ряске, с землистым песочным оттенком, не боялся он ни пятен, ни чернил, ни огня, ни керосина. Черная песочная ряска за четверть века все любовно впитывала в себя, – духовная затрапезная красота, почти физическая прелесть моего материнского Пушкина так явственно мною ощущается. На нем надпись рыжими чернилами: «Ученице III-го класса за усердие». С исаковским Пушкиным вяжется рассказ об идеальных, с чахоточным румянцем и дырявыми башмаками, учителях и учительницах: 80-е годы в Вильне. Слово «интеллигент» мать и особенно бабушка выговаривали с гордостью. У Лермонтова переплет был зелено-голубой и какой-то военный, недаром он был гусар. Никогда он не казался мне братом или родственником Пушкина. А вот Гете и Шиллера я считал близнецами. Здесь же я признавал чужое и сознательно отделял. Ведь после 37-го года и стихи журчали иначе.

Шум времени. Осип Эмильевич Манделштам mandelstamjoseph.ru
А что такое Тургенев и Достоевский? Это приложение к «Ниве». Внешность у них одинаковая, как у братьев. Переплеты картонные, обтянутые кожей. На Достоевском лежал запрет, вроде надгробной плиты, и о нем говорили, что он «тяжелый»; Тургенев был весь разрешенный и открытый, с Баден-Баденом, «Вешними водами» и ленивыми разговорами. Но я знал, что такой спокойной жизни, как у Тургенева, уже нет и нигде не бывает.

А не хотите ли ключ эпохи, книгу, раскалившуюся от прикосновений, книгу, которая ни за что не хотела умирать и в узком гробу 90-х годов лежала как живая, книгу, листы которой преждевременно пожелтели, от чтения ли, от солнца ли дачных скамеек, чья первая страница являет черты юноши с вдохновенным зачесом волос, черты, ставшие иконой? Вглядываясь в лицо вечного юноши – Надсона, я изумляюсь одновременно настоящей огненностью этих черт и совершенной их невыразительностью, почти деревянной простотой. Не такова ли вся книга? Не такова ли эпоха? Пошли его в Ниццу, покажи ему Средиземное море, он все будет петь свой идеал и страдающее поколение, – разве что прибавит чайку и гребень волны. Не смейтесь над надсоновщиной – это загадка русской культуры и в сущности непонятый ее звук, потому что мы-то не понимаем и не слышим, как понимали и слышали они. Кто он такой – этот деревянный монах с невыразительными чертами вечного юноши, этот вдохновенный истукан учащейся молодежи, именно учащейся молодежи, то есть избранного народа неких столетий, этот пророк гимназических вечеров? Сколько раз, уже зная, что Надсон плох, я все же перечитывал его книгу и старался услышать ее звук, как слышало поколение, отбросив поэтическое высокомерие настоящего и обиду за невежество этого юноши в прошлом. Как много мне тут помогли дневники и письма Надсона: все время литературная страда, свечи, рукоплесканья, горящие лица; кольцо поколенья и в середине – алтарь – столик чтеца со стаканом воды. Как летние насекомые под накаленным ламповым стеклом, так все поколение обугливалось и обжигалось на огне литературных праздников с гирляндами показательных роз, причем сборища носили характер культа и искупительной жертвы за поколение. Сюда шел тот, кто хотел разделить судьбу поколенья вплоть до гибели, – высокомерные оставались в стороне с Тютчевым и Фетом. В сущности, вся большая русская литература отвернулась от этого чахоточного поколенья с его идеалом и Ваалом. Что же еще оставалось? Бумажные розы, свечи гимназических вечеров и баркаролы Рубинштейна. Восемьдесятые годы в Вильне, как их передает мать. Всюду было одно: шестнадцатилетние девочки пробовали читать Стюарта Милля, маячили светлые личности с невыразительными чертами и с густою педалью, замирая на *agreggio*, играли на публичных вечерах новые вещи львиного Антона. А в сущности происходило следующее: интеллигенция с Боклем и Рубинштейном, предводимая светлыми личностями, в священном юродстве, не разбирающем пути, определенно поворотила к самосожжению. Как высокие просмоленные факелы, горели всенародно народовольцы с Софьей Перовской и Желябовым, а эти все, вся провинциальная Россия и «учающаяся молодежь», сочувственно тлели, – не должно было остаться ни одного зеленого листика.

Какая скучная жизнь, какие бедные письма, какие несмешные шутки и пародии! Мне показывали в семейном альбоме дагерротипную карточку дяди Миши, меланхолика с пухлыми и болезненными чертами, и объясняли, что он не просто сошел с ума, а «сгорел»: так гласил язык поколенья. Так говорили о Гаршине, и многие гибели складывались в один ритуал.

Семен Афанасьич Венгеров, родственник мой по матери (семья виленская и гимназические воспоминанья), ничего не понимал в русской литературе и по службе занимался Пушкиным, но «это» он понимал. У него «это» называлось: о героическом характере русской литературы. Хорош он был с этим своим героическим характером, когда плелся по Загородному из квартиры в картотеку, повиснув на локте стареющей жены, ухмыляясь в дремучую, муравьиную бороду!

Финляндия

Красненький шкаф с зеленой занавеской и кресло – «Тише едешь – дальше будешь» – часто переезжали с квартиры на квартиру. Стояли они в Максимилиановском переулке, где в конце стреловидного Вознесенского виднелся скачущий Николай, и на Офицерской, поблизости от «Жизни за царя», над цветочным магазином Эйлера и на Загородном. Зимой, на Рождество, – Финляндия, Выборг, а дача – Териоки. В Териоках песок, можжевельник, дощатые мостки, собачьи будки купален, с вырезанными сердцами и зазубринами по числу купаний, и близкий сердцу петербуржца, домашний иностранец, холодный финн, любитель Ивановых огней и медвежьей польки на лужайке народного дома, небритый и зеленоглазый, как его называл Блок. Финляндией дышал дореволюционный Петербург, от Владимира Соловьева

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru до Блока, пересыпая в ладонях ее песок и растирая на гранитном лбу легкий финский снежок, в тяжелом бреду своем слушая бубенцы низкорослых финских лошадок. Я всегда смутно чувствовал особенное значение Финляндии для петербуржца и что сюда ездили додумать то, чего нельзя было додумать в Петербурге, нахлобучив по самые брови низкое снежное небо и засыпая в маленьких гостиницах, где вода в кувшине ледяная. И я любил страну, где все женщины безукоризненные прачки, а извозчики похожи на сенаторов.

Летом в Териоках – детские праздники. До чего это было, как вспомнишь, нелепо! Маленькие гимназистки и кадеты в обтянутых курточках, расшаркиваясь с великовозрастными девицами, танцевали па-де-катр и па-де-патинер, салонные танцы 90-х годов, с сдержанными, бесцветными движениями. Потом игры: бег в мешках и с яйцом, то есть с ногами, увязанными в мешок, и с сырым яйцом на деревянной ложке. В лотерею всегда разыгрывалась корова. То-то была радость французкам! Только здесь они щебетали, как птицы небесные, и молодели душой, а дети сбивались и путались в странных забавах.

В Выборг ездили к тамошним старожилам, выборгским купцам – Шариковым, из николаевских солдат-евреев, откуда по финским законам повелась их оседлость в чистой от евреев Финляндии. Шариковы, по-фински «Шарики», держали большую лавку разных товаров: «Seka taavaran kaupa» [9], где пахло и смолой, и кожами, и хлебом, особым запахом финской лавки, и много было гвоздей и крупы. Жили Шариковы в массивном деревянном доме с дубовой мебелью. Особенно гордился хозяин резным буфетом с историей Ивана Грозного. Ели они так, что от обеда встать было трудно. Отец Шариков оплыл жиром, как будда, и говорил с финским акцентом. Дочка-дурнушка, чернявая, сидела за прилавком, а три другие, красавицы, по очереди бежали с офицерами местного гарнизона. В доме пахло сигарами и деньгами. Хозяйка, неграмотная и добрая, гости – армейские любители пунша и хороших саночек, все картежники до мозга костей. После жиденького Петербурга, меня радовала эта прочная и дубовая семья. Волей-неволей я попал в самую гущу морозного зимнего флирта высокогорудых выборгских красавиц. Где-то в кондитерской фацера с ванильным печеньем и шоколадом, за синими окнами санный скрип и беготня бубенчиков... Вытряхнувшись прямо из резвых, узких санок в теплый пар сдобной финской кофейной, был я свидетелем нескромного спора отчаянной барышни с армейским поручиком – носит ли он корсет, и помню, как он божился и предлагал сквозь мундир прощупать свои ребра. Быстрые санки, пунш, карты, картонная шведская крепость, шведская речь, военная музыка – голубым пуншевым огоньком уплывал выборгский угар. Гостиница «Бельведер», где потом собиралась Первая Дума, славилась чистотой и прохладным, как снег, ослепительным бельем. Все тут было иностранщина – и шведский уют. Упрямый и хитрый городок, с кофейными мельницами, качалками, гарусными шерстяными ковриками и библейскими стихами в изголовии каждой постели, как божий бич, нес ярмо русской военщины; но в каждом доме, в черной траурной рамке, висела картинка: простоволосая девушка Суоми, над которой топорщится сердитый орел с двойной головкой, яростно прижимает к груди книгу с надписью «Lex» – «Закон».

Хаос иудейский

Однажды к нам приехала совершенно чужая особа, девушка лет сорока в красной шляпке, с острым подбородком и злыми черными глазами. Ссылаясь на происхождение из местечка Шавли, она требовала, чтобы ее выдали в Петербурге замуж. Пока ее удалось спровадить, она прожила в доме неделю. Изредка появлялись странствующие авторы: бородатые и длиннопольные люди, талмудические философы, продавцы вразнос собственных печатных изречений и афоризмов. Они оставляли именные экземпляры и жаловались на преследования злых жен. Раз или два в жизни меня возили в синагогу, как в концерт, с долгими сборами, чуть ли не покупая билеты у барышников; и от того, что я видел и слышал, я возвращался в тяжелом чаду. В Петербурге есть еврейский квартал: он начинается как раз позади Мариинского театра, там, где мерзнут барышники, за тюремным ангелом сгоревшего в Революцию Литовского замка. Там, на Торговых, попадают еврейские вывески с быком и короной, женщины с выбивающимися из-под косынки накладными волосами и семенящие в сюртуках до земли многоопытные и чадолюбивые старики. Синагога с коническими своими шапками и луковичными сферами, как пышная чужая смоковница, теряется среди убогих строений. Бархатные береты с помпонами, изнуренные служки и певчие, гроздья семисвечников, высокие бархатные камилавки. Еврейский корабль с звонкими альтовыми хорами, с потрясающими детскими голосами плывет на всех парусах, расколотый какой-то древней бурей на мужскую и женскую половину. Заблудившись на женских хорах, я пробирался, как тать, прячась за стропилами. Кантор, как силач Самсон, рушил львиное здание, ему отвечали бархатные камилавки, и дивное

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru равновесие гласных и согласных, в четко произносимых словах, сообщало несокрушимую силу песнопениям. Но какое оскорбление – скверная, хотя и грамотная, речь раввина, какая пошлость, когда он произносит «государь император», какая пошлость все, что он говорит! И вдруг два господина в цилиндрах, прекрасно одетые, лоснящиеся богатством, с изящными движениями светских людей прикасаются к тяжелой книге, выходят из круга и за всех, по доверенности, по поручению всех, совершают что-то почетное и самое главное. Кто это? Барон Гинзбург. А это – Варшавский.

В детстве я совсем не слышал жаргона, лишь потом я наслушался этой певучей, всегда удивленной и разочарованной, вопросительной речи с резкими ударениями на полутонах. Речь отца и речь матери – не слиянием ли этих двух питается всю долгую жизнь наш язык, не они ли слагают его характер? Речь матери, ясная и звонкая, без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь; словарь ее беден и сжат, обороты однообразны, – но это язык, в нем есть что-то коренное и уверенное. Мать любила говорить и радовалась корню и звуку приbedненной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков? У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? – Нет. Речь немецкого еврея? – Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? – Я таких не слышал. Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза – это было все что угодно, но не язык, все равно – по-русски или по-немецки.

По существу, отец переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку, но никак не еврейскую. Если хотите, это был чистейший восемнадцатый или даже семнадцатый век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге. Религиозные интересы вытравлены совершенно. Просветительная философия претворилась в замысловатый талмудический пантеизм. Где-то поблизости Спиноза разводит в банках своих пауков. Предчувствуется – Руссо и его естественный человек. Все донельзя отвлеченно, замысловато и схематично. Четырнадцатилетний мальчик, которого натаскивали на раввина и запрещали читать светские книги, бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу, где собирались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши: вместо Талмуда читает Шиллера, и, заметьте, читает его как новую книгу; немного продержавшись, он падает из этого странного университета обратно в кипучий мир семидесятых годов, чтобы запомнить конспиративную молочную лавку на Караванной, откуда подводили мину под Александра, и в перчаточной мастерской и на кожевенном заводе проповедует обрюзгшим и удивленным клиентам философские идеалы восемнадцатого века.

Когда меня везли в город Ригу, к рижским дедушке и бабушке, я сопротивлялся и чуть не плакал. Мне казалось, что меня везут на родину непонятной отцовской философии. Двинулась в путь артиллерия картонок, корзинок с висячими замками, пухлый неудобный багаж. Зимние вещи пересыпали крупной солью нафталина. Кресла стояли, как белые кони, в попоне чехлов. Невеселыми казались мне сборы на Рижское взморье. Я тогда собирал гвозди: нелепешая коллекционерская причуда. Я пересыпал кучи гвоздей, как скупой рыцарь, и радовался, как растет мое колючее богатство. Тут у меня отняли гвозди на укладку.

Дорога была тревожная. Тусклый вагон в Дерпте ночью, с громкими эстонскими песнями, приступом брали какие-то ферейны, возвращаясь с большого певческого праздника. Эстонцы топотали и ломились в дверь. Было очень страшно.

Дедушка – голубоглазый старик в ермолке, закрывавшей наполовину лоб, с чертами важными и немного сановными, как бывает у очень почтенных евреев, – улыбался, радовался, хотел быть ласковым, да не умел – густые брови сдвигались. Он хотел взять меня за руки, я чуть не заплакал. Добрая бабушка в черноволосой накладке на седых волосах и в капоте с желтоватыми цветочками мелко-мелко семенила по скрипучим половицам и все хотела чем-нибудь угостить.

Она спрашивала: «Покушали? покушали?» – единственное русское слово, которое она знала. Но не понравились мне пряные стариковские лакомства, их горький миндальный вкус. Родители ушли в город. Опечаленный дед и грустная суетливая бабушка пытаются заговорить – и находят, как старые обиженные птицы. Я порывался им объяснить, что хочу к маме, – они не понимали. Тогда я пальцем на

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru столе изобразил наглядно желанье уйти, перебирая на манер походки средним и указательным.

Вдруг дедушка вытащил из ящика комода черно-желтый шелковый платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов, но, недовольный моим лепетом, рассердился, закачал неодобрительно головой. Мне стало душно и страшно. Не помню, как на выручку подоспела мать.

Отец часто говорил о честности деда как о высоком духовном качестве. Для еврея честность – это мудрость и почти святость. Чем дальше по поколениям этих суровых голубоглазых стариков, тем честнее и суровее. Прадед Вениамин однажды сказал: «Я прекращаю дело и торговлю – мне больше не нужно денег», ему хватило точь-в-точь по самый день смерти – он не оставил ни одной копейки.

Рижское взморье – это целая страна. Славится вязким, удивительно мелким и чистым желтым песком (разве в песочных часах такой песочек!) и дырявыми мостками в одну и две доски, перекинутыми через двадцативерстную дачную Сахару.

Дачный размах Рижского взморья не сравнится ни с какими курортами. Мостики, клумбы, палисадники, стеклянные шары тянутся нескончаемым городищем, все на желтом, каким играют ребята, измолотом в пшеницу канареечном песке.

Латыши на задворках сушат и вялят камбалу, одноглазую, костистую, плоскую, как широкая ладонь, рыбу. Детский плач, фортепианные гаммы, стоны пациентов бесчисленных зубных врачей, звон посуды маленьких дачных табль-д'отов, рулады певцов и крики разносчиков не молкнут в лабиринте кухонных садов, булочных и колючих проволок, и по рельсовой подкове, на песчаной насыпи, сколько хватает глаз, бегают игрушечные поезда, набитые «зайцами», прыгающими на ходу, от немецкого чопорного Бильдерлингсгофа до скученного и пахнущего пеленками еврейского дуббельна. По редким сосновым перелескам блуждают бродячие оркестры: две трубы калачом, кларнет и тромбон – и, выдувая немилосердную медную фальшь, отовсюду гонимые, то здесь, то там раздражаются лошадиным маршем прекрасной Каролины.

Всю землю держал барон с моноклем по фамилии Фиркс. Землю свою он разгородил на чистую от евреев и нечистую. На чистой земле сидели бурши-корпоранты и растирали столики пивными кружками. На земле иудейской висели пеленки и захлебывались гаммы. В Маойренгофе, у немцев, играла музыка – симфонический оркестр в садовой раковине – «Смерть и просветление» Штрауса. Пожилые немки с румянцем на щеках, в свежем трауре, находили свою отраду.

В дуббельне, у евреев, оркестр захлебывался патетической симфонией Чайковского, и было слышно, как перекалились два струнных гнезда.

Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желанье Неточки Незвановой у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным полымем шелковых занавесок. Широкие, плавные чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра. Обрывки сильной скрипичной музыки я вылавливал в диком граммофоне дачной разноголосицы. Не помню, как воспиталось во мне это благоговенье к симфоническому оркестру, но думаю, что я верно понял Чайковского, угадав в нем особенное концертное чувство.

Как убедительно звучали эти размягченные итальянским безвоьем, но все же русские скрипичные голоса в грязной еврейской клоаке! Какая нить протянута от этих первых убогих концертов к шелковому пожару Дворянского собрания и щедедушному Скрябину, который вот-вот сейчас будет раздавлен обступившим его со всех сторон еще немым полукружием певцов и скрипичным лесом «Прометей», над которым высится, как щит, звукоприемник – странный стеклянный прибор.

Концерты Гофмана и Кубелика

В 1903–1904 году Петербург был свидетелем концертов большого стиля. Я говорю о диком, с тех пор не превзойденном безумьи великопостных концертов Гофмана и Кубелика в Дворянском собрании.

Никакие позднейшие музыкальные торжества, приходящие мне на память, ни даже первины скрябинского «Прометей» не идут в сравнение с этими великопостными оргиями в белоколонном зале. Доходило до ярости, до исступленья. Тут было не

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru музыкальное любительство, а нечто грозное и даже опасное подымалось с большой глубины, словно жажда действия, глухое предысторическое беспокойство, точнее тогдашний Петербург – еще не пробил 1905 год, – выливалось своеобразным, почти хлыстовским радением трабантов Михайловской площади. В туманном свете газовых фонарей многоподъездное дворянское здание подвергалось настоящей осаде. Гарцующие конные жандармы, внося в атмосферу площади дух гражданского беспокойства, цокали, покрикивали, цепью охраняя главное крыльцо. Проскальзывали на блестящий круг и строились во внушительный черный табор рессорные кареты с тусклыми фонарями. Извозчики не смели подавать к самому дому – им платили на ходу – и они улепетывали, спасаясь от гнева околоточных. Сквозь тройные цепи шел петербуржец лихорадочной мелкой плотвой в мраморную прорубь вестибюля, исчезая в горящем ледяном доме, оснащенном шелком и бархатом. Кресла и места за креслами наполнялись обычным порядком, но обширные хоры с боковых подъездов – пачками, как корзины человеческими гроздьями. Зал дворянского собрания внутри широкий, коренастый и почти квадратный. Площадь эстрады охватывает чуть не добрую половину. На хорах июльская жара. В воздухе сплошной звон, как цикады над степью.

Кто такие были Гофман и Кубелик? – Прежде всего, в сознании тогдашнего петербуржца, они сливались в один образ. Как близнецы, они были одного роста и одной масти. Ростом ниже среднего, почти недомерки, волосы чернее вороньего крыла. У обоих был очень низкий лоб и очень маленькие руки. Оба сейчас мне представляются чем-то вроде премьеров труппы лилипутов. К Кубелику меня возили на поклон в «Европейскую» гостиницу, хотя я не играл на скрипке. Он жил настоящим принцем. Он тревожно взмахнул ручкой, испугавшись, что мальчик играет на скрипке, но сейчас же успокоился и подарил свой автограф, что от него и требовалось.

Вот когда эти два маленьких музыкальных полубога, два первых любовника театра лилипутов, должны были пробиться через ломившуюся под тяжестью толпы эстраду, мне становилось за них страшно. Началось как вольтовой искрой и порывом набегавшей грозы. Потом распорядители с трудом расчищали дорожку в толпе, и среди неопишемого рева со всех сторон навалившейся горячей человеческой массы, не кланяясь и не улыбаясь, почти трепеща, с каким-то злым выражением на лице, они пробивались к пюпитру и роялю. Это путешествие до сих пор кажется мне опасным: не могу отделаться от мысли, что толпа, не зная, что начать, была готова растерзать своих любимцев. Далее – эти маленькие гении, властвуя над потрясенной музыкальной чернью, от фрейлины до курсистки, от тучного мецената до вихрастого репетитора, – всем способом своей игры, всей логикой и прелестью звука делали все, чтобы сковать и остудить разнузданную, своеобразно дионисийскую стихию. Я никогда ни у кого не слышал такого чистого, первородно ясного и прозрачного звука, трезвого в рояле, как ключевая вода, и доводящего скрипку до простейшего, неразложимого на составные волокна голоса; я никогда не слышал больше такого виртуозного, альпийского холода, как в скупости, трезвости и формальной ясности этих двух законников скрипки и рояля. Но то, что было в их исполнении ясного и трезвого, только больше бесило и подстрекало к новым неистовствам облепившую мраморные стены, свисавшую гроздьями с хоров, усеявшую рядки кресел и жарко уплотненную на эстраде толпу. Такая сила была в рассудочной и чистой игре этих двух виртуозов.

Тенишевское училище

На Загородном, во дворе огромного доходного дома, с глухой стеной, издали видной боком, и шустовской вывеской, десятка три мальчиков в коротких штанишках, шерстяных чулках и английских рубашечках со страшным криком играли в футбол. У всех был такой вид, будто их возили в Англию или Швейцарию и там приодели, совсем не по-русски, не по-гимназически, а на какой-то кембриджский лад.

Помню торжество: елейный батюшка в фиолетовой рясе, возбужденная публика школьного вернисажа, и вдруг все расступаются, шушукуются: приехал Витте. Про Витте все говорили, что у него золотой нос, и дети слепо этому верили и только на нос и смотрели. Однако нос был обыкновенный и с виду мясистый.

Что тогда говорилось, я не помню, но зато на Моховой, в собственном амфитеатре, с удобными депутатскими местами, на манер парламента, установился довольно разработанный ритуал, и в первых числах сентября происходили праздники в честь меда и счастья образцовой школы. Неизбежно на этих собраниях, похожих на палату лордов с детьми, выступал старик, доктор-гигиенист Вирениус. Это был старик румяный, как ребенок с банки Нестле. Он произносил ежегодно одну и ту же речь: о

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru пользе плавания; так как дело происходило осенью и до следующего плавательного сезона оставалось месяцев десять, то его маневры и демонстрации представлялись неуместными; однако этот апостол плавания каждый год проповедовал свою религию на пороге зимы. Другой гигиенист, профессор князь Тарханов, восточный барин с ассирийской бородой, на уроках физиологии ходил от парты к парте, заставляя учеников слушать свое сердце через толстый бархатный жилет. Тикало не то сердце, не то золотые часы, но жилет был обязателен.

Амфитеатр с откидными партами, разбитый удобными дорожками на секторы, с сильным верхним светом, в большие дни брался с бою, и вся Моховая кипела, наводненная полицией и интеллигентской толпой.

Все это начало девятисотых годов.

Главным съемщиком тенишевской аудитории был Литературный фонд, цитадель радикализма, собственник сочинений Надсона. Литературный фонд по природе своей был поминальным учреждением: он читал. У него был точно разработанный годичный календарь, нечто вроде святцев, праздновались дни смерти и дни рождения, если не ошибаюсь: Некрасова, Надсона, Плещеева, Гаршина, Тургенева, Гоголя, Пушкина, Апухтина, Никитина и прочих. Все эти литературные панихиды были похожи, причем в выборе читаемых произведений мало считались с авторством покойника.

Начиналось обычно с того, что старик Исай Петрович Вейнберг, настоящий козел с пледом, читал неизменное: «Бесконечной пеленою развернулось предо мною, старый друг мой, море».

Затем выходил александринский актер Самойлов и, бия себя в грудь, истощным голосом, закатываясь от крика и переходя в зловещий шопот, читал стихотворение Никитина «Хозяин».

Дальше следовал разговор дам, приятных во всех отношениях, из «Мертвых душ»; потом «Дедушка Мазай и зайцы» Некрасова или «Размышление у парадного подъезда»; Ведринская щебетала: «Я пришел к тебе с приветом», в заключение играли похоронный марш Шопена.

Это литература. Теперь гражданские выступления. Прежде всего заседания Юридического общества, возглавляемого Максимом Ковалевским и Петрункевичем, где с тихим шипением разливался конституционный яд. Максим Ковалевский, подавляя внушительной фигурой, проповедовал оксфордскую законность. Когда кругом снимали головы, он произнес длиннейшую ученую речь о праве перлюстрации, то есть вскрытия почтовых писем, ссылаясь на Англию, допуская, ограничивая и урезывая это право. Гражданские служения совершались М. Ковалевским, Родичевым, Николаем Федоровичем Анненским, Батюшковым и Овсяннико-Куликовским.

Вот в соседстве с таким домашним форумом воспитывались мы в высоких стеклянных ящиках, с нагретыми паровым отоплением подоконниками, в просторнейших классах на 25 человек и отнюдь не в коридорах, а высоких паркетных манежах, где стояли косые столбы солнечной пыли и пахло газом из физических лабораторий. Наглядные методы заключались в жестокой и ненужной вивисекции, выкачивании воздуха из стеклянного колпака, чтобы задохнулась на спинке бедная мышь, в мученьи лягушек, в научном кипячении воды, с описанием этого процесса, и в плавке стеклянных палочек на газовых горелках.

От тяжелого, приторного запаха газа в лабораториях болела голова, но настоящим адом для большинства неловких, не слишком здоровых и нервических детей был ручной труд. К концу дня, отяжелев от уроков, насыщенных разговорами и демонстрациями, мы задыхались среди стружек и опилок, не умея перепилить доску. Пила завертывалась, рубанок кривил, стамеска ударяла по пальцам; ничего не выходило. Инструктор возился с двумя-тремя ловкими мальчиками, остальные проклинали ручной труд.

На уроках немецкого языка пели под управлением фрейлин: «O Tannenbaum, o Tannenbaum!» [10] Сюда же приносились молочные альпийские ландшафты с дойными коровами и черепицами домиков.

Все время в училище пробивалась военная, привилегированная, чуть ли не дворянская струя; это верховодили мягкотелыми интеллигентами дети правящих семейств, попавших сюда по странному капризу родителей. Некий сын камергера

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru
Воеводский, красавец с античным профилем в духе Николая I, провозгласил себя воеводой и заставил присягать себе, целуя крест и Евангелие.

Вот краткая портретная галерея моего класса: Ванюша Корсаков, по прозвищу Котлета (рыхлый немец, прическа в скобку, русская рубашечка с шелковым поясом, семейная земская традиция: Петрункевич, Родичев); Барац, – семья дружит с Стасюлевичем («Вестник Европы»), страстный минералог, нем как рыба, говорит только о кварцах и слюде; Леонид Зарубин – крупная углепромышленность Донского бассейна, сначала динамо-машины и аккумуляторы, потом – только Вагнер. Пржесецкий – из бедной шляхты, специалист по плевкам. Первый ученик Слободзинский – человек из сожженной Гоголем второй части «Мертвых душ», положительный тип русского интеллигента, умеренный мистик, правдолюбец, хороший математик и начетчик по Достоевскому; потом заведовал радиостанцией. Надеждин – разночинец: кислый запах квартиры маленького чиновника, веселье и беспечность, потому что нечего терять. Близнецы – братья крупенские, бессарабские помещики, знатоки вина и евреев. И, наконец, Борис Синани, человек того поколения, которое действует сейчас, созревающий для больших событий и исторической работы. Умер, едва окончив. А как бы он вынырнул в годы Революции!

Вот и теперь еще разные старые дамы и хорошие провинциалы, желая похвалить кого-нибудь, говорят: «Светлая личность», – а я понимаю, что они хотят сказать. Это про нашего Острогорского иначе нельзя сказать, как на языке того времени, и старомодная напыщенность этого нелепого выражения уже не кажется смешной. Только первые годы столетия мелькали фалды Острогорского по коридорам Тенишевского училища. Он был близорук, шурился, излучая глазами насмешливый свет, – весь большая обезьяна во фраке, золотушный, с золотисто-рыжей бородой и волосами. Я уверен, что у него была именно чеховская невообразимая улыбка. Он не привился в двадцатом веке, хотя хотел в него попасть. Он любил Блока (а в какую рань!) и печатал его в своем «Образовании».

Он был никакой администратор, только шурился и улыбался и был очень рассеян; поговорить с ним удавалось редко. Всегда он отшучивался, даже там, где не нужно. «Какой у вас урок?» – «Геология». – «Сам ты геология». Все училище, со всеми своими гуманистическими турусами на колесах, держалось его улыбкой.

А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых.

Сергей Иваныч

Тысяча девятьсот пятый год – химера русской Революции, с жандармскими рысьими глазками и в голубом студенческом блине! Уже издали петербуржцы тебя чуяли, улавливали цоканье твоих коней и ежились от твоих сквозняков в проспиртованных аудиториях Военно-Медицинской или в длиннейшем «jeu de raime» [11] меншиковского университета, когда рявкнет, бывало, как рассерженный лев, будущий оратор-армянин на тщедушного с.-р. или с.-д. и вытянут птичьей шеей те, кому слушать надлежит. Память любит ловить во тьме, и в самой гуще мрака ты родился, миг, когда – раз, два, три – моргнул Невский длинными электрическими ресницами, погрузился в кромешную ночь и в самом конце перспективы из густого косматого мрака показалась химера с рысьими жандармскими глазками, в приплюснутой студенческой фуражке.

Для меня девятьсот пятый год в Сергее Иваныче. Много их было, репетиторов революции. Один из моих друзей, человек высокомерный, не без основания говорил: «Есть люди-книжки и люди-газеты». Бедный Сергей Иваныч остался бы ни при чем при такой разбивке, для него пришлось бы создать третий раздел: есть люди-подстрочники. Подстрочники революции сыпались на него, шелестели папиросной бумагой в простуженной его голове, он вытряхивал эфирно-легкую нелегальщину из обшлагов кавалерийской своей, цвета морской воды, тужурки, и запрещенным дымком курилась его папироса, словно гильза ее была свернута из нелегальной бумаги.

Я не знаю, где и как Сергей Иваныч усваивал. Эта сторона его жизни для меня, по молодости лет, была закрыта. Но однажды он затащил меня к себе, и я увидел его рабочий кабинет, его спальню и лабораторию. Об эту пору мы с ним делали большую и величаво бесплодную работу: писали реферат о причинах падения Римской империи. Сергей Иваныч залпами в одну неделю надиктовал мне сто тридцать пять убористых страниц клеенчатой тетрадки. Он не задумывался, не справлялся с источниками, он

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru выпрыдал, как паук, – из дымка папиросы, что ли, – липкую пряжу научной фразеологии, раскидывая периоды и завязывая узелки социальных и экономических моментов. Он был клиентом нашего дома, как и многих других. Не так ли римляне нанимали рабов-греков, чтобы блеснуть за ужином дощечкой с ученым трактатом? В разгаре означенной работы Сергей Иванович привел меня к себе. Он проживал в сотых номерах Невского, за Николаевским вокзалом, где, откинув всякое щегольство, все дома, как кошки, серы. Я содрогнулся от густого и едкого запаха жилища Сергея Ивановича. Комната, надышанная и накуренная годами, вмещала в себе уже не воздух, а какое-то новое, неизвестное вещество, с другим удельным весом и химическими свойствами. И невольно пришла мне на память неаполитанская собачья пещера из физики. За все время, что он здесь жил, хозяин, очевидно, ничего не поднял и не переставил, как истинный дервиш относясь к расположению вещей, сбрасывая на пол навеки то, что ему оказалось ненужным. Дома Сергей Иванович признавал лишь лежачее положение. Покуда Сергей Иванович диктовал, я косился на каменноугольное его белье; каково же я удивился, когда Сергей Иванович объявил перерыв и сварил два стакана великолепнейшего густого и ароматного шоколада. Оказалось, у него страсть к шоколаду. Варил он его мастерски и гораздо крепче, чем это принято. Какой отсюда вывод? Был ли Сергей Иванович сибарит, или шоколадный бес завелся при нем, прилепившись к аскету и нигилисту? О, мрачный авторитет Сергея Ивановича, о, нелегальная его глубина, кавалерийская его куртка и штаны жандармского сукна! Его походка напоминала походку человека, которого только что схватили и ведут за плечо перед лицо грозного сатрапа, а он старается делать равнодушный вид. Ходить с ним по улице было одно удовольствие, потому что он показывал гороховых шпиков и нисколько их не боялся.

Я думаю, что сам он был похож на шпика – от постоянных ли размышлений об этом предмете, по закону ли мимикрии, коим птицы и бабочки получают от скалы свой цвет и оперенье. Да, в Сергее Ивановиче было нечто жандармское. Он был брезглив, он был брюзга, рассказывал, хрипя, генеральские анекдоты, со вкусом и отвращением выговаривал гражданские и военные звания первых пяти степеней. Невыспавшееся и помятое, как студенческий блин, лицо Сергея Ивановича выражало чисто жандармскую брезгливость. Ткнуть лицом в грязь генерала или действительного статского советника было для него высшим счастьем, полагая счастье математическим, несколько отвлеченным пределом.

Так, анекдот звучал в его устах почти теоремой. Генерал бракует по карточке все кушанья и заключает: «Какая гадость!» Студент, подслушав генерала, спрашивает у него все его чины и, получив ответ, заключает: «И только? – Какая гадость!»

Где-то в Седлеце или в Ровно Сергей Иванович, должно быть, нежным мальчиком, откололся от административно-полицейской скалы. Мелкие губернаторы западного края были у него в родне, и сам он, уже революционный репетитор и одержимый шоколадным бесом, сватался к губернаторской дочке, очевидно тоже безвозвратно отколовшейся. Конечно, Сергей Иванович не был революционер. Да останется за ним кличка: репетитор революции. Как химера, он рассыпался при свете исторического дня. По мере приближенья девятисот пятого года и часа сгущалась его таинственность и нарастал мрачный авторитет. Он должен был выявиться, должен был во что-нибудь разрешиться – ну хоть показать револьвер из боевой дружины или дать другое вещественное доказательство своего посвящения в революцию.

И вот, в самые тревожные девятисот пятые дни, Сергей Иванович становится опекуном сладко и безопасно перепуганных обывателей и, зажмурившись, как кот, от удовольствия, приносит достоверные сведения о неминуемом в такой-то день погроме петербургской интеллигенции. Как член дружины, он обещает прийти с браунингом, гарантируя полную безопасность.

Мне довелось его встретить много позже девятисот пятого года: он вылинял окончательно, на нем не было лица, до того стерлись и обесцветились его черты. Слабая тень прежней брезгливости и авторитета. Оказалось, он устроился и служит ассистентом на Пулковской вышке в астрономической обсерватории.

Если бы Сергей Иванович превратился в чистый логарифм звездных скоростей или функцию пространства, я бы не удивился: он должен был уйти из жизни, до того он был химера.

Юлий Матвейч

Пока Юлий Матвейч поднимался на пятый этаж, можно было несколько раз сбегать к швейцару и обратно. Его вели под руку с расстановками на площадках; в прихожей

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru он останавливался и ждал, чтоб с него сняли шубу. Маленький, коротконогий, в стариковской шубе до пят, в тяжелой шапке, он пытался, пока его не освободили от жарких бобров, и тогда садился на диван, протянув ножки, как ребенок. Появление его в доме означало или семейный совет, или замирение какой-нибудь домашней бучи. В конце концов, всякая семья государство. Он любил семейные неурядицы, как настоящий государственный человек любит политические затруднения; своей семье у него не было, и нашу он выбрал для своей деятельности как чрезвычайно трудную и запутанную.

Буйная радость охватывала нас, детей, всякий раз, когда показывалась его министерская голова, до смешного напоминающая Бисмарка, нежно безволосая, как у младенца, не считая трех волосков на макушке.

На вопрос Юлий Матвейч издавал странный грудного тембра неопределенный звук, как бы извлеченный из трубы неумелым музыкантом, и лишь издав свой предварительный звук, начинал речь неизменным своим оборотом: «Я же вам говорил» – или: «Я вам всегда говорил».

Бездетный, беспомощно-ластоногий Бисмарк чужой семьи, Юлий Матвейч внушал мне глубокое сострадание.

Он вырос среди южных помещиков-дельцов, между Бессарабией, Одессой и Ростовом.

Сколько подрядов исполнено, сколько виноградных имений и конских заводов продано с участием грека-нотариуса в паршивых номерах кишиневских и ростовских гостиниц!

Все они, и нотариус-грек, и помещик-жох, и губернский секретарь – молдаванин, накинув белые балахоны, тряслись в холерную жару в бричках, на линейках с балдахином по трактам, по губернским мостовым. Там росла многоопытность и округлялся капитал, а с ним вместе и эпикурейство. Уже ручки и ножки отказывались служить и превращались в коротенькие лапы и Юлий Матвейч, обедая с предводителем и подрядчиком в кишиневских и ростовских гостиницах, подзывал полового тем самым неопределенным трубным звуком, о котором упоминалось выше. Понемногу он превратился в настоящего еврейского генерала. Вылитый из чугуна, он мог бы служить памятником, но где и когда чугун передаст три бисмарковских волоска? Мировоззрение Юлия Матвейча сложилось в нечто мудрое и убедительное. Излюбленным его чтением были Меньшиков и Ренан. Странное на первый взгляд сочетание, но, если вдуматься, даже для члена Государственного совета нельзя было придумать лучшего чтения. О Меньшикове он говорил «умная голова» и подымал сенаторскую ручку, а с Ренаном был согласен решительно во всем, что касалось христианства. Юлий Матвейч презирал смерть, ненавидел докторов и в назиданье любил рассказывать, как он вышел невредимым из холеры. В молодости он ездил в Париж, а лет через тридцать после первой поездки, очутившись в Париже, ни за что не хотел идти ни в какой ресторан, а все искал какой-то «Кок-д'Ор», где его некогда хорошо накормили. Но «Кок-д'Ора» уже не было, оказался «Кок», да не тот, и нашли его еле-еле. Кушанье на карточке Юлий Матвейч принимался выбирать с видом гурмана, лакей не дышал в ожидании сложного и тонкого заказа, и тогда Юлий Матвейч разрешался чашкой бульона. Получить у Юлия Матвейча десять – пятнадцать рублей было дело нелегкое: он более часа проповедовал мудрость, эпикурейство и – «Я же вам говорил». Потом долго семенил по комнате, отыскивая ключи, хрипел и тыкался в потайные ящички.

Смерть Юлия Матвейча была ужасна. Он умер, как бальзаковский старик, почти выгнанный на улицу хитрой и крепкой гостинодворской семьей, куда перенес под старость свою деятельность домашнего Бисмарка и позволил прибрать себя к рукам.

Умиравшего Юлия Матвейча выгнали из купеческого кабинета на Разъезжей и сняли ему комнатку в Лесном на маленькой дачке.

Небритый и страшный, он сидел с плевательницей и «Новым временем». Мертвые, синие щеки поросли грязной щетиной, в трясущейся руке он держал лупу и водил ею по строчкам газеты. Смертный страх отражался в пораженных катаррактой темных зрачках. Прислуга поставила перед ним тарелку и сейчас же ушла, не спросив, чего ему нужно.

На похороны Юлия Матвейча съехалось чрезвычайно много почтенных и не знакомых друг с другом родственников, и племянник из Азовско-Донского банка семенил коротенькими ножками и покачивал тяжелой бисмарковской головой.

Эрфуртская программа

«Чего ты читаешь брошюры? Ну какой в них толк? – звучит у меня над ухом голос умнейшего В. В. Г. – Хочешь познакомиться с марксизмом? Возьми „Капитал“ Маркса». Ну и взял, и обжегся, и бросил – вернулся опять к брошюрам. Ох, не слукавил ли мой прекрасный тенишевский наставник? «Капитал» Маркса – что «Физика» Краевича. Разве Краевич оплодотворяет? Брошюра кладет личинку – вот в этом ее назначенье. Из личинки же родится мысль.

Какая смесь, какая правдивая историческая разноголосица жила в нашей школе, где география, попыхивая трубкой «кэпстен», превращалась в анекдоты об американских трестах, как много истории билось и трепыхалось возле тенишевской оранжереи на курьих ножках и пещерного футбола!

Нет, русские мальчики не англичане, их не возьмешь ни спортом, ни кипяченой водой самодеятельности. В самую тепличную, в самую выкипяченную русскую школу ворвется жизнь с неожиданными интересами и буйными умственными забавами, как однажды она ворвалась в пушкинский лицей.

Книжка «Весов» под партой, а рядом шлак и стальные стружки с Обуховского завода, ни слова, ни звука, как по уговору, о Белинском, Добролюбове, Писареве, зато Бальмонт в почете и недурные у него подражатели, и социал-демократ перегрызает горло народнику и пьет его эсеровскую кровь, напрасно тот призывает на помощь своих святителей – Чернова, Михайловского и даже... «Исторические письма» Лаврова. Все, что било мироощущеньем, жадно впитывалось. Повторяю: Белинского мои товарищи терпеть не могли за расплывчатость мироощущенья, а Каутского уважали, и наряду с ним протопопа Аввакума, чье «Житие» в павленковском издании входило в нашу российскую словесность.

Конечно, тут не без В. В. Г., формовщика душ и учителя для замечательных людей (только таких под рукой не оказалось). Но об этом впереди, а пока здравствуй и прощай Каутский, красная полоска марксистской зари!

Эрфуртская программа, марксистские Пропилеи, рано, слишком рано, приучили вы дух к стройности, но мне и многим другим дали ощущение жизни в предысторические годы, когда мысль жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу нужнее всего красная кровь аорты! Разве Каутский Тютчев? Разве дано ему вызывать космические ощущения («и паутинки тонкий волос дрожит на праздной борозде»)? А представьте, что для известного возраста и мгновенья Каутский (я называю его, конечно, к примеру, не он, так Маркс, Плеханов, с гораздо большим правом) тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущенья, мыслящий тростник и покров, накиннутый над бездной.

В тот год в Зегевольде, на курляндской реке Аа стояла ясная осень, с паутинкой на ячменных полях. Только что пожгли баронов, и жестокая тишина после усмиренья поднималась от спаленных кирпичных служб. Изредка протараторит по твердой немецкой дороге двуколка с управляющим и стражником и снимет шапку грубиян латыш. В кирпично-красных, изрытых пещерами слоистых берегах германской ундиной текла романтическая речка, и бурги по самые уши увязли в зелени. Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в речке Коневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью: он шумел трудными стихами; как лес шумит под корень. И вот в Зегевольде, с Эрфуртской программой в руках, я, по духу, был ближе к Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков, потому что зримый мир с ячменями, проселочными дорогами, замками и солнечной паутиной я сумел населить, социализировать, рассекая схемами, подставляя под голубую твердь далеко не библейские лестницы, по которым всходили и опускались не ангелы Иакова, а мелкие и крупные собственники, проходя через стадии капиталистического хозяйства.

Что может быть сильнее, что может быть органичнее: я весь мир почувствовал хозяйством, человеческим хозяйством, – и умолкшие сто лет назад веретена английской домашней промышленности еще звучали в звонком осеннем воздухе! Да, я слышал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть!

Семья Синани

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru

Когда я пришел в класс совершенно готовым и законченным марксистом, меня ожидал очень серьезный противник. Прислушавшись к самоуверенным моим речам, подошел ко мне мальчик, опоясанный тонким ремешком, почти рыжеволосый и весь какой-то узкий, узкий в плечах, с узким мужественным и нежным лицом, кистями рук и маленькой ступней. Выше губы, как огненная метка, у него был красный лишай. Костюм его мало походил на англосаксонский тенишевский стиль, а словно взяли старые-старые брючки и рубашонку, крепко-крепко с мылом постирали их в холодной речке, высушили на солнце и, не поутюжив, дали надеть. Посмотрев на него, всякий сказал бы: какая легкая кость! Но взглянув на лоб, скромно-высокий, подивился бы чуть раскосым, с зеленоватой усмешкой глазам и задержался бы на выражении маленького, горько-самолюбивого рта. Движенья его, когда нужно, были крупны и размашисты, как у мальчика, играющего в бабки, в скульптуре Федора Толстого, но он избегал резких движений, сохраняя меткость и легкость для игры; походка его, удивительно легкая, была босой походкой. Ему подошла бы овчарка у ног и длинная жердь: на щеках и на подбородке золотистый звериный пушок. Не то русский мальчик, играющий в свайку, не то итальянский Иоанн Креститель с чуть заметной горбинкой на тонком носу.

Он вызвался быть моим учителем, и я не покидал его, покуда он был жив, и ходил вслед за ним, восхищенный ясностью его ума, бодростью и присутствием духа. Он умер накануне прихода исторических дней, к которым он себя готовил, к которым готовила его природа, как раз тогда, когда овчарка готова была улечься у его ног и тонкая жердь предтечи должна была смениться жезлом пастуха. Звали его Борис Синани. Произношу это имя с нежностью и уважением. Он был сыном известного петербургского врача, лечившего внушеньем, – Бориса Наумовича Синани. Мать была русской, а Синани – караимы-крымчаки. Не отсюда ли двойственность его облика: и новгородский русский мальчик, и нерусская горбинка, и золотистый пушок кожи крымского чабана с Яйлы. Борис Синани, с первых же дней своего сознательного существования и по традициям крепкой и чрезвычайно интересной семьи, считал себя избранным сосудом русского народничества. Мне кажется, в народничестве его прельщала не теория, а скорее душевный строй. В нем чувствовался реалист, готовый в нужную минуту отбросить все рассужденья ради действия, но пока что его юношеский реализм, не заключавший в себе ничего плоского и мертвящего, был пленителен и дышал врожденной духовностью и благородством. Борис Синани умелой рукой снял с моих глаз катарракту, скрывавшую, по его мнению, от меня аграрный вопрос. Синани жили на Пушкинской улице, против гостиницы «Пале-Рояль». Это была могучая по силе интеллектуального характера, переходящего в выразительную примитивность, семья. На Пушкинской доктор Борис Наумович Синани жил, очевидно, уже давно. Седой швейцар питал безграничное уважение ко всему семейству, начиная от свирепого психиатра Бориса Наумовича, кончая маленькой горбуньей Леночкой. Никто без трепета не переступал порог этого жилища, так как Борис Наумович сохранял за собой право выгнать человека, который ему не понравится, будь то пациент или просто гость, который скажет глупость. Борис Наумович Синани был врач и душеприказчик Глеба Успенского, друг Николая Константиновича Михайловского, впрочем далеко не всегда ослепленный его личностью, и советник и наперсник тогдашних эсеровских цекистов.

С виду он был коренастый караим, сохраняя даже караимскую шапочку, с жестким и необычайно тяжелым лицом. Не всякий мог выдержать его зверский, умный взгляд сквозь очки, зато, когда он улыбался в курчавую редкую бороду, улыбка его была совсем детская и очаровательная. Кабинет Бориса Наумовича был под строжайшим запретом. Там, между прочим, висела его эмблема и эмблема всего дома, портрет Щедрина, глядящий исподлобья, нахмурил густые губернаторские брови и грозил детям страшной лопатой косматой бороды. Этот Щедрин глядел вием и губернатором и был страшен, особенно в темноте. Борис Наумович был вдов упрямым волчьим вдовством. Жил он с сыном и двумя дочерьми, старшей, косоглазой, как японка, Женей, очень миниатюрной и изящной, и маленькой горбатой Леной. Пациентов у него было немного, но он держал их в рабьем страхе, особенно пациенток. Несмотря на грубость его обхождения, они дарили ему вышитые лодочки и туфли. Он жил, как лесник в сторожке, в кожаном кабинете под щедринской бородой, и со всех сторон его окружали враги: мистика, глупость, истерия и хамство: с волками жить – по-волчьи выть.

Авторитет Михайловского, в кругу даже значительных людей того времени, был очевидно громаден, и Борис Наумович вряд ли с этим легко мирился. Как ярый рационалист, в силу рокового противоречия, он сам нуждался в авторитете и невольно чтит авторитеты и мучился этим. Когда случались неожиданные крутые повороты политической или общественной жизни, в доме всегда подымался вопрос,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru что скажет Николай Константинович: через некоторое время у Михайловского действительно собиравший сенат «Русского богатства» и Николай Константинович изрекал. Старик Синани в Михайловском ценил именно эти изречения. Вот как располагалась скала его уваженья к деятелям тогдашнего народничества. Михайловский хорош как оракул, но публицистика его – вода, и человек он не почтенный. Михайловского он, в конце концов, не любил. За Черновым признавал сметку и мужицкий аграрный ум. Пешехонова считал тряпкой. К Мякотину питал нежность, как к Вениамину. Ни с кем из этих он не считался серьезно. По-настоящему он уважал эсеровского цекиста, старика Натансона. Два-три раза седой и лысый Натансон, похожий на старого доктора, открыто для нас, детей, приходил беседовать к Борису Наумовичу. Восторженный трепет и гордая радость не имели границ: в доме был цекист.

Порядок домоводства, несмотря на отсутствие хозяйки, был строг и прост, как в купеческой семье. Чуть-чуть хозяйничала горбатенькая девочка Лена; но такова была стройная воля в доме, что дом сам собой держался.

Я знал, что делал у себя в кабинете Борис Наумович: он сплошь читал вредные ерундовые книги, исполненные мистики, истерии и всяческой патологии; он боролся с ними, разделялся, но не мог от них оторваться и возвращался к ним опять. Посади его на чистый позитивистский корм – и старик Синани сразу бы осунулся. Позитивизм хорош для рантье, он приносит свои пять процентов прогресса ежегодно. Борису Наумовичу нужны были жертвы во славу позитивизма. Он был Авраамом позитивизма и, не задумываясь, пожертвовал бы ему собственным сыном.

Однажды за чайным столом кто-то упомянул о состояньи после смерти, и Борис Наумович удивленно поднял брови: «Что такое? Помню я, что было до рожденья? Ничего не помню, ничего не было. Ну и после смерти ничего не будет».

Его базаровщина переходила в древнегреческую простоту. И даже одноглазая кухарка заражена была общим строем.

Главной особенностью дома Синани было то, что я назвал бы эстетикой ума. Обычно позитивизму чуждо эстетическое любованье, бескорыстная гордость и радость умственных движений. Для этих же людей ум был одновременно радостью, здоровьем, спортом и почти религией. Между тем круг умственных интересов был весьма ограничен, поле зрения сужено, и, в сущности, жадный ум глодал скудную пищу: вечные споры с.-д. и с.-р., роль личности в истории, пресловутая гармоническая личность Михайловского, аграрная травля с.-д., – вот и весь небогатый круг. Скучая этой домашней мыслью, Борис зачитывался судебными речами Лассалю, чудесно построенными, прелестными и живыми, – это была уже чистая эстетика ума и настоящий спорт. И вот, в подражание Лассалю, мы увлеклись спортом красноречия, ораторской импровизацией *ad hoc*[12]. Особенно в ходу были аграрные филиппики по предполагаемой эсдековской мишени. Некоторые из них, произнесенные в пустоту, были прямо блестящи. Я сейчас помню, как Борис, мальчиком, на одной сходке забил и вогнал в пот старого опытного меньшевика Клейнборта, сотрудника толстых журналов, Клейнборт только отдувался и вопросительно оглядывался: умственное изящество спорщика, видимо, казалось ему неожиданным, и новым оружием спора. Разумеется, все это лишь было демосфеновым камушком, но не дай бог никакой молодежи таких учителей, как Н. К. Михайловский! Что это за водолей! Что это за маниловщина! Пустопорожня, раздутая трюизмами и арифметическими выкладками болтовня о гармонической личности, как сорная трава, лезла отовсюду и занимала место живых и плодотворных мыслей.

По конституции дома тяжелый старик Синани не смел заглядывать в комнату молодежи, называвшуюся розовой комнатой. Розовая комната соответствовала диванной из «Войны и мира». Из посетителей розовой комнаты – их было очень немного – мне запомнилась некая Наташа, нелепое и милое создание. Борис Наумович терпел ее как домашнюю дуру. Наташа была по очереди эсдечкой, эсеркой, православной, католичкой, эллинисткой, теософкой с разными перебоями. От частой перемены убеждений она преждевременно поседела. Будучи эллинисткой, она напечатала роман из жизни Юлия Цезаря на римском курорте Байи, причем Байи поразительно смахивали на Сестрорецк. (Наташа была здорово богата.)

В розовой комнате, как во всякой диванной, происходил сумбур. Из чего составлялся сумбур означенной диванной начала текущего века? Скверные открытия – аллегории Штука и Жукова, «открытие-сказка», словно выскочившая из Надсона, простоволосая, с закрученными руками, увеличенная углем на большом картоне.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandeljshtamjoseph.ru «Чтецы-декламаторы», всякие «Русские музы» с П. Я. Михайловым и Тарасовым, где мы добросовестно искали поэзии и все-таки иногда смущались. Очень много внимания Марку Твену и Джерому (самое лучшее и здоровое из всего нашего чтения). Дребедень разных «Анатэм», «Шиповников» и сборников «Знания». Все вечера загрунтованы смутной памятью об усадьбе в Луге, где гости опять на полукруглых диванчиках в гостиной и орудуют сразу шесть бедных теток. Затем еще дневники, автобиографические романы: не достаточно ли сумбура?

Родным человеком в доме Синани был покойный Семен Акимыч Анский, то пропадавший по еврейским делам в Могилеве, то заезжавший в Петербург, ночуя под Щедриным, без права жительства. Семен Акимыч Анский совмещал в себе еврейского фольклориста с Глебом Успенским и Чеховым. В нем одном помещалась тысяча местечковых раввинов – по числу преподанных им советов, утешений, рассказанных в виде притч, анекдотов и т. д. В жизни Семену Акимычу нужен был только ночлег и крепкий чай. Слушатели за ним бегали. Русско-еврейский фольклор Семена Акимыча в неторопливых, чудесных рассказах лился густой медовой струей. Семен Акимыч, еще не старик, дедовски состарился и сутулился от избытка еврейства и народничества: губернаторы, торы, погромы, человеческие несчастья, встречи, лукавейшие узоры общественной деятельности в невероятной обстановке минских и могилевских сатрапий, начертанные как бы искусной гравировальной иглой. Все сохранил, все запомнил Семен Акимыч – Глеб Успенский из талмуд-торы. За скромным чайным столом, с мягкими библейскими движениями, склонив голову набок, он сидел, как еврейский апостол Петр на вечере. В доме, где все тыкались в истукана Михайловского и щелкали аграрный орех-креп-котук, Семен Акимыч казался нежной геморроидальной психеей.

В ту пору в моей голове как-то уживались модернизм и символизм с самой свирепой надсоновщиной и стихами из «Русского богатства». Блок уже был прочтен, включая «Балаганчик», и отлично уживался с гражданскими мотивами и всей этой тарабарской поэзией. Он не был ей враждебен, ведь он сам из нее вышел. Толстые журналы разводили такую поэзию, что от нее уши вяли, а для чудаков, неудачников, молодых самоубийц, для поэтических подпольщиков, очень мало разнившихся от домашних лириков «Русского богатства» и «Вестника Европы», сохранялись преинтереснейшие лазейки.

На Пушкинской, в очень приличной квартире, жил бывший немецкий банкир, по фамилии Гольдберг, редактор-издатель журнальчика «Поэт».

Гольдберг, обрюзглый буржуа, считал себя немецким поэтом и вступал со своими клиентами в следующее соглашение: он печатал их стихи безвозмездно в журнале «Поэт», а за это они должны были выслушивать его, Гольдберга, сочинения немецкую философскую поэму под названием «Парламент насекомых» – по-немецки, а в случае незнания языка – в русском переводе.

Всем своим клиентам Гольдберг говорил: «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше». Особенно он дорожил одним мрачным поэтом, которого считал самоубийцей. Составлять номера Гольдбергу помогал наемный юноша, небесно-поэтической наружности. Этот старый банкир-неудачник с шиллерообразным своим помощником (он же переводчик «Парламента насекомых» на русский язык) бескорыстно трудился над милым уродливым журналом. Толстым пальцем Гольдберга водила странная банкирская муза. Состоявший при нем Шиллер, видимо, его морочил. Впрочем, в Германии в хорошие времена Гольдберг отпечатал полное собрание своих сочинений и сам мне его показывал.

Как глубоко понимал Борис Синани сущность эсерства и до чего он его, внутренне, еще мальчиком перерос, доказывает одна пущенная им кличка: особый вид людей эсеровской масти мы называли «христосиками» – согласитесь, очень злая ирония. «Христосики» были русачки с нежными лицами, носители «идеи личности в истории», – и в самом деле многие из них походили на нестеровских Иисусов. Женщины их очень любили, и сами они легко воспламенялись. На политехнических балах в Лесном такой «христосик» отдувался и за Чайльд-Гарольда, и за Онегина, и за Печорина. Вообще революционная накипь времен моей молодости, невинная «периферия», вся кишела романами. Мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары: то был вопрос влюбленности и чести. И тем, и другим казалось невозможным жить не согретыми славой своего века, и те, и другие считали невозможным дышать без доблести. «Война и мир» продолжалась, – только слава переехала. Ведь не с семеновским же полковником Мином и не с свитскими же генералами в лакированных сапогах бутылками была

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
слава! Слава была в ц. к., слава была в б. о., и подвиг начинался с
пропагандистского искусства.

Поздняя осень в Финляндии, глухая дача в Райволе. Все заколочено, калитки
забиты, псы волкодавы ворчат возле пустых дач. Осенние пальто и старенькие
пледы. Жар керосиновой лампы на холодном балконе. Лисья мордочка молодого Т.,
живущего отраженной славой отца-цекиста. Не хозяйка, а робкое, чахоточное
существо, которому даже не позволено глядеть в лицо гостям. По одному из дачной
темени подходят в английских пальто и котелках. Смирно сидеть, наверх не ходить.
Проходя через кухню, заметил большую стриженую голову Гершуни.

«Война и мир» продолжается. Намокшие крылья славы бьются в стекло: и честолюбие,
и та же жажда чести! Ночное солнце в ослепшей от дождя Финляндии, конспиративное
солнце нового Аустерлица! Умирая, Борис бредил Финляндией, переездом в Райволу и
какими-то веревками для упаковки кладки. Здесь мы играли в городки, и, лежа на
финских покосах, он любил глядеть на простые небеса холодно удивленными глазами
князя Андрея.

Мне было смутно и беспокойно. Все волнение века передавалось мне. Кругом
перебегали странные токи – от жажды самоубийства до чаяния всемирного конца.
Только что мрачным зловонным походом прошла литература проблем и невежественных
мировых вопросов, и грязные, волосатые руки торговцев жизнью и смертью делали
противным самое имя жизни и смерти. То была воистину невежественная ночь!
Литераторы в косоворотках и черных блузах торговали, как лабазники, и богом, и
дьяволом, и не было дома, где бы не бренчали одним пальцем тупую польку из
«Жизни человека», сделавшуюся символом мерзкого, уличного символизма. Слишком
долго интеллигенция кормилась студенческими песнями. Теперь ее тошнило мировыми
вопросами: та же самая философия от пивной бутылки!

Все это была мразь по сравнению с миром Эрфуртской программы, коммунистических
манифестов и аграрных споров. Здесь были свой протопоп Аввакум, свое двоеперстие
(например, о безлошадных крестьянах). Здесь, в глубокой страстной расправе с.-р. и
с.-д., чувствовалось продолжение старинного раздора славянофилов и западников.

Эту жизнь, эту борьбу издавела благословляли столь разделенные между собой
Хомяков и Киреевский и патетический в своем западничестве Герцен, чья бурная
политическая мысль всегда будет звучать, как бетховенская соната.

Те не торговали смыслом жизни, но духовность была с ними, и в скудных партийных
полемиках было больше жизни и больше музыки, чем во всех писаниях Леонида
Андреева.

Комиссаржевская

Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием
времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы
только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и
Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими
домашними воспоминаниями. Повторяю – память моя не любовна, а враждебна, и
работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого. Разночинец не
нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и
биография готова. Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и
хроникой, там у меня, стоит знак зиянья, и между мной и веком провал, ров,
наполненный шумящим временем, место, отведенное для семьи и домашнего архива.
Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна от рожденья, – а между
тем у ней было что сказать. Надо мной и над многими современниками тяготеет
косноязычье рожденья. Мы учились не говорить, а лепетать – и лишь прислушиваясь
к нарастающему шуму века и выбеленные пеной его гребня, мы обрели язык.

Революция – сама и жизнь, и смерть и терпеть не может, когда при ней судачат о
жизни и смерти. У нее пересохшее от жажды горло, но она не примет ни одной капли
влаги из чужих рук. Природа – революция – вечная жажда, воспаленность (быть
может, она завидует векам, которые по-домашнему смиренно утоляли свою жажду,
отравляясь на овечий водопой. Для революции характерна эта боязнь, этот страх
получить что-нибудь из чужих рук, она не смеет, она боится подойти к источникам
бытия).

Но что сделали для нее эти «источники бытия»? Куда как равнодушно текли их
круглые волны! Для себя они текли, для себя соединялись в потоки, для себя

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru закипали в ключ! («Для меня, для меня, для меня», – говорит революция. «Сам по себе, сам по себе, сам по себе», – отвечает мир.)

У Комиссаржевской была плоская спина курсистки, маленькая голова и созданный для церковного пения голосок. Бравич был ассессор Брак, Комиссаржевская была Геддой. Ходить и сидеть она скучала. Получалось, что она всегда стоит; бывало, подойдет к синему фонарю окна профессорской гостиной Ибсена и долго-долго стоит, показывая зрителям чуть сутулую, плоскую спину. В чем секрет обаяния Комиссаржевской? Почему она была вождем, какой-то Жанной д'Арк? Почему Савина рядом с ней казалась умирающей барыней, разомлевшей после Гостиного двора?

В сущности, в Комиссаржевской нашел свое выражение протестантский дух русской интеллигенции, своеобразный протестантизм от искусства и от театра. Недаром она тянулась к Ибсену и дошла до высокой виртуозности в этой протестантски-пристойной профессорской драме. Интеллигенция всегда не любила театра и стремилась справить театральную культуру как можно скромнее и пристойнее. Комиссаржевская шла навстречу этому протестантизму в театре, но зашла слишком далеко и вышла из пределов русского почти в европейский. Для начала она выкинула всю театральную мишуру: и жар свечей, и красные грядки кресел, и атласные гнезда лож. Деревянный амфитеатр, белые стены, серые сукна – чисто, как на яхте, и голо, как у лютеранской кирке. Между тем у Комиссаржевской были все данные большой трагической актрисы, но в зародыше. В отличие от всех тогдашних русских актеров, да, пожалуй, и теперешних, Комиссаржевская была внутренне музыкальна, она подымала и опускала голос так, как это требовалось дыханьем словесного строя; ее игра была на три четверти словесной, сопровождаемой самыми необходимыми скупыми движениями, и те были все наперечет, вроде заламыванья рук над головой. Создавая театр Ибсена и Метерлинка, она нащупывала европейскую драму, искренне убежденная, что лучшего и большего Европа дать не может.

Румяные пироги Александрийского театра так мало походили на этот бестелесный, прозрачный мирок, где всегда был великий пост. Сам театрик Комиссаржевской был окружен атмосферой исключительно сектантской приверженности. Не думаю, чтобы отсюда раскрывалась какая-нибудь театральная дорога. Из маленькой Норвегии пришла к нам эта комнатная драма. Фотографы. Приват-доценты. Ассессоры. Смешная трагедия потерянной рукописи. Аптекарю из Христиании удалось сманить грозу в профессорский курятник и поднять до высот трагедии зловеще-вежливые препирательства Гедды и Брака. Ибсен для Комиссаржевской был иностранной гостиницей, не больше. Комиссаржевская вырвалась из российского театрального быта, как из сумасшедшего дома, – она была свободна, но сердце театра останавливалось.

Когда Блок склонился над смертным ложем русского театра, он вспомнил и назвал Кармен, то есть то, от чего бесконечно далека была Комиссаржевская. Дни и часы ее маленького театра всегда были сочтены. Здесь дышали ложным и невозможным кислородом театрального чуда. Над театральным чудом зло посмеялся Блок в «Балаганчике», и Комиссаржевская, сыграв «Балаганчик», посмеялась над собой. Среди хрюканья и рева, мытья и декламации мужал и креп ее голос, родственник голосу Блока. Театр жил и будет жить человеческим голосом. Петрушка прижимает к небу медную створку, чтоб изменить голос. Лучше Петрушка, лучше Кармен и Аида, чем свиное рыло декламации.

«В не по чину барственной шубе»

К полуночи по линиям Васильевского острова носились волны метели. Синие желатинные коробки номеров пылали на углах и подворотнях. Булочные, не стесненные часом торговли, сдобным паром дышали на улицу, но часовщики давно закрыли лавки, наполненные горячим лопотаньем и звоном цикад.

Неуклюжие дворники, медведи в бляхах, дремали у ворот.

Так было четверть века назад. И сейчас горят там зимой малиновые шары аптек.

Спутник мой, выйдя из литераторской квартиры-берлоги, из квартиры-пещеры с зеленой близорукой лампой и тахтой-колодой, с кабинетом, где скупко накопленные книги угрожают оползнем, как сыпучие стенки оврага, выйдя из квартирки, где табачный дым кажется запахом уязвленного самолюбия, – спутник мой развеселился не на шутку и, запахнувшись в не по чину барственную шубу, повернул ко мне румяное, колючее русско-монгольское лицо.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Он не подозвал, а рявкнул извозчика таким властным морозным зыком, словно целая зимняя псарня с тройками, а не ватная лошаденка дождалась его окрика.

Ночь. Злится литератор-разночинец в не по чину барственной шубе. Ба! Да это старый знакомец! Под пленкой вощеной бумаги к сочиненьям Леонтьева приложенный портрет: в меховой шапке-митре – колючий зверь, первосвященник мороза и государства. Власть и мороз. Тысячелетний возраст государства. Теория скрипит на морозе полозьями извозчичьих санок. Холодно тебе, Византия? Зябнет и злится писатель-разночинец в не по чину барственной шубе.

Новгородцы и псковичи – вот так же сердились на своих иконах: ярусами, друг у друга на головах, стояли миряне, справа и слева, спорщики и ругатели, удивленно поворачивая к событию умные мужицкие головы на коротких шеях. Мясистые лица и жесткие бороды спорщиков, обращенные к событию с злобным удивлением. В них чудится мне прообраз литературной злости.

Как новгородцы злобно голосуют бороденками на Страшном суде, так литература злится столетие и косится на событие – пламенным косоглазием разночинца и неудачника, злостью мирянина, разбуженного не вовремя, призванного, нет, лучше за волосья притянутого в свидетели-понятые на византийский суд истории.

Литературная злость! Если б не ты, с чем бы стал я есть земную соль?

Ты приправа к пресному хлебу пониманья, ты веселое сознание неправоты, ты заговорщицкая соль, с ехидным поклоном передаваемая из десятилетия в десятилетие, в граненой солонке, с полотенцем! Вот почему мне так любо гасить жар литературы морозом и колючими звездами. Захрустит ли снегом? Развеселится ли на морозной некрасовской улице? Если настоящая – то да.

Вместо живых лиц вспоминать слепки голосов. Ослепнуть. Осязать и узнавать слухом. Печальный удел! Так входишь в настоящее, в современность, как в русло высохшей реки.

А ведь то были не друзья, не близкие, а чужие, далекие люди! И все же лишь масками чужих голосов украшены пустые пены моего жилища. Вспоминать – идти одному обратно по руслу высохшей реки!

Первая литературная встреча непоправима. То был человек с пересохшим горлом. Давно выкипели фетовские соловьи: чужая барская затея. Предмет зависти. Лирика. «Конный или пеший», – «Рояль был весь раскрыт», – «И горящую солью нетленных речей».

Больные, воспаленные веки фета мешали спать. Тютчев ранним склерозом, известковым слоем ложился в жилах. Пять-шесть последних символических слов, как пять евангельских рыб, оттягивали корзину; среди них большая рыба: «Бытие».

Ими нельзя было накормить голодное время, и пришлось выбросить из корзины весь пяток, и с ними большую дохлую рыбу: «Бытие».

Отвлеченные понятия в конце исторической эпохи всегда воняют тухлой рыбой. Лучше злобное и веселое шипенье хороших русских стихов.

Рявкнувший извозчика был В. В. Гиппиус, учитель словесности, преподававший детям вместо литературы гораздо более интересную науку – литературную злость. Чего он топорщился перед детьми? Детям ли нужен шип самолюбия, змеиный свист литературного анекдота?

Я и тогда знал, что около литературы бывают свидетели, как бы домочадцы ее: ну хотя бы разные пушкинианцы и пр. Потом узнал некоторых. До чего они пресны в сравнении с В. В.!

От прочих свидетелей литературы, ее понятых, он отличался именно этим злобным удивленьем. У него было звериное отношение к литературе как к единственному источнику животного тепла. Он грелся о литературу, терся о нее шерстью, рыжей щетиной волос и небритых щек. Он был Ромулом, ненавидящим свою волчицу, и, ненавидя, учил других ее любить.

Прийти к В. В. домой почти всегда значило его разбудить. Он спал на жесткой

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru кабинетной тахте, сжимая старую книжку «Весов» или «Северные цветы» «Скорпиона», отравленный Сологубом, уязвленный Брюсовым и во сне помнящий дикие стихи Случевского «Казнь в Женеве», товарищ Коневского и Добролюбова – воинственных молодых монахов раннего символизма.

Спячка В. В. была литературным протестом, как бы продолжением программы старых «Весов» и «Скорпиона». Разбуженный, он топорщился, с недоброй усмешечкой расспрашивал о том, о другом. Но настоящий его разговор был простым перебиранием литературных имен и книг, с звериной жадностью, с бешеной, но благородной завистью.

Он был мнителен и больше всех болезней боялся ангины, болезни, которая мешает говорить.

Между тем вся сила его личности заключалась в энергии и артикуляции его речи. У него было бессознательное влечение к шипящим и свистящим звукам и «т» в окончании слов. Выражаясь по-ученому, пристрастие к дентальным и небным.

С легкой руки В. В. и поныне я мыслю ранний символизм как густые заросли этих «щ». «Надо мной орлы, орлы говорящие». И так, мой учитель отдавал предпочтение патриархальным и воинственным согласным звукам боли и нападения, обиды и самозащиты. Впервые я почувствовал радость внешнего неблагоразумия русской речи, когда В. В. вздумалось прочесть детям «Жар-птицу» фета – «На суку извилистом и чудном»: словно змеи повисли над партами, целый лес шелестящий змей[13]. Спячка В. В. меня пугала и притягивала.

Язвительно-вежливый петербуржец, говорун поздних символических салонов, непроницаемый, как молодой чиновник, хранящий государственную тайну, Недоброво появлялся всюду читать Тютчева, как бы представлять за него. Речь его, и без того чрезмерно ясная, с широко открытыми гласными, как бы записанная на серебряных пластинках, прояснялась на удивление, когда доходило до Тютчева, особенно до альпийских стихов: «А который год белеет» и – «А заря и ныне сеет». Тогда начинался настоящий разлив открытых «а»: казалось, чтец только что прополоскал горло холодной альпийской водой. (Примеч. О. Э. Мандельштама.)

Неужели литература – медведь, сосущий свою лапу, – тяжелый сон после службы на кабинетной тахте?

Я приходил к нему разбудить зверя литературы. Послушать, как он рычит, посмотреть, как он ворочается: приходил на дом к учителю «русского языка». Вся соль заключалась именно в хождении «на дом», и сейчас мне трудно отделаться от ощущения, что тогда я бывал на дому у самой литературы. Никогда после литература не была уже домом, квартирой, семьей, где рядом спят рыжие мальчики в сетчатых кроватках.

Начиная от Радищева и Новикова, у В. В. устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство, с благородной завистью, ревностью, с шутливым неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье.

Интеллигент строит храм литературы с неподвижными истуканами. Короленко, например, так много писавший о зырянах, сдается мне, сам превратился в зырянского божка. В. В. учил строить литературу не как храм, а как род. В литературе он ценил патриархальное отцовское начало культуры. Как хорошо, что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературной (В. В. Г.) злости.

Власть оценок В. В. длится надо мной и посейчас. Большое, с ним совершенное, путешествие по патриархату русской литературы от Новикова с Радищевым до Коневского раннего символизма так и осталось единственным. Потом только почитывал.

Болтается шнурочек вместо галстука. В цветном некрахмальном воротничке беспокойны движения короткой шеи, подверженной ангине. Из гортани рвутся шипящие, клопочущие звуки: воинственные «щ», «и», «г».

Казалось, этот человек находился постоянно в состоянии воинственной и пламенной агонии. Предсмертие было в самой его природе и мучило его и будоражило, питая усыхающие корни его духовного существа.

Кстати, в обиходе символистов приняты были примерно такие разговорчики: «Как поживаете, Иван Иванович?» – «Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу».

В. В. любил стихи, в которых энергично и счастливо рифмовались: пламень – камень, любовь – кровь, плоть – господь.

Словарем его бессознательно управляли два слова: «бытие» и «пламень». Если бы дать ему пестовать всю российскую речь, думаю не шутя, неосторожно обращаясь, он сжег бы, загубил весь русский словарь во славу «бытия» и «пламени».

Литература века была родовита. Дом ее был полная чаша. За широким раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Скинув шубу, с мороза входили новые. Голубые пушковые огоньки напоминали приходящим о самолюбии, дружбе и смерти. Стол облетала проносящая всегда, казалась, в последний раз просьба: «Спой, Мери», мучительная просьба позднего пира.

Но не менее красавицы, поющей пронзительную шотландскую песнь, мне мил и тот, кто хриплым, натруженным беседой голосом попросил ее о песне.

Если мне померещился Константин Леонтьев, оружий извозчика на снежной улице Васильевского острова, то лишь потому, что из всех русских писателей он более других склонен орудовать глыбами времени. Он чувствует столетия, как погоду, и покрикивает на них.

Ему бы крикнуть: «Эх, хорошо, славный у нас век!» – вроде как: «Сухой выдался денек!» Да не тут-то было! Язык липнет к гортани. Стужа обжигает горло, и хозяйский окрик по столетию замерзает столбиком ртути.

Оглядываясь на весь девятнадцатый век русской культуры – разбившийся, конченный, неповторимый, которого никто не смеет и не должен повторять, я хочу окликнуть столетие, как устойчивую погоду, и вижу в нем единство «непомерной стужи», спявшей десятилетия в один денек, в одну ночку, в глубокую зиму, где страшная государственность – как печь, пышущая льдом.

И, в этот зимний период русской истории, литература в целом и в общем представляется мне как нечто барственное, смущающее меня: с трепетом приподымаю пленку вощеной бумаги над зимней шапкой писателя. В этом никто не повинен, и нечего здесь стыдиться. Нельзя зверю стыдиться пушной своей шкуры. Ночь его опушила. Зима его одела. Литература – зверь. Скорняк – ночь и зима.

1923

Феодосия

Начальник порта

Белый накрахмаленный китель – наследье старого режима – чудесно молодил его и мирил с самим собой: свежесть гимназиста и бодрость начальника – сочетание, которое он ценил в себе и боялся потерять. Весь Крым представлялся ему ослепительным, туго накрахмаленным географическим кителем. За Перекопом начиналась ночь. Там, за солончаками, уже не было ни крахмала, ни прачек, ни радостной субординации, и там невозможна была эта походка, упругая, как после купанья, – это постоянное возбуждение: смешанное чувство хорошо купленной валюты, ясной государственной службы и, в сорок лет, ощущение удачно выдержанного экзамена.

Обстоятельства складывались чересчур хорошо. Деловой портфель располагался с легким домашним изяществом дорожного несессера с ямочками для бритвы, мыльницы и разных щеток; помимо него, то есть без начальника порта, ни одной тонны ячменникам и пшеничникам, ни одной тонны отправителям зерна – ни самому Рошу, вчерашнему комиссионеру, сегодня – выскочке, легендарному Каниферштану, ленивому и томному на итальянский манер, отправляющему ячмень на Марсель, ни пшеничному Лившицу, сухопарому индюку, министру сквера Айвазовского, ни Центросоюзу, ни Рейзнерам, у которых дела так хороши, что вместо серебряной отпраздновали золотую свадьбу и отец от счастья подружился с сыном.

Каждый из грязных пароходов, с запахом кухни и сои, с мулатской прислужкой и жарко натопленной, как международное купе, но более похожей на каморку богатого швейцара капитанской каютой увозил и его тонны, незаметно смешанные с прочими.

Люди отлично знали, что вместе с зерном продают землю, по которой они ходят, но продолжали продавать эту землю, наблюдая за тем, как она осыпается в море, рассчитывая уехать, когда зашевелится под ногами последний оползень этой сыпучей земли.

Когда начальник порта шел по тенистой в корне, любезной старожилам Итальянской улице, его поминутно останавливали, брали под руку, отводили в сторону, что, впрочем, входило в привычки города, где все дела решались на улице и никто, выйдя из дому, не знал, когда он дойдет и дойдет ли вообще к намеченной цели. Он же выработал в себе привычку с каждым мужчиной говорить приблизительно так, как говорил бы с женой начальника, склонив набок яйцевидную голову, придерживаясь левой стороны, так что собеседник был заранее благодарен и сконфужен.

Некоторых избранных он приветствовал, как друзей, вернувшихся из дальнего плавания, награждая их сочными поцелуями. Эти поцелуи он носил при себе, как коробочку свежих мятных лепешек.

Не принадлежа к уважаемым гражданам города, с наступлением ночи я стучался в разные двери в поисках ночлега. Норд-ост свирепствовал на игрушечных улицах. Гинзбурги, Ландсберги и проч. пили чай с белой еврейской булкой «халой». Ночные сторожа-татары похаживали под окнами меняльных лавок и комиссионных магазинов, где чубуки и гитары драпировались в шелковый полковничий халат. Разве что, гремя подковами английских ботинок, пройдет запоздалая юнкерская рота, потрясая воздух известным пэаном, с некоторыми нецензурными выраженьями, которые опускались днем по настоянию местного раввина.

Тогда, в лихорадке, знакомой каждому бродяге, я метался в поисках ночлега. И Александр Александрович открывал мне, в качестве ночного убежища, управление порта.

Я думаю, никогда не бывало более странной ночной гостиницы. На электрический звонок открывал заспанный, тайно-враждебный парусиновый служитель. Сахарно-белые сильные лампочки, вспыхнув, освещали огромные карты Крыма, таблицы морских глубин и течений, диаграммы и хронометрические часы. Бережно снимал я бронзовую чернильницу с крытого зеленым сукном стола морских заседаний. Здесь было тепло и чисто, как в хирургической палате. Все английские и итальянские пароходы, когда-либо будившие Александра Александровича, зарегистрированные в толстых журналах, библиями спали на полках.

Чтоб понять, чем была Феодосия при Деникине-Врангеле, нужно знать, чем была она раньше. У города был заскок – делать вид, что ничего не переменялось, а осталось совсем, совсем по-старому. В старину же город походил не на Геную, гнездо военно-торговых хищников, а скорей на нежную Флоренцию. В обсерватории, у начальника Сарандинаки, не только записывали погоду и чертили изотермы, но собирались еженедельно слушать драмы и стихи как самого Сарандинаки, так и других жителей города. Сам полицмейстер однажды написал драму. Директор Азовского банка – Мабо был более известен как поэт. А когда Волошин появился на щербатых феодосийских мостовых в городском костюме: шерстяные чулки, плисовые штаны и бархатная куртка, – город охватывало как бы античное умиление и купцы выбегали из лавок.

Спору нет – мы должны быть благодарны Врангелю за то, что он дал нам подышать чистейшим воздухом разбойничьей средиземной республики шестнадцатого века. Но аттической Феодосии нелегко было приспособиться к суровому закону крымских пиратов.

Вот почему она сберегла доброго мецената Александра Александровича, морского котенка в пробковом тропическом шлеме, человека, который, сладко зажмурившись, глядел в лицо истории, отвечал на дерзкие ее выходы нежным мурлыканьем. Однако он был морским божеством города и по-своему Нептуном. Чем могущественнее человек, тем значительнее его пробуждение. Короли французские даже не вставали, а восходили, как солнце, и притом дважды: «малым» и «большим восходом». Александр Александрович просыпался вместе с морем. Но как общался он с морем? Общался он с морем по телефону. В полумраке его кабинета сверкали английские бритвы, пахло свежим полотняным бельем и крепким одеколоном, да еще сладковатым привозным табаком. Эта отличная мужская спальня, которой позавидовал бы любой американец, все же была средоточием морских узлов и капитанской рубкой.

Александр Александрович просыпался с первым пароходом. Два служителя, вестовые в белой парусине, вышколенные, как больничные санитары, кидались к первому телефонному звонку и нашептывали начальнику, который в эту минуту походил на разбуженного котенка, что пришел-де и стоит на рейде такой-то английский, турецкий или даже сербский пароход. Александр Александрович открывал крошечные глазки и, хотя он ничего не мог изменить в прибытии парохода, говорил: «А, хорошо, очень хорошо!» Тогда пароход становился гражданином рейда, начинался гражданский день моря, и начальник моря из спящего котенка превращался в покровителя купцов, вдохновителя таможни и биржевого фонтана, в коньячного, ниточного, валютного, одним словом, гражданского морского бога. Было в нем что-то от ласточки, домовито мусолящей гнездо – до поры до времени. И не заметишь, как она тренируется с детенышами на атлантический полет. Эвакуация была для него не катастрофой, не случайностью, а радостным атлантическим перелетом, по инстинкту отца и семьянина; как бы торжеством его жизненной упругости. Он никогда ничего о ней не говорил, но готовился к ней, может быть, бессознательно, с первой минуты.

Старухина птица

Если пройти всю Итальянскую, за последним комиссионным магазином, минуя заглохшую галерею Гостиного двора, где раньше был ковровый торг, позади французского домика в плюще и с жалюзи, где в мягкой гостиной с голоду умерла теософка Анна Михайловна, дорога забирает вверх к Карантинной слободке.

С января пошла неслышанно жестокая зима. По льду замерзшего Перекопа возили тяжелую артиллерию. В кофейне, рядом с «Асторией», английские солдаты – «бобби» – устроили грельню. Кружком сидели у жаровни, грели большие красные руки, пели шотландские песни и мешали в тесноте деликатным хозяевам жарить яичницу и варить кофе. Теплый и кроткий овечий город превратился в ад. Почетный городской сумасшедший, веселый чернобородый караим, уже не бегал больше по улицам со свитой мальчишек.

Карантинная слободка, лабиринт низеньких мазаных домиков с крошечными окнами, зигзаги переулочков с глиняными заборами в человеческий рост, где натыкаешься то на обмерзшую веревку, то на жесткий кизилковый куст. Жалкий глиняный Геркуланум, только что вырытый из земли, охраняемый злобными псами. Городок, где днем идешь, как по мертвому римскому плану, а ночью, в непроломном мраке, готов поступать к любой мещанке, лишь бы укрыла от злых собак и пустила к самовару. Карантинная слободка жила заботой о воде. Как зеницу ока она берегла свою обледеневшую водокачку. Крикливое женское вече не умолкало на крутом пригорке, где ручьи туго нагнетаемой воды не успевали замерзнуть, а чтобы ведра, налитые всклянь, не расплескались на подъеме, бабы поплавками щепок припечатывали студеной груз.

Идиллия Карантина длилась несколько дней. В одной из мазанок у старушки я снял комнату в цену куриного яйца. Как и все карантинные хозяйки, старушка жила в предсмертной, праздничной чистоте. Домишко свой она не просто прибрала, а обрядила. В сенях стоял крошечный рукомойник, но до того скупой, что не было ни малейшей возможности выдоить его до конца. Пахло хлебом, керосиновым перегаром матовой детской лампы и чистым старческим дыханьем. Крупно тикали часы. Крупной солью сыпались на двор зимние звезды. И я был рад, что в комнате надышано, что кто-то возится за стенкой, приготавливая обед из картошки, луковицы и горсточки риса. Старушка жильца держала, как птицу, считая, что ему нужно переменить воду, почистить клетку, насыпать зерна. В то время лучше было быть птицей, чем человеком, и соблазн стать старухиной птицей был велик.

Когда Деникин отступал от Курска, командование согнало железнодорожников, их посадили с семьями в теплушки, и не успели они опомниться, как покатались к Черному морю. Теперь железнодорожные куры, снятые с теплого нашествия, расселились на Карантине, обжились, кирпичом начистили кастрюли, но удивление их все еще продолжалось. Старуха без суеверного ужаса не могла говорить о том, как их «сняли с Курска», но разговору о том, что их повезут обратно, не было, так как бесповоротно считалось, что сюда их привезли умирать.

Если выйти на двор в одну из тех ледяных крымских ночей и прислушаться к звуку шагов на бесснежной глинистой земле, подмерзшей, как наша северная колея в октябре, если нащупать глазом в темноте могильники населенных, но погасивших огни городских холмов, если хлебнуть этого варева притушенной жизни, замешанной на густом собачьем лае и посоленной звездами, – физически ясным становилось

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru
ощущение спустившейся на мир чумы – тридцатилетней войны, с моровой язвой,
притушенными огнями, собачьим лаем и страшной тишиной в домах маленьких людей.

Бармы закона

Уплотнившееся дыханье капельками опускалось на желтые банные стены. Крошечные черные чашечки, охраняемые запотевшими стаканами железистой крымской воды, были расставлены приманками для красных хоботков караимских и греческих губ. Там, где садились двое, сейчас же подсаживался третий, а за плечами у третьего, подозрительно и как будто ни при чем, становилось еще двое. Центрики расплылись и рассасывались, управляемые своеобразным законом мушиного тяготенья: люди облепляли невидимый центр, с жужжаньем повиснув над кусочком, незримого сахара, и с злобной песнью шарались от несостоявшейся сделки.

Грязная, на серой древесной бумаге, всегда похожая на корректуру, газетка Освага будила впечатленье русской осени в лавке мелочного торговца.

Между тем, город над мушиными свадьбами и жаровнями жил большими и чистыми линиями. От Митридата, то есть древнеперсидского кремля на горе театрално-картонного камня, до линейной стрелы мола и к сурово-подлинной декорации шоссе, тюрьмы и базара, – он натягивал воздушные флаги журавлиного треугольника, предлагая мирное посредничество и земле, и небу, и морю. Подобно большинству южнобережных городов-амфитеатров, он бежал с горы овечьей разверсткой, голубыми и серыми отарами радостно-бестолковых домов.

Город был древнее, лучше и чище всего, что в нем происходило. К нему не приставала никакая грязь. В прекрасное тело его впились клещи тюрьмы и казармы, по улицам ходили циклопы в черных бурках, сотники, пахнущие собакой и волком, гвардейцы разбитой армии, с фуражки до подошв заряженные лисьим электричеством здоровья и молодости. На иных людей возможность безнаказанного убийства действует, как свежая нарзанная ванна, и Крым для этой породы людей, с детскими наглыми и опасно пустыми карими глазами, был лишь курортом, где они проходили курс леченья, соблюдая бодрящий, благотворный их природе режим.

Полковник Цыгальский нянчил сестру, слабоумную и плачущую, и больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами, – орла Добровольческой армии. В одном углу его жилища как бы незримо копошился под шипенье примуса эмблематический орел, в другом, кутаясь в шинель или в пуховый платок, жалась сестра, похожая на сумасшедшую гадалку. Запасные лаковые сапоги просились не в Москву, молодцами-скороходами, а скорее на базар. Цыгальский создан был, чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь чей-нибудь сон. И он, и сестра похожи были на слепых, но в зрачках полковника, светившихся агатовой чернотой и женской добротой, застоялась темная решимость поводыря, а у сестры только коровий испуг. Сестру он кормил виноградом и рисом, иногда приносил из юнкерской академии какие-то скромные пайковые кулечки, напоминая клиента Кубу или Дома ученых.

Трудно себе представить, зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии? Такой человек, кажется, способен в решительную минуту обнять полководца и сказать ему: «Голубчик, бросьте, пойдите лучше ко мне – поговорим!» Цыгальский ходил к юнкерам читать артиллерийскую науку, как студент на урок.

Однажды, стесняясь своего голоса, примуса, сестры, непроданных лаковых сапог и дурного табаку, он прочел стихи. Там было неловкое выражение: «Мне все равно, с царем или без трону», и еще пожеланья о том, какой нужна ему Россия: «Увенчанная бармами закона», и прочее, напоминавшие мне почерневшую от дождя Фемиду на петербургском Сенате. «Чьи это стихи?» – «Мои».

Тогда он открыл мне сомнамбулический ландшафт, в котором он жил. Самое главное в этом ландшафте был провал, образовавшийся на месте России. Черное море надвинулось до самой Невы; густые, как деготь, волны его лизали плиты Исаакия, с траурной пеной разбивались о ступени Сената. По дикому этому пространству, где-то между Курском и Севастополем, словно спасательные буйки, плавали бармы закона, и не добровольцы, а какие-то слепые рыбаки в челноках вылавливали эту странную принадлежность государственного туалета, о которой вряд ли знал и догадывался сам полковник до революции.

Полковник – нянька с бармами закона!

Мазеса да Винчи

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru
Когда фэзтон с плюшевыми медальонами пустых сидений или одноконная линейка с
свадебно-розовым балдахином пробивались в раскаленную глушь верхнего города –
града копыт хватало на четыре квартала. Лошадь, подметая ногами искры, с такой
силой обивала горячие камни, что казалось, в них должна была образоваться
лестница.

Здесь было так сухо, что ящерица умерла бы от жажды. Человек в сандалиях и
зеленых носках, ошеломленный явлением гремучего экипажа, долго глядел ему вслед.
На лице его было написано изумленье, словно везли в гору еще не бывший в
употреблении рычаг Архимеда. Затем он подошел к торговке, которая сидела в своей
квартире и торговала прямо из окна, превратив его в прилавок. Постучав по арбузу
цыганским серебряным перстнем, он попросил отрезать ему половину. Но, дойдя до
угла, вернулся, обменял арбуз на две самодельные папиросы и быстро удалился.

В верхнем городе дома, несколько казарменного и даже бастионного характера, дают
приятное впечатление прочности, а также естественного, равного человеческой
жизни, возраста. Оставляя в стороне археологию и не очень отдаленную старину,
все они впервые сделали городской эту шершавую землю.

Дом родителей художника Мазеса да Винчи стыдливо повернулся к каменоломне
хозяйственным и оживленным тылом. Засаленные библейские перины валялись на
солнце. Кролики таяли стерилизованным пухом, то перебежали, то расплывались,
как пролитое молоко. И, не слишком далеко, не слишком близко, там, где ей нужно,
стояла гостеприимная будка с распахнутой дверью. На кривых шпагатных реях
пузырилась большая стирка. Добродетельная армада шла под воинственными
материнскими парусами, но крыло, принадлежащее Мазесе, поражаало яркостью и
богатством оснастки: черные и малиновые косоворотки, шелковая ночная рубашка до
пят, какие носят новобрачные и ангелы, одна зефирная, одна бетховенская –
разумеется, я говорю только о рубашках – и одна фрачная, с длинными, обезьяньими
руками, получившая в домашней переделке цветные манжеты.

Белье на юге сохнет недолго; Мазеса прошел прямо на двор, приказал все это снять
и немедленно выгладить.

Имя свое он избрал сам и на вопросы любопытствующих лишь неохотно объяснил, что
ему нравится фамилия да Винчи. В первой же половине своего прозвища – Мазеса –
он сохранил кровную связь с родом: отец его, маленький, очень приличный человек,
возил мануфактуру в Керчь на моторном паруснике, не страшась морской болезни, и
звали его просто господином Мазес. Таким образом, Мазеса, прибавив женское
окончание, превратил родовое прозвище в личное имя.

Кому неведом корабельный хаос мастерской славного Леонардо? Предметы кружились
вихрем в трех измерениях гениальной рабочей комнаты, голуби, проникая в слуховое
окошечко, пачкали пометом драгоценную парчу, и в вещей слепоте мастер наткнулся
на скромные предметы быта времен Возрождения. Мазеса унаследовал от невольного
своего восприемника плодотворное буйство трех измерений, и спальня его
уподоблялась плывущему ренессансному кораблю.

С потолка свешивалась большая люлька – корзина, в которой Мазеса любил отдыхать
днем. Легкие хлопья перинного пуха не жили в густой, благородной черноте.
Лестница, занесенная в комнату упрямой прихотью Мазесы, приставлена была к
антресолям, где среди прочего инвентаря выделялась арматура тяжелых бронзовых
ламп, во времена деда Мазесы висевшая в караимской молельне. Из кратера
фарфоровой чернильницы с грустными синагогальными львами торчали бородастые,
расщепленные, много лет не знавшие чернил перья. На полке, под бархатной
занавеской, библиотека: испанская Библия, словарь Макарова, «Соборяне» Лескова,
энтомология Фабра и путеводитель Бедекера по Парижу. На ночном столике, рядом с
конвертом старого письма из Аргентины, микроскоп создавал ложное впечатление,
что Мазеса глядится в него по утрам, просыпаясь.

В крошечном городе, захваченном кондотьерами Врангеля, Мазеса был совершенно
незаметен и счастлив. Он гулял, ел фрукты и купался в бесплатной купальне,
мечтал купить белые туфли на резиновой подошве, полученные в Центросоюзе.
Отношения его с людьми и со всем миром строились на неопределенности и сладкой
недоговоренности.

Он спускался с горы, выбирал в городе жертву, прилеплялся к ней на два, на три,
а то и на шесть часов и, рано или поздно, зигзагами раскаленных улиц приводил ее

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru к себе домой. Таким образом, действуя, как тарантул, он исполнял какой-то темный, лично ему свойственный инстинктивный акт. Всем он говорил одно и то же: «Идемте ко мне, у нас каменный дом!» Но в каменном доме было то же, что и в других: перины, сердоликовые камушки, фотографии и вязаные салфетки.

Мазеса рисовал только автопортреты, да еще специально писал этюды с адамова яблока.

Когда вещи были выглажены, Мазеса стал собираться к вечернему выходу. Он не умывался, но горячо окунулся в серебряное девичье зеркало. Зрачки его потемнели. Круглые женские плечи вздрагивали.

Белые брюки-теннис, бетховенская рубашка и спортивный пояс не удовлетворили его. Он вынул из шкапа визитку и в полном вечернем туалете – безупречном от сандалий до тюбетейки – с черными шевиотовыми ластами на белых ляжках вышел на улицу, уже омытую козьим молоком феодосийской луны.

1923–1924(?)

Путешествие в Армению

Севан

На острове Севане, который отличается двумя достойнейшими архитектурными памятниками VII века, а также землянками недавно вымерших отшельников, густо заросшими крапивой и чертополохом и не более страшными, чем запущенные дачные погреба, я прожил месяц, наслаждаясь стоянием озерной воды на высоте четырех тысяч футов и приучая себя к созерцанию двух-трех десятков гробниц, разбросанных на манер цветника посреди омоложенных ремонтом монастырских общежитий.

Ежедневно, ровно в пятом часу, озеро, изобилующее форелями, закипало, словно в него была подброшена большая щепотка соды. Это был в полном смысле слова месмерический сеанс изменения погоды, как будто медиум напускал на дотолу спокойную известковую воду сначала дурашливую зыбь, потом птичье кипение и, наконец, буйную ладожскую дурь.

Тогда нельзя было отказать себе в удовольствии отмерять триста шагов по узкой тропинке пляжа насупротив мрачного Гюнейского берега.

Здесь Гокча образует прилив раз в пять шире Невы. Великолепный пресный ветер со свистом врывался в легкие. Скорость движения облаков увеличивалась ежеминутно, и прибой-первопечатник спешил издать за полчаса вручную жирную гуттенберговскую Библию под тяжело насупленным небом.

Не менее семидесяти процентов населения острова составляли дети. Они, как зверьки, лазили по гробницам монахов, то бомбардировали мирную корягу, приняв ее студеным судороги на дне за корчи морского змея, то приносили из влажных трущоб буржуазных жаб и ужей с ювелирными женскими головками, то гоняли взад и вперед обезумевшего барана, который никак не мог понять, кому мешает его бедное тело, и тряс нагулянным на привольи курдюком.

Рослые степные травы на подветренном горбу Севанского острова были так сильны, сочны и самоуверенны, что их хотелось расчесать железным гребнем.

Весь остров по-гомеровски усеян желтыми костями – остатками богомольных пикников окрестного люда.

Кроме того, он буквально вымощен огненно-рыжими плитами безмянных могил – торчащими, расшатанными и крошащимися.

В самом начале моего пребывания пришло известие, что каменщики на длинной и узкой косе Саампакерта, роя яму под фундамент для маяка, наткнулись на кувшинное погребение древнейшего народа Урарту. Я уже видел раньше в Эриванском музее скрюченный в сидячем положении скелет, помещенный в большую гончарную амфору, с дырочкой в черепе, просверленной для злого духа.

Рано утром я был разбужен стрекотанием мотора. Звук топтался на месте. Двое механиков разогревали крошечное сердце припадочного двигателя, поливая его мазутом. Но, едва налаживаясь, скороговорка – что-то вроде «не пито – не едено, не пито – не едено» – угасала и таяла в воде.

Профессор Хачатурьян, с лицом, обтянутым орлиной кожей, под которой все мускулы и связки выступали, перенумерованные и с латинскими названиями, – уже прохаживался по пристани в длинном черном сюртуке османского покроя. Не только археолог, но и педагог по призванию, большую часть своей деятельности он провел директором средней школы – армянской гимназии в Карее. Приглашенный на кафедру в советскую Эривань, он перенес сюда и свою преданность индоевропейской теории, и глухую вражду к яфетическим выдумкам Марра, а также поразительное незнание русского языка и России, где никогда не бывал.

Разговорившись кой-как по-немецки, мы сели в баркас с товарищем Кариньяном – бывшим председателем армянского ЦИКа.

Этот самолюбивый и полнокровный человек, обреченный на бездействие, курение папирос и столь невеселую трату времени, как чтение напостовской литературы, с видимым трудом отвыкал от своих официальных обязанностей, и скука отпечатала жирные поцелуи на его румяных щеках.

Мотор бормотал «не пито – не едено», словно рапортуя т. Кариньяну, островок быстро отбежал назад, выпрямив свою медвежью спину с осьмигранниками монастырей. Баркас провожала мошара, и мы плыли в ней, как в кисее, по утреннему кисельному озеру.

В яме нами были действительно обнаружены и глиняные черепки, и человеческие кости, но, кроме того, был найден черенок ножа с клеймом старинной русской фабрики N.N.

Впрочем, я с уважением завернул в свой носовой платок пористую известковую корочку от чьей-то черепной коробки.

Жизнь на всяком острове, – будь то Мальта, Святая Елена или Мадера, – протекает в благородном ожидании. Это имеет свою прелесть и неудобство. Во всяком случае, все постоянно заняты, чуточку спадают с голоса и немного внимательнее друг к другу, чем на большой земле, с ее широкопальными дорогами и отрицательной свободой.

Ушная раковина истончается и получает новый завиток.

На Севане подобралась, на мое счастье, целая галерея умных и породистых стариков – почтенный краевед Иван Яковлевич Сагателян, уже упомянутый археолог Хачатурьян, наконец, жизнерадостный химик Гамбаров.

Я предпочитал их спокойное общество и густые кофейные речи плоским разговорам молодежи, которые, как всюду в мире, вращались вокруг экзаменов и физкультуры.

Химик Гамбаров говорит по-армянски с московским акцентом. Он весело и охотно обрусел. У него молодое сердце и сухое поджарое тело. Физически это приятнейший человек и прекрасный товарищ в играх.

Был он помазан каким-то военным елеем, словно только что вернулся из полковой церкви, что, впрочем, ничего не доказывает и бывает иной раз с превосходными советскими людьми.

С женщинами – он рыцарственный Мазепа, одними губами ласкающий Марию, в мужской компании – враг колкостей и самолюбий, а если врежется в спор, то горячится, как фехтовальщик, из франкской земли.

Горный воздух его молодил, он засучивал рукава и кидался к рыбачьей сетке волейбола, сухо работая маленькой ладонью.

Что сказать о севанском климате?

– Золотая валюта коньяку в потайном шкапчике горного солнца.

Стеклянная палочка дачного градусника бережно передавалась из рук в руки.

Доктор Герцберг откровенно скучал на острове армянских материй. Он казался мне бледной тенью ибсеновской проблемы или актером МХАТа на даче.

Дети показывали ему свои язычки, высовывая их на секунду ломтиками медвежьего мяса...

Да под конец к нам пожаловал ящур, занесенный в бидонах молока с дальнего берега Зайналу, где отмалчивались в угрюмых русских избах какие-то экс-хлысты, давно переставшие радеть.

Впрочем, за грехи взрослых ящур поразил одних безбожных севанских ребят.

Один за другим жестковолосые драчливые дети никли в спелом жару на руки женщин, на подушки.

Однажды, соревнуясь с комсомольцем Х., Гамбаров затеял обогнуть вплавь всю тушу Севанского острова. Шестидесятилетнее сердце не выдержало, и, сам обессилевший, Х. вынужден был покинуть товарища, вернулся к старту и полуживой выбросился на гальку. Свидетелями несчастья были вулканические стены островного кремля, исключаяющие всякую мысль о причале...

То-то поднялась тревога. Шлюпки на Севане не оказалось, хотя ордер на нее был уже выписан.

Люди заматались по острову, гордые сознанием непоправимого несчастья. Непрочитанная газета загремела жестью в руках. Остров затоснило, как беременную женщину.

У нас не было ни телефона, ни голубиной почты для сообщения с берегом. Баркас отошел в Еленовку часа два назад, и – как ни напрягай ухо – не слышно было даже стрекотания на воде.

Когда экспедиция во главе с товарищем Кариньяном, имея с собой одеяло, бутылку коньяку и все прочее, привезла окоченевшего, но улыбающегося Гамбарова, подобранного на камне, его встретили аплодисментами. Это были самые прекрасные рукоплескания, какие мне приходилось слышать в жизни: человека приветствовали за то, что он еще не труп.

На рыбной пристани Норадуза, куда нас возили на экскурсию, обошедшуюся, к счастью, без хорошего пения, меня поразил струг совершенно готовой барки, вздернутой в сыром виде на дыбу верфи. Размером он был с доброго троянского коня, а свежими музыкальными пропорциями напоминал коробку бандуры.

Кругом курчавились стружки. Землю разъедала соль, а чешуйки рыбы подмигивали пластиночками кварца.

В кооперативной столовой, такой же бревенчатой и – мин-херц-петровской, как и все в Норадузе, кормили вповалку густыми артельными щами из баранины.

Рабочие заметили, что у нас нет с собой вина, и, как подобает настоящим хозяевам, наполнили наши стаканы.

Я выпил в душе за здоровье молодой Армении с ее домами из апельсинового камня, за ее белозубых наркомов, за конский пот и топот очередей и за ее могучий язык, на котором мы не достойны говорить, а должны лишь чураться в нашей немощи –

вода по-армянски – джур,
деревня – гьюх.

Никогда не забуду Арнольди. Он припадал на ортопедическую клешню, но так мужественно, что все завидовали его походке.

Ученое начальство острова проживало на шоссе в молоканской Еленовке, где в полумраке научного исполкома голубели заспиртованные жандармские морды великаньих форелей.

Уж эти гости!

Их приносила на Севан быстрая, как телеграмма, американская яхта, ланцетом резавшая воду, – и Арнольди вступал на берег – грозой от науки, Тамерланом добродушия.

У меня создалось впечатление, что на Севане жил кузнец, который его подковывал, и для того-то, чтобы с ним покумекать, он и высаживался на остров.

Нет ничего более поучительного и радостного, чем погружение себя в общество людей совершенно иной расы, которую уважаешь, которой сочувствуешь, которой вчуже гордишься. Жизненное наполнение армян, их грубая ласковость, их благородная трудовая кость, их неизъяснимое отвращение ко всякой метафизике и прекрасная фамильярность с миром реальных вещей – все это говорило мне: ты бодрствуешь, не бойся своего времени, не лукавь.

Не оттого ли, что я находился в среде народа, прославленного своей кипучей деятельностью и, однако, живущего не по вокзальным и не по учрежденческим, а по солнечным часам, какие я видел на развалинах Зварднотца в образе астрономического колеса или розы, вписанной в камень?

Чужелюбие вообще не входит в число наших добродетелей. Народы СССР сожительствуют как школьники. Они знакомы лишь по классной парте да по большой перемене, пока крошится мел.

Ашот Ованесьян

Институт народов Востока помещается на Берсеневской набережной, рядом с пирамидальным Домом Правительства. Чуть подальше промышлял перевозчик, взявая три копейки за переправу и окуная по самые уключины в воду перегруженную свою ладью.

Воздух по набережной Москвы-реки тягучий и мучнистый.

Ко мне вышел скучающий молодой армянин. Среди яфетических книг с колючими шрифтами существовала также, как русская бабочка-капустница в библиотеке кактусов, белокурая девица.

Мой любительский приход никого не порадовал. Просьба о помощи в изучении древнеармянского языка не тронула сердца этих людей, из которых женщина к тому же и не владела ключом познания.

В результате неправильной субъективной установки я привык смотреть на каждого армянина как на филолога... Впрочем, отчасти это и верно. Вот люди, которые гремят ключами языка даже тогда, когда не отпирают никаких сокровищ.

Разговор с молодым аспирантом из Тифлиса не клеился и принял под конец дипломатически сдержанный характер.

Были названы имена высокочтимых армянских писателей, был упомянут академик Марр, только что промчавшийся через Москву из Удмуртской или Вогульской области в Ленинград, и был похвален дух яфетического любомудрия, проникающий в структурные глубины всякой речи...

Мне уже становилось скучно, и я все чаще поглядывал на кусок заглохшего сада в окне, когда в библиотеку вошел пожилой человек с деспотическими манерами и величавой осанкой.

Его Прометеева голова излучала дымчатый пепельно-синий свет, как сильнейшая кварцевая лампа... Черно-голубые, взбитые, с выхвалю, пряди жестких волос имели в себе нечто от корешковой силы заколдованного птичьего пера.

Широкий рот чернокнижника не улыбался, твердо помня, что слово – это работа. Голова товарища Ованесьяна обладала способностью удаляться от собеседника, как горная вершина, случайно напоминающая форму головы. Но синяя кварцевая хмура его очей стоила улыбки.

Так глухота и неблагодарность, завещанная нам от титанов...

Голова по-армянски: глух', с коротким придыханием после «х» и мягким «л»... Тот же корень, что по-русски... А яфетическая новелла? Пожалуйста.

Видеть, слышать и понимать – все эти значения сливались когда-то в одном семантическом пучке. На самых глубинных стадиях речи не было понятий, но лишь

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru направления, страхи и вожделения, лишь потребности и опасения. Понятие головы вылепилось десятком тысячелетий из пучка туманностей, и символом ее стала глухота.

Впрочем, читатель, ты все равно перепутаешь, и не мне тебя учить...

Москва

Незадолго перед тем, роясь под лестницей грязно-розового особняка на Якиманке, я разыскал оборванную книжку Синьяка в защиту импрессионизма. Автор изъяснял «закон оптической смеси», прославлял работу мазками и внушал важность употребления одних чистых красок спектра.

Он основывал свои доказательства на цитатах из боготворимого им Эжена Делакруа. То и дело он обращался к его «Путешествию в Марокко», словно перелистывая обязательный для всякого мыслящего европейца кодекс зрительного воспитания.

Синьяк трубил в кавалерийский рожок последний зрелый сбор импрессионистов. Он звал в ясные лагеря, к зуавам, бурнусам и красным юбкам алжирок.

При первых же звуках этой бодрящей и укрепляющей нервы теории я почувствовал дрожь новизны, как будто меня окликнули по имени...

Мне показалось, будто я сменил копытообразную и пропыленную городскую обувь на легкие мусульманские чупяки.

За всю мою долгую жизнь я видел не больше, чем шелковичный червь.

К тому же легкость вторгалась в мою жизнь, как всегда сухую и беспорядочную и представляющуюся мне щекочущим ожиданием какой-то беспроектной лотереи, где я могу вынуть все, что угодно: кусок земляничного мыла, сидение в архивах в палатах первопечатника или вожделенное путешествие в Армению, о котором я не переставал мечтать.

Хозяин моей временной квартиры – молодой белокурый юрисконсульт – врывался по вечерам к себе домой, схватывал с вешалки резиновое пальто и ночью улетал на «юнкерсе» то в Харьков, то в Ростов.

Его нераспечатанная корреспонденция валялась по неделям на неумытых подоконниках и столах. Постель этого постоянно отсутствующего человека была покрыта украинским ковричком и подколота булавками.

Вернувшись, он лишь потряхивал белокурой головой и ничего не рассказывал о полете.

Должно быть, величайшая дерзость – беседовать с читателем о настоящем в тоне абсолютной вежливости, которую мы почему-то уступили мемуаристам.

Мне кажется, это происходит от нетерпения, с которым я живу и меняю кожу.

Саламандра ничего не подозревает о черном и желтом крапе на ее спине. Ей невдомек, что эти пятна располагаются двумя цепочками или же сливаются в одну сплошную дорожку, в зависимости от влажности песка, от жизнерадостной или траурной оклейки террария.

Но мыслящая саламандра – человек – угадывает погоду завтрашнего дня, – лишь бы самому определить свою расцветку.

Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся. Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь. Они угрюмо сцепились в страстно-потребительскую ассоциацию, обрывали причитающиеся им дни по стригущей талонной системе и улыбались, как будто произносили слово «повидло».

Внутри их комнаты были убраны, как кустарные магазины, различными символами родства, долголетия и домашней верности, Преобладали белые слоны большой и малой величины, художественно исполненные собаки и раковины. Им не был чужд культ умерших, а также некоторое уважение к отсутствующим. Казалось, эти люди с славянски пресными и жестокими лицами ели и спали в фотографической молельне.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru и я благодарил свое рождение за то, что я лишь случайный гость Замоскворечья и в нем не проведу лучших своих лет. Нигде и никогда я не чувствовал с такой силой арбузную пустоту России; кирпичный колорит москворецких закатов, цвет плиточного чая приводил мне на память красную пыль Араратской долины.

Мне хотелось поскорее вернуться туда, где черепа людей одинаково прекрасны и в гробу, и в труде.

Кругом были не дай бог какие веселенькие домики с низкими душонками и трусливо поставленными окнами. Всего лишь семьдесят лет тому назад здесь продавали крепостных девок, обученных шитью и мережке, смиренных и понятливых.

Две черствые липы, оглохшие от старости, подымали на дворе коричневые вилы. Страшные какой-то казенной толщиной обхвата, они ничего не слышали и не понимали. Время окормило их молниями и опило ливнями, – что гром, что бром – им было безразлично.

Однажды собрание совершеннолетних мужчин, населяющих дом, постановило свалить старейшую липу и нарубить из нее дров.

Дерево окопали глубокой траншеей. Топор застучал по равнодушным корням. Работа лесорубов требует сноровки. Добровольцев было слишком много. Они суетились, как неумелые исполнители гнусного приговора.

Я подозвал жену:

– Смотри, сейчас оно упадет.

Между тем дерево сопротивлялось с мыслящей силой, – казалось, к нему вернулось полное сознание. Оно презирало своих оскорбителей и щучьи зубы пилы.

Наконец ему накинули на сухую развилину, на то самое место, откуда шла его эпоха, его летаргия и зеленая божба, петлю из тонкой прачечной веревки и начали тихонько раскачивать. Оно шаталось, как зуб в десне, все еще продолжая княжить в своей ложнице. Еще мгновение – и к поверженному истукану подбежали дети.

В этом году правление Центросоюза обратилось в Московский университет с просьбой рекомендовать им человека для посылки в Эривань. Имелось в виду наблюдение за выходом кошенили – мало кому известной насекомой твари. Из кошенили получается отличная карминная краска, если ее высушить и растереть в порошок.

Выбор университета остановился на Б. С. Кузине, хорошо образованном молодом зоологе. Б. С. проживал со старушкой матерью на Б. Якиманке, состоял в профсоюзе, перед каждым встречным и поперечным из гордости вытягивался в струнку и выделял из всей академической среды старика Сергеева, который собственноручно смастерил и приладил все высокие красные шкапы зоологической библиотеки и, проведя ладонью, с закрытыми глазами, безошибочно называл породу уже обделанной древесины – будь то дуб, ясень или сосна.

Б. С. ни в коем случае не был книжным червем. Наукой он занимался на ходу, имел какое-то прикосновение к саламандрам знаменитого венского самоубийцы – профессора Каммерера и пуще всего на свете любил музыку Баха, особенно одну инвенцию, исполняемую на духовых инструментах и взвизгивающую кверху, как готический фейерверк.

Кузин был довольно опытным путешественником в масштабе СССР. И в Бухаре, и в Ташкенте мелькала его лагерная гимнастерка и раздавался заразительный военный смех. Повсюду он сеял друзей. Не так давно один мулла – святой человек, похороненный на горе, – прислал ему формальное извещение о своей кончине на чистом фарсидском языке. По мнению муллы, славный и ученый молодой человек, исчерпав запас здоровья и наплодив достаточно детей, – но не раньше, – должен был с ним соединиться.

Слава живущему! Всякий труд почтенен!

В Армению Кузин собирался нехотя. Все бегал за мешками и ведрами для сбора кошенили и жаловался на хитрость чиновников, не выдававших ему тары.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru
Разлука – младшая сестра смерти. Для того, кто уважает резоны судьбы, – есть в проводах зловеще-свадебное оживление.

То и дело хлопала наружная дверь, и с мышиной якиманской лестницы прибывали гости обоего пола: ученики советских авиационных школ – беспечные конькобежцы воздуха, сотрудники дальних ботанических станций, специалисты по горным озерам, люди, побывавшие на Памире и в Западном Китае, и просто молодые люди.

Началось разливание по рюмкам виноградных московских вин, милое отнекивание женщин и девушек, брызнул сок помидоров и бестолковый общий говор: об авиации, о мертвых петлях, когда не замечаешь, что тебя опрокинули, и земля, как огромный коричневый потолок, рушится тебе на голову, о ташкентской дороговизне, о дяде Саше и его гриппе, о чем угодно...

Кто-то рассказывал, что внизу на Якиманке разлегся бронзовый инвалид, который тут и живет, пьет водку, читает газеты, дуется в кости, а на ночь снимает деревянную ногу и спит на ней, как на подушке.

Другой сравнивал якиманского Диогена с феодальной японкой, третий кричал, что Япония – страна шпионов и велосипедистов.

Предмет беседы весело ускользал, словно кольцо, передаваемое за спиной, и шахматный ход коня, всегда уводящий в сторону, был владыкой застольного разговора...

Не знаю, как для других, но для меня прелесть женщины увеличивается, если она молодая путешественница, по научной командировке пролежала пять дней на жесткой лавке ташкентского поезда, хорошо разбирается в линнеевской латыни, знает свое место в споре между ламаркистами и эпигенетиками и равнодушна к сое, к хлопку или хондрилле.

А на столе роскошный синтаксис путаных, разноазбучных, грамматически неправильных полевых цветов, как будто все дошкольные формы растительного бытия сливаются в полногласном хрестоматийном стихотворении.

В детстве из глупого самолюбия, из ложной гордыни я никогда не ходил по ягоды и не нагибался за грибами. Больше грибов мне нравились готические хвойные шишки и лицемерные желуди в монашеских шапочках. Я гладил шишки. Они топорщились. Они убеждали меня. В их скорлупчатой нежности, в их геометрическом ротозействе я чувствовал начатки архитектуры, демон которой сопровождал меня всю жизнь.

А на подмосковных дачах мне почти не приходилось бывать. Ведь не считать же автомобильные поездки в Узкое по Смоленскому шоссе, мимо толстобрюхих бревенчатых изб, где капустные заготовки огородников как ядра с зелеными фитилями. Эти бледно-зеленые капустные бомбы, нагроможденные в безбожном изобилии, отдаленно мне напоминали пирамиду черепов на скучной картине Верещагина.

Теперь не то, но перелом пришел, пожалуй, слишком поздно.

Еще в прошлом году на острове Севане, в Армении, гуляя в высокой поясной траве, я восхищался безбожным горением маков. Яркие до хирургической боли, какие-то лжекотильонные знаки, большие, слишком большие для нашей планеты, несгораемые полоротые мотыльки, они росли на противных волосатых стеблях.

Я позавидовал детям. Они ретиво охотились за маковыми крыльями в траве. Нагнулся раз, нагнулся другой... Уже в руках огонь, словно кузнец одолжил меня углями.

Однажды в Абхазии я набрел на целые россыпи северной земляники.

На высоте немногих сот футов над уровнем моря невзрослые леса одевали все холмогорье. Крестьяне мотыжили красноватую сладкую землю, подготавливая луночки для ботанической рассады.

То-то я обрадовался коралловым деньгам северного лета. Спелые железистые ягоды висели трезвучьями, пятизвучьями, пели выводками и по нотам.

Итак, Б. С., вы уезжаете первым. Обстоятельства еще не позволяют мне последовать

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru за вами. Я надеюсь, они изменятся.

Вы остановитесь на улице Спандарьяна, 92, у милейших людей – Тер-Оганьянов. Помните, как было? Я бежал к вам «по Спандарьяну», глотая едкую строительную пыль, которой славится молодая Эривань. Еще мне были любы и новы шероховатости, шершавости и торжественности отремонтированной до морщин Араратской долины, город, как будто весь развороченный боговдохновенными водопроводчиками, и большеротые люди, с глазами, просверленными прямо из черепа, – армяне.

Мимо сухих водокачек, мимо консерватории, где в подвальчике разучивали квартет и откуда слышался сердитый голос профессора: «Падайте! падайте!» – то есть дайте нисходящее движение в адажио, – к вашей подворотне.

Не ворота, а длинный прохладный туннель, прорубленный в дедовском доме, и в него, как в зрительную трубу, брезжил дворик с зеленью такой не по сезону тусклой, как будто ее выжгли серной кислотой.

Кругом глазам не хватает соли. Ловишь формы и краски – и все это опресноки. Такова Армения.

На балкончике вы показали мне персидский пенал, крытый лаковой живописью цвета запекшейся с золотом крови. Он был обидно пустой. Мне захотелось понюхать его почтенные затхлые стенки, служившие сардарскому правосудию и моментальному составлению приговоров о выкалывании глаз.

Затем, снова уйдя в ореховый сумрак квартиры Тер-Оганьянов, вы возвратились с пробиркой и показали мне кошениль. Красно-бурые горошины лежали на ветке.

Эту пробу вы взяли из татарской деревни Сарванлар, в двадцати от Эривани. Оттуда хорошо виден отец Арарат, и в сухой пограничной атмосфере невольно чувствуешь себя контрабандистом. И, смеясь, вы мне рассказывали, какая есть в Сарванларе в дружественной вам татарской семье отличная девчурочка-обжорка... Ее хитренькое личико всегда обмазано кислым молоком и пальчики лоснятся от бараньего жира... Во время обеда вы, отнюдь не страдая изжогой брезгливости, все же откладывали для себя потихоньку лист лаваша, потому что обжорка ставила ножки на хлеб, как на скамеечку.

Я смотрел, как сдвигалась и раздвигалась гармоника басурманских морщинок у вас на лбу – пожалуй, самое одухотворенное в вашем физическом облике. Эти морщинки, как будто натертые барашковой шапкой, реагировали на каждую значительную фразу, и они гуляли на лбу ходуном, хорохором и ходором. Было в вас что-то, мой друг, годуновско-татарское.

Я сочинял сравнения для вашей характеристики и все глубже вживался в вашу антидарвинистическую сущность, я изучал живую речь ваших длинных, нескладных рук, созданных для рукопожатия в минуту опасности и горячо протестовавших на ходу против естественного отбора.

Есть у Гете в «Вильгельме Мейстере» человек по имени Ярно: насмешник и естествоиспытатель. Он по неделям скрывается в латифундиях образцово-показательного мира, ночует в башенных комнатах на захламодавщих простынях и выходит к обеду из глубин благонамеренного замка.

Этот Ярно был членом своеобразного ордена, учрежденного крупным помещиком Леотаром – для воспитания современников в духе второй части «Фауста». Общество имело широкую агентурную – вплоть до Америки – сеть, организацию, близкую к иезуитской. Велись тайные кондуитные списки, протягивались щупальца, улавливались люди.

Именно Ярно поручено было наблюдение за Мейстером.

Вильгельм путешествовал с мальчуганом Феликсом, сыном несчастной Марианны. Жить в одном месте свыше трех суток запрещалось параграфом искусства. Румяный Феликс – розовое дидактическое дитя – гербаризировал, восклицал: «Sag mir, Vater» [14], – поминутно вопрошал отца, отламывая куски горных пород, и заводил знакомства-однодневки.

У Гете вообще очень скучные, благонравные дети. Дети в изображении Гете – это

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
маленькие Эроты любознательности с колчаном метких вопросов за плечами...

И вот Мастер в горах встречается с Ярно.

Ярно буквально вырывает из рук Мастера его трехдневную путевку. Позади и впереди у них годы разлуки. Тем лучше! Тем звучнее эхо для лекции геолога в лесном университете.

Вот почему теплый свет, излучаемый устным поучением, ясная дидактика дружеской беседы намного превосходит вразумляющее и поучающее действие книг.

Я с благодарностью вспоминаю один из эриванских разговоров, которые вот сейчас, спустя какой-нибудь год, уже одревлены несомненностью личного опыта и обладают достоверностью, помогающей нам ощущать самих себя в предании.

Речь зашла о «теории эмбрионального поля», предложенной профессором Гурвичем.

Зачаточный лист настурции имеет форму алебарды или двухстворчатой удлиненной сумочки, переходящей в язычок. Он похож также на кремневую стрелу из палеолита. Но силовое натяжение, бунтующее вокруг листа, преобразует его сначала в фигуру о пяти сегментах. Линии пещерного наконечника получают дуговую растяжку.

Возьмите любую точку и соедините ее пучком координат с прямой. Затем продолжите эти координаты, пересекающие прямую под разными углами, на отрезок одинаковой длины, соедините их между собой, и получаете выпуклость.

В дальнейшем силовое поле резко меняет свою игру и гонит форму к геометрическому пределу, к многоугольнику.

Растение – это звук, извлеченный палочкой терменвокса, воркующий в перенасыщенной волновыми процессами сфере. Оно – посланник живой грозы, перманентно бушующей в мироздании, – в одинаковой степени сродни и камню, и молнии! Растение в мире – это событие, происшествие, стрела, а не скучное бородатое развитие!

Еще недавно, Борис Сергеевич, один писатель[15] принес публичное покаяние в том, что был орнаменталистом или старался по мере греховных сил им быть.

Мне кажется, ему уготовано место в седьмом кругу дантовского ада, где вырос кровотокающий терновник. И когда какой-нибудь турист из любопытства отломит веточку этого самоубийцы, он взмолится человеческим голосом, как Пьетро де Винеа: «Не тронь! Ты причинил мне боль! Иль жалости ты в сердце не имеешь? Мы были люди, а теперь деревья...»

И капнет капля черной крови...

Какой Бах, какой Моцарт варьирует тему настурции? Наконец вспыхнула фраза: «Мировая скорость стручка лопающейся настурции».

Кому не знакома зависть к шахматным игрокам? Вы чувствуете в комнате своеобразное поле отчуждения, струящее враждебный к неучастникам холодок.

А ведь эти персидские коники из слоновой кости погружены в раствор соли. С ними происходит то же, что с настурцией московского биолога Е. С. Смирнова и с эмбриональным полем профессора Гурвича.

Угроза смещения тяготеет над каждой фигуркой во все время игры, во все грозное явление турнира. Доска лurchится от напряженного внимания. Фигуры шахмат растут, когда попадают в лучевой фокус комбинации, как волнушки-грибы в бабье лето.

Задача разрешается не на бумаге и не в камер-обскуре причинности, а в живой импрессионистской среде в храме воздуха и света и славы Эдуарда Манэ и Клода Монэ.

Правда ли, что наша кровь излучает митогенетические лучи, пойманные немцами на звуковую пластинку, лучи, способствующие, как мне передавали, усиленному делению ткани?

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru
Все мы, сами о том не подозревая, являемся носителями громадного эмбриологического опыта: ведь процесс узнавания, увенчанный победой усилия памяти, удивительно схож с феноменом роста. И здесь и там – росток, зачаток и – черточка лица или полухарактера, полузвук, окончание имени, что-то губное или небное, сладкая горошина на языке, – развивается не из себя, но лишь отвечает на приглашение, лишь вытягивается, оправдывая ожидание.

Этими запоздалыми рассуждениями, Б. С., я надеюсь хотя бы отчасти вас вознаградить за то, что мешал вам в Эривани играть в шахматы.

Сухум

В начале апреля я приехал в Сухум – город траура, табака и душистых растительных масел. Отсюда следует начинать изучение азбуки Кавказа – здесь каждое слово начинается на «а». Язык абхазцев мощен и полногласен, но изобилует верхне- и нижнегортанными слитными звуками, затрудняющими произношение; можно сказать, что он вырывается из гортани, заросшей волосами.

Боюсь, еще не родился добрый медведь Балу, который обучит меня, как мальчика Маугли из джунглей Киплинга, прекрасному языку «апсны» – хотя в отдаленном будущем академии для изучения группы кавказских языков рисуются мне разбросанными по всему земному шару. Фонетическая руда Европы и Америки иссякает. Залежи ее имеют пределы. Уже сейчас молодые люди читают Пушкина на эсперанто. Каждому – свое!

Но какое грозное предостережение!..

Сухум легко обозрим с так называемой горы Чернявского или с площадки Орджоникидзе. Он весь линейный, плоский и всасывает в себя под траурный марш Шопена большую, дуговину моря, раздышавшись своей курортно-колониальной грудью.

Он расположен внизу, как готовальня с вложенным в бархат циркулем, который только что описал бухту, нарисовал надбровные дуги холмов и сомкнулся.

Хотя в общественной жизни Абхазии есть много наивной грубости и злоупотреблений, нельзя не плениться административным и хозяйственным изяществом небольшой приморской республики, гордой своими драгоценными почвами, самшитовыми лесами, оливковым совхозом на Новом Афоне и высоким качеством т кварчельского угля.

Сквозь платок кусались розы, визжал ручной медвежонок с серой древнерусской мордочкой околпаченного Ивана-дурака, и визг его резал стекло. Прямо с моря накатывали свежие автомобили, вспарывая шинами вечнозеленую гору.. Из-под пальмовой коры выбивалась седая мочала театральных париков, и в парке, как шестипудовые свечи, каждый день стреляли вверх на вершок цветущие агавы.

Подвойский произносил нагорные проповеди о вреде курения и отечески журил садовников. Однажды он задал мне глубоко поразивший меня вопрос:

– Каково было настроение мелкой буржуазии в Киеве в 19-м году?

Мне кажется, его мечтой было процитировать «Капитал» Карла Маркса в шалаше Поля и Виргинии.

В двадцативерстных прогулках, сопровождаемый молчаливыми латышами, я развивал в себе чувство рельефа местности.

Тема: бег к морю пологих вулканических холмов, соединенных цепочкой – для пешехода.

Вариации: зеленый ключик высоты передается от вершины к вершине и каждая новая гряда запирает лощину на замок.

Спустились к немцам – в «дорф», в котловину, и были густо обляяны овчарками.

Я был в гостях у Гулиа – президента абхазской Академии наук и чуть не передал ему поклон от Тартарена и оружейника Костекальда.

Чудесная провансальская фигура!

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru
Он жаловался на трудности, сопряженные с изобретением абхазского алфавита, говорил с почтением о петербургском гаере Евреинове, который увлекался в Абхазии культом козла, и сетовал на недоступность серьезных научных исследований ввиду отдаленности Тифлиса.

Твердолобый перестук бильярдных шаров так же приятен мужчинам, как женщинам выстукивание костяных вязальных спиц. Разбойник кий разорял пирамиду, и четверо эпических молодцов из армии Блюхера, схожие, как братья, дежурные, четкие, с бульбой в груди – находили аховую прелесть в игре.

И старики партийцы от них не отставали.

С балкона ясно видна в военный бинокль дорожка и трибуна на болотном маневренном лугу цвета бильярдного сукна. Раз в год бывают большие скачки на выносливость для всех желающих.

Кавалькада библейских старцев провожала мальчика-победителя.

Родичи, разбросанные по многоверстному эллипсу, ловко подают на шестах мокрые тряпки разгоряченным наездникам.

На дальнем болотном лугу экономный маяк вращал бриллиантом Тэта.

И как-то я увидел пляску смерти – брачный танец фосфорических букашек. Сначала казалось, будто попыхивают огоньки тончайших блуждающих пахитосок, но росчерки их были слишком рискованные, свободные и дерзкие.

Черт знает куда их заносило!

Подойдя ближе: электрифицированные сумасшедшие поденки подмаргивают, дергаются, вычерчивают, пожирают черное чтиво настоящей минуты.

Наше плотное тяжелое тело истлеет, точно так же и наша деятельность превратится в такую же сигнальную свистопляску, если мы не оставим после себя вещественных доказательств бытия. Да поможет нам книга, резец и голос и союзник его – глаз.

Страшно жить в мире, состоящем из одних восклицаний и междометий!

Безыменский, силач, подымающий картонные гири, круглоголовый, незлобивый чернильный купец, нет, не купец, а продавец птиц, – и даже не птиц, а воздушных шаров РАППа, – он все сутулился, напевал и бодал людей своим голубоглазием.

Неистоимый оперный репертуар клокотал в его горле. Концертно-садовая, боржомная бодрость никогда его не покидала. Байбак с мандолиной в душе, он жил на струне романса, и сердцевина его пела под иглой граммофона.

Французы

Тут я растягивал зрение и окунал глаза в широкую рюмку моря, чтобы вышла из него наружу всякая соринка и слеза.

Я растягивал зрение, как лайковую перчатку, напяливал ее на колодку – на синий морской околодок...

Я быстро и хищно, с феодальной яростью осмотрел владения окоема.

Так опускают глаз в налитую всклянь широкую рюмку, чтобы вышла наружу соринка.

И я начинал понимать, что такое обязательность цвета – азарт голубых и оранжевых маек – и что цвет не что иное, как чувство старта, окрашенное дистанцией и заключенное в объем.

Время в музее обращалось согласно песочным часам. Набегал кирпичный отсевочек, опорожнялась рюмочка, а там из верхнего шкапчика в нижнюю скляницу та же струйка золотого самума.

Здравствуй, Сезанн! Славный дедушка! Великий труженик. Лучший желудь французских лесов.

Шум времени. Осип Эмильевич Манделъштам mandelshamjoseph.ru
Его живопись заверена у деревенского нотариуса на дубовом столе. Она незыблема, как завещание, сделанное в здравом уме и твердой памяти.

Но меня-то пленил натюрморт старика. Срезанные, должно быть, утром розы; плотные и укатанные, особенно молодые чайные. Ни дать ни взять – катышки желтоватого сливочного мороженого.

Зато я невзлюбил Матисса, художника богачей. Красная краска его холстов шипит содой. Ему незнакома радость наливающихся плодов. Его могущественная кисть не исцеляет зрение, но бычью силу ему придает, так что глаза наливаются кровью.

Уж мне эти ковровые шахматы и одалиски!

Шахские прихоти парижского мэтра!

Дешевые овощные краски Ван-Гога куплены по несчастному случаю за двадцать су.

Ван-Гог харкает кровью, как самоубийца из мебелированных комнат. Доски пола в ночном кафе наклонены и струятся как желоб с электрическим бешенстве. И узкое корыто биллиарда напоминает колоду гроба.

Я никогда не видел такого лающего колорита.

А его огородные кондукторские пейзажи! С них только что смахнули мокрой тряпкой сажу пригородных поездов.

Его холсты, на которых размазана яичница катастрофы, наглядны, как зрительные пособия – карты из школы Берлица.

Посетители передвигаются мелкими церковными шажками.

Каждая комната имеет свой климат. В комнате Клода Монэ воздух речной. Глядя на воду Ренуара, чувствуешь волдыри на ладони, как бы натертые греблей.

Синьяк придумал кукурузное солнце.

Объяснительница картин ведет за собой культурников. Посмотришь – и скажешь: магнит притягивает утку.

Озенфан сработал нечто удивительное – красным мелом и грифельными белками на черном аспидном фоне, – модулируя формы стеклянного дутья и хрупкой лабораторной посуды.

А еще вам кланяется синий еврей Пикассо и серо-малиновые бульвары Писсарро, текущие как колеса огромной лотереи, с коробочками кэбов, вскинувших удочки бичей, и лоскутьями разбрызганного мозга на киосках и каштанах.

Но не довольно ли?

В дверях уже скучает обобщение.

Для всех, выздоравливающих от безвредной чумы наивного реализма, посоветовал бы такой способ смотреть картины.

Ни в коем случае не входить как в часовню. Не млеть, не стынуть, не приклеиваться к холстам..

Прогулочным шагом, как по бульвару, – насквозь!

Рассекайте большие температурные волны пространства масляной живописи.

Спокойно, не горячась, – как татарчата купают в Алуште лошадей, – погружайте глаз в новую для него материальную среду – и помните, что глаз благородное, но упрямое животное.

Стояние перед картиной, с которой еще не сравнялась телесная температура вашего зрения, для которой хрусталик еще не нашел единственной достойной аккомодации, – все равно, что серенада в шубе за двойными оконными рамами.

Когда это равновесие достигнуто – и только тогда – начинайте второй этап реставрации картины, ее отмыwania, совлечения с нее ветхой шелухи, наружного и позднейшего варварского слоя, который соединяет ее, как всякую – вещь, с солнечной и сгущенной действительностью.

Тончайшими кислотными реакциями глаз – орган, обладающий акустикой, наращивающий ценность образа, помножающий свои достижения на чувственные обиды, с которыми он нянчится, как с писаной торбой, – поднимает картину до себя, ибо живопись в гораздо большей степени явление внутренней секреции, нежели апперцепции, то есть внешнего восприятия.

Материал живописи организован беспронизительно, и в этом его отличие от природы. Но вероятность тиража обратно пропорциональна его осуществимости.

А путешественник-глаз вручает сознанию свои посольские грамоты. Тогда между зрителем и картиной устанавливается холодный договор, нечто вроде дипломатической тайны.

Я вышел на улицу из посольства живописи.

Сразу после французов солнечный свет показался мне фазой убывающего затмения, а солнце – завернутым в серебряную бумагу. И тут только начинается третий и последний этап вхождения в картину – очная ставка с замыслом.

У дверей кооператива стояла матушка с сыном. Сын был сухоточный, почтительный. Оба в трауре. Женщина совала пучок редиски в ридикюль.

Конец улицы, как будто смятый биноклем, сбился в прищуренный комок, – и все это – отдаленное и липовое – было напихано в веревочную сетку.

Вокруг натуралистов

Ламарк боролся за честь живой природы со шпагой в руках. Вы думаете, он так же мирился с эволюцией, как научные дикари XIX века? А по-моему, стыд за природу ожег смуглые щеки Ламарка. Он не прощал природе пустячка, который называется изменчивостью видов.

Вперед! Aux armes! [16] Омоем с себя бесчестие эволюции.

Чтение натуралистов-систематиков (Линнея, Бюффона, Палласа) прекрасно влияет на расположение чувств, выпрямляет глаз и сообщает душе минеральное кварцевое спокойствие.

Россия в изображении замечательного натуралиста Палласа: бабы гонят краску мариону из квасцов с березовыми листьями, липовая кора сама сдирается на лыки, заплетается в лапти и лукошки. Мужики употребляют густую нефть как лекарственное масло. Чувашки звякают балаболочками в косах.

Кто не любит Гайдна, Глюка и Моцарта – тот ни черта не поймет в Палласе [17].

Телесную круглость и любезность немецкой музыки он перенес на русские равнины. Белыми руками концертмейстера он собирает российские грибы. Сырая замша, гнилой бархат, а разломишь – внутри лазурь.

Кто не любит Гайдна, Глюка и Моцарта – тот ничего не поймет в Палласе.

Поговорим о физиологии чтения. Богатая, неисчерпанная и, кажется, запретная тема. Из всего материального, из всех физических тел книга – предмет, внушающий человеку наибольшее доверие. Книга, утвержденная на читательском пюпитре, уподобляется холсту, натянутому на подрамник.

Будучи всецело охвачены деятельностью чтения, мы любуемся главным образом своими родовыми свойствами, испытываем как бы восторг перед классификацией своих возрастов.

Но если Линней, Бюффон и Паллас окрасили мою зрелость, то я благодарю кита за то, что он пробудил во мне ребяческое изумление перед наукой.

Шум времени. Осип Эмильевич Манделъштам mandelshamjoseph.ru
В зоологическом музее:

Кап... кап... кап...

– кот наплакал эмпирического опыта.

Да заверните же, наконец, кран!

Довольно!

Я заключил перемирие с Дарвином и поставил его на воображаемой этажерке рядом с Диккенсом. Если бы они обедали вместе, с ними сам-третий сидел бы мистер Пикквик. Нельзя не плениться добродушием Дарвина. Он непреднамеренный юморист. Ему присущ (сопутствует) юмор ситуации.

Но разве добродушие – метод творческого познания и достойный способ жизнеощущения?

В обратном, нисходящем движении с Ламарком по лестнице живых существ есть величие Данта. Низшие формы органического бытия – ад для человека.

Длинные седые усы этой бабочки имели остистое строение и в точности напоминали ветки на воротнике французского академика или серебряные пальмы, возлагаемые на гроб. Грудь сильная, развитая, в лодочку. Головка незначительная, кошачья.

Ее глазастые крылья были из прекрасного старого дмиральского шелка, который побывал и в Чесме, и при Трафальгаре.

И вдруг я поймал себя на диком желании взглянуть на природу нарисованными глазами этого чудовища.

Ламарк чувствует провалы между классами. Он слышит паузы и синкопы эволюционного ряда.

Ламарк заплакал глаза в лупу. В естествознании он – единственная шекспировская фигура.

Смотрите, этот раскрасневшийся полупочтенный старец сбегает вниз по лестнице живых существ, как молодой человек, обласканный министром на аудиенции или осчастливленный любовницей.

Никто, даже отъявленные механисты, не рассматривают рост организма как результат изменчивости внешней среды. Это было бы уж чересчур большой наглостью. Среда лишь приглашает организм к росту. Ее функции выражаются в известной благосклонности, которая постепенно и непрерывно погашается суровостью, связывающей живое тело и награждающей его смертью.

Итак, организм для среды есть вероятность, желаемость и ожидаемость. Среда для организма – приглашающая сила. Не столько оболочка, сколько вызов.

Когда дирижер вытягивает палочкой тему из оркестра, он не является физической причиной звука. Звучание уже дано в партитуре симфонии, в спонтанном сговоре исполнителей, в многолюдстве зала и в устройстве музыкальных орудий.

У Ламарка басенные звери. Они приспособляются к условиям жизни по Лафонтену. Ноги цапли, шея утки и лебедя, язык муравьеда, асимметричное и симметрическое строение глаз в некоторых рыб.

Лафонтен, если хотите, подготовил учение Ламарка. Его умничающие, морализующие рассудительные звери были прекрасным живым материалом для эволюции. Они уже развертали между собой ее мандаты.

Парнокопытный разум млекопитающих одевает их пальцы закругленным рогом.

Кенгуру передвигаются логическими скачками.

Это сумчатое в описании Ламарка состоит из слабых, то есть примирившихся со своей ненужностью, передних ног, из сильно развитых, то есть убежденных в своей

Шум времени. Осип Эмильевич Манделъштам mandelshamjoseph.ru
важности, задних конечностей и мощного тезиса, именуемого хвостом.

Уже расположились дети играть в песочек у подножья эволюционной теории дедушки Крылова, то бишь Ламарка-Лафонтена. Найдя себе убежище в Люксембургском саду, она обросла мячами и воланами.

А я люблю, когда Ламарк изволит гневаться и вдребезги разбивается вся эта швейцарская педагогическая скука. В понятие природы врывается марсельеза!

Самцы жвачных сшибаются лбами. У них еще нет рогов.

Но внутреннее ощущение, порожденное гневом, направляет к лобному отростку «флюиды», способствующие образованию рогового и костяного вещества.

Снимаю шляпу. Пропускаю учителя вперед. Да не умолкнет юношеский гром его красноречия!

«Еще» и «уже» – две светящиеся точки ламарковской мысли, живчики эволюционной славы и светописи, сигнальщики и застрельщики формообразования.

Он был из породы старых настройщиков, которые бренчат костлявыми пальцами в чужих хоробах. Ему разрешались лишь хроматические крючки и детские арпеджио.

Наполеон позволял ему настраивать природу, потому что считал ее императорской собственностью.

В зоологических описаниях Линнея нельзя не отметить преемственной связи и некоторой зависимости от ярмарочного зверинца. Владелец странствующего балагана или наемный шарлатан-объяснитель стремится показать товар лицом. Эти зазывалы-объяснители меньше всего думали о том, что им придется сыграть некоторую роль в происхождении стиля классического естествознания. Они ввали напропалую, молили чушь на голодный желудок, но при этом сами увлекались своим искусством. Их вывозила нелегкая кривая, а также профессиональный опыт и прочная традиция ремесла.

Линней ребенком в маленькой Упсале не мог не посещать ярмарок, не мог не заслушиваться объяснений в странствующем зверинце. Как и все мальчишки, он млеял и таял перед ученым детиной в ботфортах и с хлыстом, перед доктором баснословной зоологии, который расхваливал пуму, размахивая огромными красными кулачищами.

Сближая важные творения шведского натуралиста с красноречием базарного говоруна, я отнюдь не намерен принизить Линнея. Я хочу лишь напомнить, что натуралист – профессиональный рассказчик, публичный демонстратор новых интересных видов.

Раскрашенные портреты зверей из линнеевской «Системы природы» могли висеть рядом с картинками Семилетней войны и олеографией блудного сына.

Линней раскрасил своих обезьян в самые нежные колониальные краски. Он обмакивал свою кисточку в китайские лаки, писал коричневым и красным перцем, шафраном, оливой, вишневым соком. При этом со своей задачей он справлялся проворно и весело, как цирюльник, бреющий бюргермейстера, или голландская хозяйка, размалывающая кофе на коленях в утробистой мельнице.

Восхитительная Колумбова яркость Линнеева обезьянника.

Это Адам раздает похвальные грамоты млекопитающим, призвав себе на помощь багдадского фокусника и китайского монаха.

Персидская миниатюра косит испуганным грациозным миндалевидным оком.

Безгрешная и чувственная, она лучше всего убеждает в том, что жизнь – драгоценный неотъемлемый дар.

Люблю мусульманские эмали и камеи.

Продолжая мое сравнение, я скажу: горячее конское око красавицы косо и милостиво нисходит к читателю. Обгорелые кочерыжки рукописей похрустывают, как сухумский табак.

Сколько крови пролито из-за этих недотрог! Как наслаждались ими завоеватели!

У леопардов хитрые уши наказанных школьников.

Плакучая ива свернулась в шар, обтекает и плавает.

Адам и Ева освещаются, одетые по самой последней моде.

Горизонт упразднен. Нет перспективы. Очаровательная недогадливость. Благородное лестничное восхождение лисицы и чувство прислоненности садовника к ландшафту и к архитектуре.

Вчера читал Фирдусси, и мне показалось, будто на книге сидит шмель и сосет ее.

В персидской поэзии дуют посольские подарочные ветры из Китая.

Она черпает долголетие серебряной разливательной ложкой, одаривая им кого захочет лет тысячи на три или на пять. Поэтому цари из династии Джемиджидов долговечны, как попугаи.

Быв добрыми неизмеримо долгое время, любимцы Фирдусси внезапно и ни с того ни с сего делаются злыднями, повинувшись единственно роскошному произволу вымысла.

Земля и небо в книге «Шах-намэ» больны базедовой болезнью – они восхитительно пучеглазы.

Я взял Фирдусси у Государственного библиотекаря Армении – Мамикона Артемьевича Геворкьяна. Мне принесли целую стопку синих томиков – числом, кажется, восемь. Слова благородного прозаического перевода – это было французское издание Молля – благоухали розовым маслом.

Мамикон, пожевав отвислой губернаторской губой, пропел своим неприятным верблюжьим голосом несколько стихов по-персидски.

Геворкьян красноречив, умен и любезен, но эрудиция его чересчур шумная и напористая, а речь жирная, адвокатская.

Читатели вынуждены удовлетворять свою любознательность тут же, в кабинете директора, – под его личным присмотром, и книги подаваемые на стол этого сатрапа, получают вкус мяса розовых фазанов, горьких перепелок, мускусной оленины и плутоватой зайчатины.

Аштарак

Мне удалось наблюдать служение облаков Арарату.

Тут было нисходящее и восходящее движение сливок, когда они вваливаются в стакан румяного чая и расходятся в нем кучевыми клубнями.

А впрочем, небо земли араратской доставляет мало радости Саваофу: оно выдуманно синицей в духе древнейшего атеизма.

Ямщицкая гора, сверкающая снегом, кротовое поле, как будто с издевательской целью засеянное каменными зубьями, нумерованные бараки строительства и набитая пассажирами консервная жестянка – вот вам окрестности Эривани.

И вдруг – скрипка, расхищенная на сады и дома, разбитая на систему этажерок, – с распорками, перехватами, жердочками, мостиками.

Село Аштарак повисло на журчаньи воды, как на проволочном каркасе. Каменные корзины его садов – отличнейший бенефисный подарок для колоратурного сопрано.

Ночлег пришелся в обширном четырехспальном доме раскулаченных. Правление колхоза вытрусил из него обстановку и учредило в нем деревенскую гостиницу. На террасе, способной приютить все семя Авраама, скорбел удойный умывальник.

Фруктовый сад – тот же танцкласс для деревьев. Школьная робость яблонь, алая грамотность вишен... Вы посмотрите на их кадрили, их ритуальники и рондо.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru

Я слушал журчание колхозной цифири. В горах прошел ливень, и хляби уличных ручьев побежали шибче обыкновенного.

Вода звенела и раздувалась на всех этажах и этажерках Аштарак – и пропускала верблюда в игольное ушко.

Ваше письмо на 18 листах, исписанное почерком прямым и высоким, как тополевая аллея, я получил и на него отвечаю:

Первое столкновение в чувственном образе с материей древнеармянской архитектуры.

Глаз ищет формы, идеи, ждет ее, а взамен натывается на заплесневший хлеб природы или на каменный пирог.

Зубы зрения крошатся и обламываются, когда смотришь впервые на армянские церкви.

Армянский язык – неизнашиваемый – каменные сапоги. Ну, конечно, толстостепенное слово, прослойки воздуха в полугласных. Но разве все очарование в этом? Нет! Откуда же тяга? Как объяснить? Осмыслить?

Я испытал радость произносить звуки, запрещенные для русских уст, тайные, отверженные и, может, даже – на какой-то глубине постыдные.

Был пресный кипяток в жестяном чайнике, и вдруг в него бросили щепоточку чудного черного чая.

Так было у меня с армянским языком.

Я в себе выработал шестое – «араратское» чувство: чувство притяжения горой.

Теперь, куда бы меня ни занесло, оно уже умозрительное и останется.

Аштаракская церковка самая обыкновенная и для Армении смиренная. Так – церквушка в шестигранной камилавке с канатным орнаментом по карнизу кровли и такими же веревочными бровками над скупыми устами щелистых окон.

Дверь – тише воды, ниже травы.

Встал на цыпочки и заглянул внутрь: но там же купол, купол!

Настоящий! Как в Риме у Петра, под которым тысячные толпы, и пальмы, и море свечей, и носилки.

Там углубленные сферы апсид раковинами поют. Там четыре хлебопека: север, запад, юг, восток – с выколотыми глазами тычутся в воронкообразные ниши, обшаривают очаги и междуочажья и не находят себе места.

Кому же пришла идея заключить пространство в этот жалкий погребец, в эту нищую темницу – чтобы ему там воздать достойные псалмопевца почести?

Мельник, когда ему не спится, выходит без шапки в сруб и осматривает жернова. Иногда я просыпаюсь ночью и твержу про себя спряжения по грамматике Марра.

Учитель Ашот вмурован в плоскостенный дом свой, как несчастный персонаж в романе Виктора Гюго.

Стукнув пальцем по коробу капитанского барометра, он шел во двор – к водоему и на клетчатом листке чертил кривую осадков.

Он возделывал малотоварный фруктовый участок в десятичную долю гектара, крошечный вертоград, запеченный в каменно-виноградном пироге Аштарак, и был исключен как лишний едок из колхоза.

В дупле комода хранился диплом университета, аттестат зрелости и водянистая папка с акварельными рисунками – невинная проба ума и таланта.

В нем был гул несовершенного прошедшего.

Труженик в черной рубашке с тяжелым огнем в глазах, с открытой театральной шеей, он удалялся в перспективу исторической живописи – к шотландским мученикам, к Стюартам.

Еще не написана повесть о трагедии полуобразования.

Мне кажется, биография сельского учителя может стать в наши дни настольной книгой, как некогда «Вертер».

Аштарак – селение богатое и хорошо угнездившееся – старше многих европейских городов. Славится праздниками жатвы и песнями ашугов. Люди, кормящиеся около винограда, – женолюбивы, общительны, насмешливы, склонны к обидчивости и ничегонеделанью. Аштаракцы не составляют исключения.

С неба упало три яблока: первое тому, кто рассказывал, второе тому, кто слушал, третье тому, кто понял. Так кончается большинство армянских сказок. Многие из них записаны в Аштараке. В этом районе – фольклорная житница Армении.

Алагез

– Ты в каком времени хочешь жить?

– Я хочу жить в повелительном причастии будущего, в залоге страдательном – в «долженствующем быть».

Так мне дышится. Так мне нравится. Есть верховая, конная басмаческая честь. Оттого-то мне и славный латинский «герундиум» – это глагол на коне.

Да, латинский гений, когда был жаден и молод, создал форму повелительной глагольной тяги как прообраз всей нашей культуры, и не только «долженствующая быть», но «долженствующая быть хвалимой» – *laudatura est* – та, что нравится...

Такую речь я вел с самим собой, едучи в седле по урочищам, кочевбищам и гигантским пастбищам Алагеза.

В Эривани Алагез торчал у меня перед глазами, как «здрасьте» и «прощайте». Я видел, как день ото дня подтаивала его снеговая корона, как в хорошую погоду, особенно по утрам, сухими гренками хрустели его нафабранные кручи.

И я тянулся к нему через тутовые деревья и земляные крыши домов.

Кусок Алагеза жил тут же, со мной, в гостинице. На подоконнике почему-то валялся увесистый образчик черного вулканического стекла – камень обсидиан. Визитная карточка в пуд, забытая какой-нибудь геологической экспедицией.

Подступы к Алагезу не утомительны, и ничего не стоит взять его верхом, несмотря на 14 000 футов. Лава заключена в земляные опухоли, по которым едешь, как по маслу.

Из окна моей комнаты на пятом этаже эриванской гостиницы я составил себе совершенно неверное представление об Алагезе. Он мне казался монолитным хребтом. На самом деле он складчатая система и развивается постепенно – по мере подъема шарманка диоритовых пород раскручивалась, как альпийский вальс.

Ну и емкий денек выпал мне на долю! И сейчас, как вспомню, екает сердце. Я в нем запутался, как в длинной рубашке, вынутой из сундуков праотца Иакова.

Деревня Бьюракан озаменована охотой за цыплятами. Желтенькими шариками они катались по полу, обреченные в жертву нашему людоедскому аппетиту.

В школе к нам присоединился странствующий плотник – человек бывалый и проворный. Хлебнув коньяку, он рассказал, что знать не хочет ни артелей, ни профсоюзов. Руки-де у него золотые, и везде ему почет и место. Без всякой биржи он находит заказчика – по чутью и по слуху угадывает, где есть нужда в его труде.

Родом он, кажется, был чех и вылитый крысолов с удочкой.

В Бьюракане я купил большую глиняную солонку, с которой потом. было много возни.

Представьте себе грубую песочницу – бабу в фижах или роброне, с кошачьей головкой и большим круглым ртом на самой середине робы, куда свободно залезает пятерня.

Счастливая находка из богатой, впрочем, семьи предметов такого рода. Но символическая сила, вложенная в него первобытным воображением, не ускользнула даже от поверхностного внимания горожан.

Везде крестьянки с плачущими лицами, волочащимися движениями, красными веками и растрескавшимися губами. Походка их безобразна, словно они больны водянкой или растяжением жил. Они движутся, как горы усталого тряпья, заматывая пыль подолами.

Мухи едят ребят, гроздьями забираются в уголок глаза.

Улыбка пожилой армянской крестьянки неизъяснимо хороша – столько в ней благородства, измученного достоинства и какой-то важной замужней прелести.

Кони идут по диванам, ступают на подушки, протаптывают валики. Едешь и чувствуешь у себя в кармане пригласительный билет к Тамерлану.

Видел могилу курда-великана сказочных размеров и принял ее как должное.

Передняя лошадка чеканила копытами рубли, и щедрости ее не было пределов.

На луке седла моего болталась неошипанная курица, зарезанная утром в Бюракане.

Изредка конь нагибался к траве, и шея его выражала покорность упрямянам, народу, который старше римлян.

Наступало молочное успокоение. Свертывалась сыворотка тишины. Творожные колокольчики и клюквенные бубенцы различного калибра бормотали и брякали. Около каждого колодворья шел каракулевый митинг. Казалось, брякали. Казалось, десятки мелких цирковладельцев разбили свои палатки и балаганы на вшивой высоте и, не подготовленные к валовому сбору, застигнутые врасплох, копошились в кошах, звенели посудой для удоя и запихивали в лежбище ягнят, спеша заключить на всю ночь и свое володарство – распределяя по лайгороду намыкавшиеся, дымящиеся, отсыревшие головы скота.

Армянские и курдские коши по убранству ничем не отличаются. Это оседлые урочища скотоводов на террасах Алагеза, дачные стойбища, разбитые на облюбованных местах.

Каменные бордюры обозначают планировку шатра и примыкающего к нему дворика с оградой, вылепленной из навоза. Покинутые или незанятые коши лежат, как пожарища.

Проводники, взятые из Бюракана, обрадовались ночевке в Какарле: там у них были родичи.

Бездетные старик со старухой приняли нас на ночь в лоно своего шатра.

Старуха двигалась и работала с плачущими, удаляющимися и благословляющими движениями, приготавливая дымный ужин и постельные войлочные коши.

– На, возьми войлок! На, возьми одеяло... Да расскажи что-нибудь о Москве.

Хозяева готовились ко сну. Плошка осветила высокую, как бы железнодорожную палатку. Жена вынула чистую бязевую солдатскую рубашу и обрядила ею мужа.

Я стеснялся как во дворце.

1. Тело Аршака неумыто, и борода его одичала.
2. Ногти царя сломаны, и по лицу его ползает мокрица.
3. Уши его поглупели от тишины, а когда-то они слушали греческую музыку.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru

4. Язык опаршивел от пищи тюремщиков, а было время – он прижимал виноград к небу и был ловок, как кончик языка флейтиста.

5. Семя Аршака зачало в мошонке, и голос его жидок, как бляение овцы...

6. Царь Шапук – как думает Аршак – взял верх надо мной, и – хуже всего – он взял мой воздух себе.

7. Ассириец держит мое сердце.

8. Он – начальник волос моих и ногтей моих. Он отпускает мне бороду и глотает слюну мою, – до того привык он к мысли, что я нахожусь здесь – в крепости Ануш.

9. Народ кушанов возмутился против Шапуха.

10. Они прорвали границу в незащищенном месте, как шелковый шнур.

11. Наступление кушанов колело и беспокоило царя Шапуха, как ресница, попавшая в глаз.

12. Обе стороны сражались, зажмурившись, чтобы не видеть друг друга.

13. Некий Драстамат, самый образованный и любезный из евнухов, был в середине войска Шапуха, ободрял командующего конницей, подольстился к владыке, вывел его, как шахматную фигуру, из опасности и все время держался на виду.

14. Он был губернатором провинции Андах в те дни, когда Аршак бархатным голосом отдавал приказания.

15. Вчера был царь, а сегодня провалился в щель, скрючился в утробе, как младенец, согревается вшами и наслаждается чесоткой.

16. Когда дошло до награждения, Драстамат вложил в острые уши ассирийца просьбу, щекочущую, как перо.

17. Дай мне пропуск в крепость Ануш. Я хочу, чтобы Аршак провел один добавочный день, полный слышания, вкуса и обоняния, как бывало раньше, когда он развлекался охотой и заботился о древонасаждении.

Легок сон на кочевьях. Тело, измученное пространством, теплеет, выпрямляется, припоминает длину пути. Хребтовые тропы бегут мурашками по позвоночнику. Бархатные луга отягощают и щекочут веки. Прележни оврагов вхрамываются в бока.

Сон мурует тебя, замуровывает... Последняя мысль: нужно объехать какую-то гряду...

1931–1932

Армения. Стихи

1

Ты розу Гафиза колышешь
И нянчишь зверушек-детей,
Плечьями осьмигранными дышишь
Мужицких бычачьих церквей.
Окрашена охрою хриплой,
Ты вся далеко за горой,
А здесь лишь картинка налипла
Из чайного блюдца с водой.
С полдюжины карандашей.

2

Ты красок себе пожелала –
И выхватил лапой своей
Рисующий лев из пенала
Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнейлюбивых владык.
И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.
Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы – кузнечные клещи
И каждое слово – скоба...

3

Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло,
Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хрипая охра.
И почему-то мне начало утро армянское снится;
Думал – возьму посмотрю, как живет в Эривани синица,
Как нагибается булочник, с хлебом играющий в жмурки,
Из очага вынимает лавашные влажные шкурки...
Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?
Ах, Эривань, Эривань! Не город – орешек каленый,
Улиц твоих большепотых кривые люблю вавилоны.
Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил,
Время свое заморозил и крови горячей не пролил.
Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо,
Я не хочу твоего замороженного винограда!

4

Закутав рот, как влажную розу,
Держа в руках осьмигранные соты,
Все утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слезы.
И отвернулась со стыдом и скорбью
От городов бородатых востока;
И вот лежишь на москательном ложе
И с тебя снимают посмертную маску.

5

Руку платком обмотай и в венценосный шиповник,
В самую гущу его целлулоидных терний
Смело, до хруста, ее погрузи. Добудем розу без ножниц.
Но смотри, чтобы он не осыпался сразу –
Розовый мусор – муслин – лепесток соломоновый –
И для шербета негодный дичок, не дающий ни масла, ни запаха.

6

Орущих камней государство –
Армения, Армения!
Хриплые горы к оружию зовущая –
Армения, Армения!
К трубам серебряным Азии вечно летящая –
Армения, Армения!
Солнца персидские деньги щедро раздаривающая –
Армения, Армения!

7

Не развалины – нет, – но порубка могучего
циркульного леса,
Якорные пни поваленных дубов звериного и басенного
христианства,
Рулоны каменного сукна на капителях, как товар
из языческой разграбленной лавки,
Виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих рогов
и нахохленные орлы с совиными крыльями,
еще не оскверненные Византией.

8

Холодно розе в снегу:
На Севане снег в три аршина..
Вытащил горный рыбак расписные лазурные сани,
Сытых форелей усатые морды
Несут полицейскую службу
На известковом дне.
А в Эривани и в Эчмиадзине
Весь воздух выпила огромная гора,
Ее бы приманить какой-то окариной
Иль дудкой приручить, чтоб таял снег во рту.
Снега, снега, снега на рисовой бумаге,
Гора плывет к губам.
Мне холодно. Я рад..
9

О порфирные цокая граниты,
Спотыкается крестьянская лошадка,
Забираясь на лысый цоколь
Государственного звонкого камня.
А за нею с узелками сыра,
Еле дух переводя, бегут курдины,
Примирившие дьявола и бога,
Каждому воздавши половину..
10

Какая роскошь в нищенском селенье –
Волосная музыка воды!
Что это? пряжа? звук? предупреждение?
Чур-чур меня! Далеко ль до беды!
И в лабиринте влажного распева
Такая душная стрекочет мгла,
Как будто в гости водяная дева
К часовщику подземному пришла.
11

Я тебя никогда не увижу,
Близорукое армянское небо,
И уже не взгляну прищурясь
На дорожный шатер Арарата,
И уже никогда не раскрою
В библиотеке авторов гончарных
Прекрасной земли пустотелую книгу,
По которой учились первые люди.
12

Лазурь да глина, глина да лазурь,
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым,
Над книгой звонких глин, над книжною землей,
Над гнойной книгой, над глиной дорогой,
Которой мучимся, как музыкой и словом.
16 октября – 5 ноября 1930 г.
* * *

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.
Твое пограничное ухо –
Все звуки ему хороши –
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши.
Октябрь 1930 г
* * *

Не говори никому,
Все, что ты видел, забудь –
Птицу, старуху, тюрьму
Или еще что-нибудь.

Или охватит тебя,
Только уста разомкнешь,
При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь:
Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал
Или чернику в лесу,
Что никогда не сбирал..

Октябрь 1930 г

* * *

Колючая речь Араратской долины,
Дикая кошка – армянская речь,
Хищный язык городов глинобитных,
Речь голодающих кирпичей.
А близорукое шахское небо –
Слепорожденная бирюза –
Все не прочтет пустотелую книгу
Черной кровью запекшихся глин.

Октябрь 1930 г

* * *

На полицейской бумаге верже
Ночь наглоталась колючих ершей –
Звезды живут, канцелярские птички,
Пишут и пишут свои рапортчики.
Сколько бы им ни хотелось мигать,
Могут они заявленье подать,
И на мерцанье, писанье и тленье
Возобновляют всегда разрешенье.

Октябрь 1930 г

* * *

Дикая кошка – армянская речь –
Мучит меня и царапает ухо.
Хоть на постели горбатой прилечь:
О, лихорадка, о, злая моруха!
Падают вниз с потолка светляки,
Ползают мухи по липкой простыне,
И маршируют повзводно полки
Птиц голенастых по желтой равнине.
Страшен чиновник – лицо как тюфяк,
Нету его ни жалчей, ни нелепей,
Командированный – мать твою так! –
Без подорожной в армянские степи.
Пропадом ты пропади, говорят,
Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу, –
Старый повытчик, награбив деньжат,
Бывший гвардеец, замыв оплеуху.
Грянет ли в двери знакомое: – Ба!
Ты ли, дружище, – какая издевка!
Долго ль еще нам ходить по гроба,
Как по грибы деревенская девка?..
Были мы люди, а стали людье,
И суждено – по какому разряду? –
Нам роковое в груди колотье
Да эрзерумская кисть винограду.

Ноябрь 1930 г.

И по-звериному воеет людье,
И по-людски куролесит зверье.
Чудный чиновник без подорожной,
Командированный к тачке острожной,
Он Черномора пригубил питье
В кислой корчме на пути к Эрзеруму.

Ноябрь 1930 г

Воспоминания. Очерки

Киев

I

Самый живучий город Украины. Стоят каштаны в свечках – розово-желтых
хлопушках-султанах. Молодые дамы в контрабандных шелковых жакетах. Погромный
липовый пух в нервическом майском воздухе. Глазастые большеротые дети. Уличный

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru сапожник работает под липами жизнерадостно и ритмично... Старые «молочарни», где северные пришельцы заедали простоквашей и пышками гром петлюровских пушек, все еще на местах. Они еще помнят последнего киевского сноба, который ходил по Крещатику в панические дни в лаковых туфлях-лодочках и с клетчатым пледом, разговаривая на самом вежливом птичьем языке. И помнят Гришеньку Рабиновича, биллиардного мазчика из петербургского кафе Рейтер, которому довелось на мгновение стать начальником уголовного розыска и милиции.

В центре Киева огромные дома-ковчег, а в воротах этих гигантов, вмещающих население атлантического парохода, вывешены грозные предупреждения неплательщикам за воду, какие-то грошовые разметки и раскладки.

Слышу под ногами какое-то бормотание. Это хедер? Нет... Молитвенный дом в подвале. Сотня почтенных мужей в полосатых талесах разместились как школьники за желтыми, тесными партами. Никто не обращает на них внимания. Сюда бы художника Шагала!

Да, киевский дом это ковчег, шатаемый бурей, скрипучий, жизнелюбивый. Нигде, как в Киеве, не осязаемо величие управдома, нигде так не романтична борьба за площадь. Здесь шепчут с суеверным страхом: «Эта швея делает квартирную политику – за ней ухаживает сам Ботвинник!»

Каждая киевская квартира – романтический мирок, раздираемый ненавистью, завистью, сложной интригой. В проходных комнатах живут демобилизованные красноармейцы, без белья, без вещей и вообще без ничего. Терроризованные жильцы варят им на примусах и покупают носовые платки.

Киевский дом – ковчег паники и злословия. Выходит погулять под каштанами Драч – крошечный человек с крысиной головой.

– Знаете, кто он? Он подпольный адвокат. Его специальность – третейские суды. К нему приезжают даже из Винницы.

В самом деле, за стеной у Драча идет непрерывный суд. Сложные вопросы аренды, распри мелких компаньонов, всяческий дележ, ликвидация довоенных долгов – велика и обильна юрисдикция Драча. К нему приезжают из местечек. Он присудил бывшего подрядчика, задолжавшего кому-то сто царских тысяч, выплачивать по тридцать рублей в месяц, – и тот платит.

Клуб откомхоза и пищевок. На афише «Мандат». Потом бал. Ночью улица наполняется неистовым ревом. С непривычки страшно.

На Крещатике и на улице Марата отпечаток какого-то варшавского, кондитерского глянца. Отель «Континенталь» – когда-то цитадель ответственных работников – восстановил все свои инкрустации. Из каждого окна торчит по джазбандному негру. Толпа вперяет взоры на балкон второго этажа. Что случилось? Там Дуров кого-то чешет...

Киевляне гордятся: все к ним приехали! В городе сразу: настоящий джазбанд, Еврейский Камерный из Москвы, Мейерхольд и Дуров, не говоря уже о других.

Колченогий карлик Дурова выводит погулять знаменитую собаку-математика – событие! Негр идет с саксофоном – событие! Еврейские денди – актеры из Камерного – остановились на углу – опять событие!

Среди бела дня на Крещатике действует рулетка-буль. Тишина похоронного бюро. Матовые котлы стола вспыхивают электричеством. В тощем азарте мечутся два-три невзрачных клиента. Эта убогая рулетка днем была зловещей.

Всякое происшествие в Киеве вырастает в легенду. Так например, я десятки раз слышал о беспризорном, который укусил даму с ридикулем и заразил ее страшной болезнью.

Беспризорные в пышных лохмотьях, просвечивающих итальянской оливковой наготой, дежурят у кафе. Таких отобранных, лукавых и живописных беспризорных я не видел нигде.

Террасами громоздится великий днепровский город, переживший беду.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru
Дом-улица «Пассаж», обкуранный серой военного коммунизма... И славные дома-руины...
Против бывшей Думы – Губкома – Марксов памятник. Нет, это не Маркс, это что-то
другое! Может, это замечательный управдом или гениальный бухгалтер? Нет, это
Маркс.

Киев коллегии Павла Галагана, губернатора фундукля, Киев лесковских анекдотов и
чаепитий в липовом саду вкраплен здесь и там в окружающую советскую столицу. Есть
горбатые сложные проходные дворы, пустыри и просеки среди камня, и внимательный
прохожий, заглянув под вечер в любое окно, увидит скудную вечерю еврейской семьи
– булку-халу, селедку и чай на столе.

II

Трамвайчик бежит вниз к Подолу. Слободка и Туруханов Остров еще под водой.
Свайная мещанская Венеция. За все великолепии верхнего города всегда
расплачивался Подол. Подол горел. Подол тонул. Подол громили. Подол выдержан в
строго плюгавом стиле. Целая улица торгует готовым платьем. Вывески – «Лувр»,
«Змичка».

На площади «Контрактов» – киевской ярмарки – деревянный кукиш каланчи, уездный
гостиный двор, луковки подворий.

Презрение к Подолу чрезвычайно распространено в буржуазном городе: «Она кричит,
как на Подоле», «У нее шляпка с Подола», «Что вы от него хотите? Он торгует на
Подоле».

Плоскими улицами Подола я вышел на Днепр к старику Розинеру – несчастному
лесопильному компаньону. Мудрый семьянин и старейшина лесного дела сидел на
теплой шершавой доске. У ног его лежали нежные как гагачий пух опилки. Он
понюхал щепотку древесной пыли и сказал:

– Эта балка больна – чахоточная... Разве так пахнет здоровое дерево?

И взглянув на меня желтыми овечьими глазами, заплакал, как плачет дерево –
смолой.

– Вы не знаете, что такое частный капитал! Частный капитал это мученик! – и
старик развел руками, изображая беспомощность и казнь частного капитала.

Мученики частного капитала чтут память знаменитого подрядчика Гинзбурга,
баснословного домовладельца, который умер нищим (киевляне любят сильные
выражения) в советской больнице. Но можно еще жить, пока есть крепкое изюмное
вино, любой день превращающее в Пасху, густые прозрачные сливянки, чей вкус само
удивление, и солоноватое вишневое варенье.

На этот раз я не застал в Киеве никаких слухов и никаких крылатых вымыслов за
исключением твердой уверенности, что в Ленинграде идет снег.

Одно в Киеве очень страшно: это страх людей перед увольнением, перед
безработицей.

– У меня в жизни была цель. Много ли человеку нужно? Маленькую службочку!

Потерять работу можно по увольнению (режим экономии) и украинизации (незнание
государственного языка), но получить ее невозможно. Сокращенный или сокращенная
даже не сопротивляются, а просто обмирают как жук, перевернутый на спину, или
шпаренная муха. Заболевших раком не убивают, но их сторонятся.

Вместо серной кислоты обиженные киевские жены мстят мужьям, добиваясь их
увольнения. Я слышал такие рассказы в зловещно-романтическом киевском стиле.
Прислушайтесь к говору киевской толпы: какие неожиданные, какие странные
обороты! Южно-русское наречие цветет – нельзя отказать ему в выразительности.

– Не ездь коляску в тени, ездь ее по солнцу!

А сколько милых выражений, произносимых нараспев, как формулы жизнелюбия: «Она
цветет как роза», «Он здоров как бык» – и на все лады спрягаемый глагол
«поправляться».

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru
Да, велико жизнелюбие киевлян. У входа в пышные приднепровские сады стоят палатки с медицинскими весами, тут же «докторский электрический автомат», помогающий от всех болезней. Очередь на весы, очередь к автомату.

На Прорезной я видел богомолка. Сотня босых баб шла гуськом, а впереди – монашек-чичероне. Бабы шли, не озираясь, слепые ко всему окружению, не любопытные и враждебные, как по турецкому городу.

Странное и горькое впечатление от нынешнего Киева. Необычайно по-прежнему жизнелюбие маленьких людей и глубока их беспомощность. У города большая и живучая душа. Глубоким тройным дыханием дышит украино-еврейский-русский город.

Немного напоминает о годах эпической борьбы. Еще торчит на Крещатике остов семиэтажной громады, зияющей сквозными пролетами как Колизей, а напротив другая громада с банковскими вывесками.

Днепр входит в берега. Пространство врывается в город отовсюду, и широкая просека Бибиковского бульвара по-прежнему открыта – на этот раз не вражеским полчищам, а теплым майским ветрам.

Холодное лето
Четверка коней Большого театра... Толстые дорические колонны... Площадь оперы – асфальтовое озеро, с соломенными всплывками трамваев, – уже в три часа утра разбуженное цоканьем скромных городских коней...

Узнаю тебя, площадь Большой Оперы, – ты пуповина городов Европы, – и в Москве – не лучше и не хуже своих сестер.

Когда из пыльного урочища «Метрополя» – мировой гостиницы, где под стеклянным шатром я блуждал в коридорах улиц внутреннего города, изредка останавливаясь перед зеркальной засадой или отдыхая на спокойной лужайке с плетеной бамбуковой мебелью, – я выхожу на площадь, еще слепой, глотая солнечный свет, мне ударяет в глаза величавая явь Революции и большая ария для сильного голоса покрывает гудки автомобильных сирен.

Маленькие продавщицы духов стоят на Петровке, против Мюр-Мерилиза, – прижавшись к стенке, целым выводком, лоток к лотку. Этот маленький отряд продавщиц – только стайка. Воробынная, курносая армия московских девушек: милых трудящихся машинисток, цветочниц, голоножек – живущих крохами и расцветающих летом...

В ливень они снимают башмачки и бегут через желтые ручьи, по красноватой глине размытых бульваров, прижимая к груди драгоценные туфельки-лодочки – без них пропасть: холодное лето. Словно мешок со льдом, который никак не может растаять, спрятан в густой зелени Нескучного и оттуда ползет холодок по всей лапчатой Москве...

Вспоминаю ямб Барбье: «Когда тяжелый зной прожег большие камни». В дни, когда рождалась свобода – «эта грубая девка, бастильская касатка», – Париж бесновался от жары – но жить нам в Москве, сероглазой и курносой, с воробыным холодком в июле...

А я люблю выбежать утром на омытую светлую улицу, через сад, где за ночь намело сугробы летнего снега, перины пуховых одуванчиков, – прямо в киоск, за «Правдой».

Люблю, постукивая пустым жестяным бидоном, как мальчишка, путешествовать за керосином – не в лавку, а в трущобу. О ней стоит рассказать: подворотня, потом налево, грубая, почти монастырская лестница, две открытых каменных террасы; гулкие шаги, потолок давит, плиты разворочены; двери забиты войлоком; протянуты снасти бечевки; лукавые заморенные дети в длинных платьях бросаются под ноги – настоящий итальянский двор. А в одно из окошек из-за кучи барахла всегда глядит гречанка красоты неопишуемой, из тех лиц, для которых Гоголь не щадил трескучих и великолепных сравнений.

Тот не любит города, кто не ценит его рублища, его скромных и жалких адресов, кто не задышался на черных лестницах, путаясь в жестянках, под мяуканье кошек, кто не заглядывался в каторжном дворе Вхутемаса на занозу в лазури, на живую, животную прелесть аэроплана...

Тот не любит города, кто не знает его мелких привычек: например, когда пролетка взбирается на горб Камергерского, обязательно, покуда лошадь идет шагом, за вами следуют нищие продавцы цветов...

На большой трамвайной передышке, что на Арбате, – нищие бросаются на неподвижный вагон и собирают свою дань, – но если вагон идет пустой – они не двигаются с места, а, как звери, греются на солнце под навесом трамвайных уборных, и я видел, как слепцы играли со своими поводьями.

А продавцы цветов, отойдя в сторонку, поплевают на свои розы.

Вечером начинается игрище и гульбище на густом, зеленом Тверском бульваре – от Пушкина до тимирязевского пустыря. Но до чего <много> неожиданностей таят эти зеленые ворота Москвы!

Мимо вечных, несменяемых бутылок на лотерейных столиках, мимо трех слепеньких, в унисон поющих «Талисман», к темной куче народа, сгрудившейся под деревом...

На дереве сидит человек, одной рукой поднимает на длинном шесте соломенную кошелку, а другой отчаянно трясет ствол. Что-то вьется вокруг макушки. Да это пчелы! Откуда-то слетел целый улей с маткой и сел на дерево. Упрямый улей коричневой губкой висит на ветке, а странный пасечник с Тверского бульвара все трясет и трясет свое дерево и подставляет пчелам кошелку.

Хорошо в грозу в трамвае «А» промчаться зеленым поясом Москвы, догоняя грозовую тучу. Город раздается у Спасителя ступенчатыми меловыми террасами, меловые горы врываются в город вместе с речными пространствами. Здесь сердце города раздувает мехи. И дальше Москва пишет мелом. Все чаще и чаще выпадает белая кость домов. На свинцовых досках грозы сначала белые скворешники Кремля и, наконец, безумный каменный пасьянс Воспитательного дома, это опьянение штукатуркой и окнами; правильное, как пчелиные соты, накопление размеров, лишенных величия.

Это в Москве смертная скука прикидывалась то просвещеньем, то оспопрививаньем, – и как начнет строиться, уже не может остановиться и всходит опорой этажей.

Но не ищу следов старины в потрясенном и горячем городе: разве свадьба проедет на четырех извозчиках – жених мрачным именинником, невеста – белым куколом, разве на середину пивной, где к трехгорному подают на блюдечке моченый горох с соленой корочкой, выйдет запевала, как дюжий диакон, – и запоет вместе с хором черт знает какую обедню.

Сейчас лето – и дорогие шубы в ломбарде – рыжий, как пожар, елот и свежая, словно только что выкупанная, куница рядом лежат на столах, как большие рыбы, убитые острогой...

Люблю банки – эти зверинцы менял, где бухгалтеры сидят за решеткой, как опасные звери...

Меня радует крепкая обувь горожан и то, что у мужчин серые английские рубашки и грудь красноармейца просвечивает, как рентгеном, малиновыми ребрами.

1923

Сухаревка

Сухаревка начинается не сразу. Подступы к ней широки и плавны и постепенно втягивают в буйный торг, в свою свирепую воронку. Шершавее мостовая, буграми и ухабами вскипает улица. Видно, невтерпеж румяной бабище-торговле – еще не привела к себе, а уже раскидала свои манатки прямо на крупной мостовой: книжки веерами, игрушки, деревянные ложки – что полегче и в руках не горит: пустяки, равнодушный товар.

На отлете базара сидят на кочках цирюльники, бреют двужильных страсготерпцев. Табуретки что каленые уголья, – а не вскочишь, не убежишь!

Под самой Сухаревой башней, под башней-барыней, из нежного и розового кирпича, под башней-индюшкой, дородной, как сорокапятiletняя императрица, привязанная к чахлому деревцу холмогорская корова. Когда строили башню, кончался «огородный»

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru
XVII век. Построил ее Петр с перепугу, после дурного сна, вывел на огородной земле диковинную гражданскую постройку, не цейхгауз, не каланчу, а нечто сухопутное до мозга костей, где обучали морскому делу.

Сухаревка – земля огородная. Ничего, что ее затянуло камнем, под ним чувствуется скупой и злой московский суглинок, и торговля бьет из-под земли, как порождение самой почвы.

Дикое зрелище базар посередине города: здесь могут разорвать человека за украденный пирог и будут швыряться им, как резиновой куклой, – до кровавой пены; здесь люди – тесто, а дрожжи – вещи, и хочешь не хочешь, а будут тебя месить чьи-то заgreбистые руки.

Как широкая баба, навалится на тебя Сухаревка – недаром славится Москва «своих базаров бабьей шириной»; плещется злой, мелководный торг в зелено-желтых трактирных берегах; слева же подковой разбежался пустой шереметевский двор, здание легкое, крылатое, как белая девическая ступня.

Базар, как поле, засеянное вразбивку то рожью, то овсом, то гречью, – размежеван, разлинован, изрезан тропинками, и, закрыв глаза, по запахам, по испарениям можно сказать, какие грядки ты проходишь.

То запах свежей убоины мускусом и здоровьем ударяет в голову – запах животных трупов, – не страшный, потому что мы не хотим понимать его значение; то квадратный запах дубленой кожи, запах ярма и труда, – и тот же, но смягченный и плутоватый запах сапожного товара; то метелочками петрушки и сельдерея щекочущий невинный запах зеленных рядов, сытый и круглый запах рядов молочных.

Я видел тифлисский майдан и черные базары Баку, разгоряченные, лукавые, но в подвижной и страстной выразительности всегда человеческие лица грузинских, армянских и турецких купцов, – но нигде никогда не видел ничего похожего на ничтожество и однообразие лиц Сухаревских торговцев. Это какая-то помесь хорька и человека, подлинно «убогая» славянина. Слово эти хитрые глазки, эти маленькие уши, эти волчьи лбы, этот кустарный румянец на щеку выдавались им всем поровну в свертках оберточной бумаги.

Муж от долгого сожительства становится похожим на жену. Если присмотреться – и купец похож на свой товар: всех спокойней и благообразней лабазники: все текуче – один хлеб остается.

Лица мясников говорят о сметке первобытного хирурга. Они сложнее, подвижнее, добродушнее: мускульная игра, неизбежно сопровождающая их работу свежевания туш, и рубка плеча, на глазомер, – наложили на них свой отпечаток.

Женщины-мануфактурщицы, торгующие булавочной мелочью, заострили лица и поджали тонкие губы.

Тут же шныряют какие-то кавказские чертенята, с блаженным смехом ковыряющие ваксу.

Медленно раскачивается Сухаревка, входит в раж, пьянеет от выкриков, от хлыстовского ритуала купли-продажи. Уже кидает человека из стороны в сторону – только выбрался он из ручного торга, преследуемый сомнительными двуногими лавками, как понесло его одним из порожистых, говорливых ручейков и прибило к тупику, – оглушенный граммофонами, он уже шагает через горячие примусы, через рассыпанный на земле скобяной товар, через книги.

Книги. Какие книги, какие заглавия: «Глаза карие, хорошие...», «Талмуд и евреи», неудачные сборники стихов, чей детский плач раздался пятнадцать лет тому назад...

Тут же – уголок, напоминающий пожарище, – мебель, как бы выброшенная из горящего жилья на мостовую, дубовые, с шахматным отливом столы, ореховые буфеты, похожие на женщин в чепцах и наколках, ядовито-зеленые турецкие диваны, оттоманки, рассчитанные на верблюда, мещанские стулья с прямыми чахоточными спинками.

Удивленный человек метнулся обратно – чуть не наступил на белую пену кружевных оборков, взбитых, как сливки, и, сам не зная как, очутился среди улья гармонистов, словно подыгрывающих к чьей-то свадьбе вежливым извиняющимся

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
движением, разворачивающим воркующие лады...

Есть что-то дикое в зрелище базара. Базар всегда пахнет пожаром, несчастьем, великим бедствием.

Недаром базары загоняют и отгораживают, как чумное место... Если дать базару волю, он перекинется в город и город обрстет шерстью.

Но русские базары, как Сухаревка, особенно жестоки и печальны в своем свирепом многолюдстве.

Русского человека тянет на базар не только купить и продать, – а еще вывалиться в народе, дать работу локтям, подставить спину под веник ласковой брани, божбы и матерщины; он любит торговые петушины бои и крепкое слово, пущенное вдогонку. В городе говорят лениво. Здесь – речь, говорок – средство острой защиты и нападения, – ручной хореk, шныряющий под лавками; базарная речь, как хищный зверек, сверкает маленькими белыми зубками.

Такие базары, как Сухаревка, – возможны лишь на материке – на самой сухой земле, как Пекин или Москва; только на сухой срединной земле, к которой привыкли, которую топчут, как мат, которую не с чем сравнить, – возможен этот расплывшийся торг, кроющий матом эту самую землю.

Несколько пронзительных свистков – и все прячется, упаковывается, увлакивается – и площадь пустеет с той истерической поспешностью, с какой пустели бревенчатые мосты, когда по ним проходила колючая метла страха.

1923

Письма разных лет
К Федору Сологубу. 27 апреля 1915
Многоуважаемый Федор Кузьмич!

С крайним изумлением прочел я ваше письмо. В нем вы говорите о своем намерении держаться подальше от футуристов, акмеистов и к ним примыкающих. Не смея судить о ваших отношениях к футуристам и «примыкающим», как акмеист я считаю долгом напомнить вам следующее: инициатива вашего отчуждения от акмеистов всецело принадлежала последним. К участию в «Цехе поэтов» (независимо от вашего желания) привлечены вы не были, равно как и к сотрудничеству в журнале «Гиперборей» и к изданию ваших книг в издательствах: «Цех поэтов», «Гиперборей» и «Акмэ». То же относится и к публичным выступлениям акмеистов, как таковых. Что же касается до моего к вам предложения участвовать в вечере, устроенном Тенишевским училищем в пользу одного из лазаретов, то в данном случае я действовал как бывший ученик этого училища, а не как представитель определенной литературной группы. Действительно, некоторые из акмеистов, и я в том числе, в ответ на приглашение вами и А. Н. Чеботаревской посещали ваш дом, но после вашего письма я имею все основания заключить, что это было с их стороны ошибкой.

Искренне вас уважающий Осип Мандельштам.

К С. К. Маковскому. 8 мая 1915
Многоуважаемый Сергей Константинович!

В ноябре прошлого года мною была предложена «Аполлону» статья о Чаадаеве, принятая к напечатанию. В течение полугода эта статья не была напечатана. Мне неизвестно, каковы были причины, ежемесячно мешавшие включению этой статьи в очередной номер; однако, не желая ждать, пока прекратится действие этих причин, я считаю мою статью свободной и прошу мне возвратить ее в виде оттиска, т[ак] к[ак] в настоящее время я не помню, где находится рукопись этой статьи.

С истинным уважением.

Осип Мандельштам, Б. Монетная д. 15, кв. 38.

К матери. 20 июля 1915 [Феодосия]
Дорогая мама!

Вчера получил телеграмму о приезде Шуры, которая скрестилась с моей. Жду Шуру

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
завтра. Очень одобряю его приезд. Август и сентябрь здесь отличные. Жить он
будет на даче Волошиной.

Целую папу, женю, бабушку.

Твой Ося.

К матери. 20 июля 1916.
Дорогая мамочка!

У нас все установилось благоприятно. Шура оправился, и вошел в колею мирной
жизни. Больше не скучает и смотрит совсем иначе. Третьего дня нас возили в
Феодосию с большой помпой: автомобили, ужин с губернатором; я читал, сияя
теннис-белозной, на сцене летнего театра, вернулись утром, отдохнули за
вчерашний день. Обязательно осенью сдаю свои экзамены; узнай, пожалуйста, сроки
и пришли древнюю философию Виндельбанда или Введенского. Получили вторую
комнату. Милая мама, напиши мне, как ты смотришь на мое возвращение – могу ли
быть нужным в П. Поздравляю с политехником! Молодец жена! Целую папочку!

Ося.

К Н. Я. Мандельштам. 1919–1925.
5 декабря [1919] – Феодосия.

Дитя мое милое!

Нет почти никакой надежды, что это письмо дойдет. Завтра едет в Киев через
Одессу Колачевский. Молю Бога, чтобы ты услышала, что я скажу: детка моя, я без
тебя не могу и не хочу, ты вся моя радость, ты родная моя; это для меня просто,
как Божий день. Ты мне сделалась до того родной, что все время я говорю с тобой,
зову тебя, жалуюсь тебе. Обо всем, обо всем, могу сказать только тебе. Радость
моя бедная! Ты для мамы своей «кинечка» и для меня такая же «кинечка». Я радуюсь
и Бога благодарю за то, что Он дал мне тебя. Мне с тобой ничего не будет
страшно, ничего не тяжело.

Твоя детская лапка, перепачканная углем, твой синий халатик – все мне памятно,
ничего не забыл..

Прости мне мою слабость и что я не всегда умел показать, как я тебя люблю.

Надюша! Если бы сейчас ты объявилась здесь – я бы от радости заплакал. Звереныш
мой, прости меня! Дай лобик твой поцеловать – выпуклый детский лобик! Дочка моя,
сестра моя, я улыбаюсь твоей улыбкой и голос твой слышу в тишине.

Вчера я мысленно, произвольно сказал «за тебя»: «Я должна» (вместо «должен»)
его найти, то есть ты, через меня сказала.. Мы с тобою, как дети, – не ищем
важных слов, а говорим, что придется.

Надюша, мы будем вместе, чего бы это ни стоило, я найду тебя и для тебя буду
жить, потому, что ты даешь мне жизнь, сама того не зная – голубка моя, –
«бессмертной нежностью своей»..

Наденька! Я письма получил четыре сразу; в один день, только нынче..
Телеграфировал много раз: звал.

Теперь отсюда один путь открыт: Одесса; все ближе к Киеву. Выезжаю на днях.
Адрес: Одесский Листок. Мочульскому. Из Одессы, может, проберусь: как-нибудь,
как-нибудь дотянусь..

Я уже пять недель в Феодосии. Шура все время со мной. Был Паня. Уехал в
Евпаторию. В Астории живет Катюша Гинзбург. В городе есть один экземпляр
«Крокодила»!! А также Мордкин и Фроман. (Холодно. Темно. «Фонтан». Спекулянты).
Не могу себе простить, что уехал без тебя. До свиданья, друг! Да хранит тебя
Бог! Детка моя! До свиданья!

Твой О. М.: «уродец».

Колачевский едет обратно. Умоляю его взять тебя до Одессы. Пользуйся случаем!!

К Н. Я. Мандельштам. 9 марта 1921.
Надюша, милая!

Получил вашу записочку. Буду в Киеве через несколько дней. Не унывайте, друг милый. Подумаем как устроить, чтобы вам не было плохо. До очень скорого свидания, дружок! У меня все готово к отъезду. Только никуда не уезжать и спокойно ждать моего приезда!

Ваш О. Мандельштам.

К Н. Я. Мандельштам [Между 1 и 4 октября 1925]
Наденька родная моя! Душенька милая!

Ты сейчас из Москвы уедешь, а я на почтамте тебе пишу в 6 ч. вечера. Вчера на обратном пути я заехал к Выгодскому. У него было заседание домкома, а потом мы говорили о Прибое, и я предложил Эдгара По (?). А у Лившица мне открыл рыжий мужчина, похожий на повара, и сказал: «никого нет». Вечером я даже перевел три страницы. Аня была кроткая. А сегодня мы в восемь встали, до 12 работали, и я потом пошел повсюду: в Прибой и в Гиз. В газете мне обещали написать завтра 60 р... Горлин дал какого-то «Билля» – 100 строк – 50 р., а Прибой захотел Эдгара По(?)...

Родненькая моя, я тебе пишу все это оттого, что я этим уезжаю, еду к тебе и уж вот ближе – птица моя, воробушек с перчаточками. Я целую твои перчаточки и шапчонку.

Теперь послушай: я в самом деле могу выехать во вторник и завтра это выясню. Завтра я подам заявление фину и пошлю в Лугу.

А Саша все плачет... Надюша, я очень веселый и совсем здоров. Не мечусь, а спокойно все делаю – и все, все, все время думаю о тебе, о Наде моей родной...

Надичка! Ау! Дитенька, береги себя. Жди меня... Я тебе телеграфирую день отъезда. Господь с тобой, Наденька. И колечко привезу...

Ося.

Дитя мое, мы вернулись домой – не хватило 20 копеек. Я глупо написал про Горлина: договор подписан сегодня, а кроме того «Билли» – 100 строк.

Детка, будь спокойна – у нас тепло и солнце сегодня было. Я хочу к тебе и буду у тебя...

[Надька моя, Надюшок, Нануша! Я буду писать завтра два раза.

Целую тебя, Доня пиши каждый день хоть по открытке. О. Э. в хорошем настроении. Я нервничаю без тебя. Как здоровье? Аня.]

К Н. Я. Мандельштам 5/Х – 25, 6 вечера.
Нануша моя родная!

Вот в четыре часа я пришел домой, пообедал традиционными тефтелями и затопили камин и ванну. Аня получила письмо, но от своей Женечки. А я, Надичка, завтра плачу страховые и часть Саше. Я был сегодня на Московской в страхкассе, и мне сказали, что можно все это сделать и оформить здесь. Сегодня мы внесли проценты за часы. «Красная» дает мне завтра 60 р., а Горлин в среду 21-го экстренных за стихи 50. Значит 110 из 200 уже есть. Вопрос с Прибоем почти решен. Ищу Эдгара По в переводе Бальмонта, чтобы показать им. Надичка, я смогу выехать к тебе на той неделе, не дожидаясь вторника. Ведь из Москвы есть поезд. 1002-й ночи осталось 20 страниц, но завтра Гиз дает всего 100 р., а 20-го числа – 125.

Вот, родненькая, дела. Книжечку я тебе привезу обязательно: уж что-нибудь выдумую.

Наночка, почему ты не написала из Москвы? Разве так делают Няки? Надик, завтра будет телеграмма от тебя? А Мариетта вернулась, и я хочу к ней завтра зайти.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
А как ты ехала в поезде?

Надик, у меня кружится голова, так я хочу тебя видеть. Дета моя, радуйся жизни, мы счастливы, радуйся, как я, нашей встрече. Господь с тобой, Надичка. Спи спокойно. Помни мои советы, детка: 1) к доктору, 2) лучший пансион, 3) мышьяк и компрессы.

Вчера встретил на улице Фогеля, он искал квартиру в наших краях. Он говорит, что для тебя особенно важна неподвижность. Не ходи! Не гуляй! На почту бери извозчика или посылай кого-нибудь. Дета, целую твои волосики. До встречи, родная пташка моя.

Надик, прошу тебя, не кури!

К Н. Я. Мандельштам [Начало ноября 1925]
Нежниночка моя! Я, пишу за пять минут до закрытия почты. Родная, спасибо за нежные словечки. Что с тобой там? Не давай себя в обиду. У меня все хорошо. 15-го поеду к тебе. Это почти наверно... Не могу без тебя, ласточка моя. Но будь спокойна – я живу правильно, я здоров. В делах у меня удача. Целую тебя, ненаглядная.

Храни тебя Бог, солнышко мое.

Твой Няня...

Часы целы. Выкупаю.

К Н. Я. Мандельштам [Конец января 1926]
Севастополь. Буфет.

Радость моя ненаглядная! Я не хочу писать тебе открытки, потому что я хочу сказать, что ты нежняночка – милая моя в худых туфельках – как стояла на набережной ангелом родным...

Целую, целую, целую и радуюсь, что ты со мной, что ты со мной!

я прекрасно доехал. Поездка бодрящая... Телеграммы отправлены. Билет в кармане.

Был очень сонный и замерз. Сейчас отогрелся и отдохнул.

Надичка, спокойной ночи. Спи, дружок, и проснись умницей.

Все время буду писать с дороги. Сейчас без десяти девять.

/Конец января 1926/

К Н. Я. Мандельштам [Ленинград,] 2 февраля [1926]
Родная моя нежняночка!

Здравствуй! Няня твоя с тобой говорит и целует тебя в лобик. Мне хорошо, детка. А тебе как? Не скупись на письма.

В Москве меня встретил донкихотообразный и страшно милый Шура. Потом я поехал к Пастернаку и видел их мальчишку. Он сказал: «Я еще маленький». Ему 2½ года. Он требует участвовать в общем разговоре. Твоему Жене Шура не успел передать. С Аней говорил по телефону. Она сказала: «У меня частная служба». Пояснить не пожелала. Подробности узнаю завтра. Дела так... (Да, между прочим, в Москве меня заговорил Пастернак, и я опоздал на поезд. Вещи мои уехали в 9.30, а я, послав телеграмму в Клин, напутствуемый Шурой, выехал следующим поездом в 11. Приехал, и в ГПУ мне выдали мой багаж. Вот приключение!). Вот, Надик, дела:

Ленгиз развороченный муравейник. Тенденция не то сжать, не то уничтожить. Никто ничего не знает и не понимает. Горлин разводит руками с виноватой улыбкой. Около него только ближайшие сотрудники. Публика и дамы уже перестали ходить. Рецензии еще есть, но книги посылаются на утверждение в Москву. Первая партия уже послана. Как только вернется, будет новый разговор. Лозунг такой: быть ко всему готовыми и пользоваться последними неделями для обеспечения себя работой. Мне выписали на завтра в Гизе 125 рублей в окончательный расчет. Сегодня получил 100

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru р. за «ничего» в «Звезде». Устроил это Белицкий. Ионов уезжает. Белицкий остается – пока... Получил три книги на рецензию. На субботу «включен» по горлинской заявке. В «Прибое» абсолютно спокойно. Они переписывают, я правлю. Обещают не задерживать. Нашел машинистку. Сегодня приступил к диктовке.

Деду нашел бедного, сжавшегося в комочек, с головной болью. Развеселил его.

А Женя безукоризнен. М. Н. вежлива как пустое место. Вчера мне ванну топили. Женя предлагает мне 1) столовую, 2) светлую людскую, 3) комнату поблизости. Категорически отказываюсь от комнаты. Мы сделаем так: я компенсирую 10–15 рублями Надежду, и она переедет на месяц в темную людскую. Женя подтверждает, что это самое лучшее, так как мне нужен «дом».

Погода очень мягкая – 3–4°. Переход был очень легкий.

Итак, роднуша, февраль уже оплачен сполна (Прибой + 225 Гиза). Заключу еще договор–другой, и опять мы свободны и с марта можем быть вместе. Сегодня звоню Фогелю о кварце и сообщу тебе телеграммой.

Помни, к 1-му марта я могу быть с тобой в любую минуту.

Пташенька бедная, что там с тобой? Телеграфируй подробно.

Нет, детка моя, я могу быть с тобой в любую минуту – только скажи!

Господь с тобой, родная... Твой друг, брат, муж...

К Н. Я. Мандельштам [Ленинград, февраль 1926]
Родная пташечка!

Вот мой сегодняшний день: с утра три часа гулял в Гизе. Касса была закрыта. Ждали артельщика из банка. Потом в два часа на телеграф. Потом обратно в Гиз – завтрак у Гурмэ. Сегодня Горлин сказал, что, как только Ангерт привезет утвержденный план, мы заключим договор. Потом поехал в Сеятель, показал им горлинские новые книжки: берут. Если попрошу – Горлин их отдаст.

Ну, деточка – довольно о делах. Я знаю, как это тебя волнует – потому пишу наперед. Не об этом, ласточка, с тобой говорить! Я тебя люблю, зверенок мой, так, как никогда – не могу без тебя – хочу к тебе... и буду у тебя...

Ненаглядная моя, ты за тысячи верст от меня в большой пустой комнате с градусничком своим! Жизнь моя: пойми меня, что ты моя жизнь! Как турушка твоя? Весела ли ты? Смеешься ли? Да понимаешь ты или нет, что я только февраль согласен быть без тебя и больше ни денечка!

Аню, детка, я, свинья, еще не видел. Занят. И она тоже. Только перезваниваемся. У Выгодских и Бенов был. Давид с Эммой невозмутимые испанцы. Бены жалуются на дитиньку: его зовут Кирилл (?). У него злые профессорские желтые глазки. Он не улыбается и сердится очень. Им теперь тесно. А в доме Выгодских может освободиться для нас квартира.

Пока что, деточка, я сплю в столовой. На диван кладут мне волосной наш тюфяк. Засыпаю в 1 час и до десяти глубокая тишина. Тепло и хорошо.

Сейчас был у Пуниных. Там живет старушка; лежала она на диване веселая, но простуженная. Встретила меня «сплетнями»: 1) Георгий Иванов пишет в парижских газетах «страшные пашквили» про нее и про меня; во 2) «Шум Времени» вызвал «бурю» восторгов и энтузиазмов в зарубежной печати, с чем можно нас поздравить. Еще курьез: сегодня в Вечерней я прочел, что «вчера я ходил в финотдел жаловаться на налоги» И не думал я ходить! Врет газетка – но это хорошо: я эту вырезку посылаю тебе и сохраняю газетку для фининспектора!

Нежняночка: я еще не имел от тебя писем. Знаешь, где я пишу? На Николаевском вокзале в десятом часу вечера, после Пуниных...

До завтра, детуся! Господь с тобой, родная! Целую нежно, долго много... лапушки твои и волоски и глазки...

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru
Становлюсь в очередь с письмом... Пиши ежедневно, родная.

Твой Нянь.

Надя, не скрывай от меня ничего. Слышишь, родная!

К Н. Я. Мандельштам [Ленинград,] 7 февраля, 6 ч. в. [1926]
Родная моя!

Получил сегодня твое грустненькое письмо и к вечеру жду ответа на телеграмму. Детушка-зверушка, неужели тебе там плохо? Вели хорошо топить в комнате. Какие купила туфельки? Ходишь ли в город? Как твой вес? Я, родная моя, уже четвертый день не выхожу: у меня «легонький грипп» – на 37,3 – уже прошел. Да и морозы кстати полегчали. Завтра уже выйду. Деда мне даже не пробует читать философию: все-равно видит – я не о том... Женя над ухом бубнит по телефону... Модпик цветет! Татка на коленях у меня тебе написала письмо своей рукой... Сегодня, маленький мой, я дошел до листочков твоей работы, и мне весело их перебирать.

Пташенька, беляночка нежная, каждый день, засыпая, я говорю себе: спаси, Господи, мою Наденьку! Любовь хранит нас, Надя. Нам ничто не страшно. Радость моя! Нам нет расстояния. Но я безумно хочу быть с тобой.

Дней через десять я кончу свои петербургские дела и через Москву поеду к тебе. Детушка; Зверенок! Не смей тревожиться. Я стал человеком довоенной крепости. Мне все легко сейчас дается.

Тут у Жени мир и скука. М. Н. страдает припадками. Папа-дедушка все время обижается: все его обходят, обносят будто бы и т. п.... Да, он прав, милая, но у них вообще холодновато... Я, Нануша, мечтаю, как я завтра в город выйду, зайду к Горлину, увижу людей, похлопочу о новом договоре, pošлю тебе газетки и спешное письмо.

А сейчас, родненькая, папа отбирает у меня это письмо – опустить. Целую тебя, ненаглядная, ночью с тобой, ни на минуту не отхожу от тебя.

Твой Няня.

К Н. Я. Мандельштам [Февр. 1926]
Что ни день, от тебя письмо... Спасибо тебе, нежняночка. Ты жизнь моя, а еще спрашиваешь... Знаешь, детка, быстро, быстро пройдут эти недели. Нас оторвали друг от друга. Это какая-то варварская нелепость: мы не можем не быть вместе.

Уже два дня я не выхожу. Больше 20 мороза. С сильным ветром. Окна замерзли. Сажу в кожаном кабинете. Тепло. Тихо. Татка. Тихонечко работаю. Мне уже переписали всю книгу. Не кривя душой, скажу: ты умница, хорошо перевела – совсем, совсем не плохо. Очень мне помогла. С завтрашнего дня Женя нашел мне машинистку – работать у меня.

Деда – ангел. Ходит для меня в Прибой и на почту. Рецензии есть, но деньги за них не сразу выдают: они выписываются и накапливаются. Завтра приезжает Бройде – завгиза. Ждем полной ясности.

Аню все еще не видел, но каждый день с ней говорю. Оказалось, что она (пришлось тянуть ее за язык) служит гувернанткой при двух детях – девочка 9 и мальчик – 7 – в «средне-буржуазной» семье. Это она называет «частной службой». Голос у нее веселый и по телефону я слышал, как ее теребят дети. «Они зовут меня смотреть на их представление».

Надюшок, как ты распорядилась деньгами? Не давай в восьмой номер больше 30 рублей... Оставь себе 50 на расходы. На днях вышлю еще 100.

Детка моя, хоть бы карточка твоя со мной была! Я твой чесучовый шарфик обмотал и ношу вроде жабо. Наш плед – это тоже ты.

Пиши мне правду, только правду о своем здоровье. Жена Пунина не советует кварц, а лучше дождаться солнца. Сейчас говорил по телефону с Шкловским. Он здесь. Приедет ко мне завтра. «У меня, – говорит: – есть дело к вам». Я думаю, Наденька, что, кончив «Прибой», поеду в Москву, а оттуда так близко к тебе, что

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
я не устою... Что ты скажешь? Впрочем, я буду рассудительным, пока нужно, пока можно быть рассудительным.

Господь с тобой, ненаглядная моя, радость моя, – жена моя без колечка... Люблю тебя, как только можно любить, то есть дурею и ни с кем, ни о чем не могу говорить, жизнь моя...

Завтра подпишусь на Вечернюю для моей детушки газету и вышлю Трамвай.

Ты не поверишь, но мне у Жени очень славно. Татка ходит в детский сад. «Дама» с нее сошла. Она тощая и очень шальная девчонка. Читает все, даже на днях прочла «аборт». «Бабушка, что это?» и правительственный Сенат. Деда тебя целует. Анна Андреевна шлет привет. Кат. Конст. тоже.

Нанушка, не кури (и я), кушай яйца, масло, пей какао. Подтягивай старуху. Дразни ее червонцами...

К Н. Я. Мандельштам [Февр. 1926]
Родная, ненаглядная Наденька!

Вчера папа опоздал отправить спешное письмо, и я сегодня дописываю. Вчера договорил со Шкловским. Он предлагает мне съездить в Москву. Его книгоиздательство будто бы само догадалось, что меня нужно подкормить. Поеду я только кончив Прибой. Сейчас жду машинистку, которая звонила, что уже выехала с машинкой. Вчера поздно вечером говорил с Горлиным. Мы не расформированы. Работа будет продолжаться. Ангерт вернулся из Москвы. А еще, нежняночка моя, могу тебе сказать: я без тебя не могу, мне просто дышать нечем. Я считаю дни, но здоров и что называется бодр. Пташеньха, телеграфируй мне чаще. Не терпишь ли ты лишений? Не утесняют ли тебя? Целую рученьки... Твой...

К Н. Я. Мандельштам [Февр. 1926]
Родная моя голубка, слышу твой жалобный голосок! Не плачь, ребеночек мой, не плачь дочурка. Вытри глаза – слушай свою няню: приблизительно через месяц можно думать о Киеве. Я сделаю все, чтобы выволить тебя от старухи. На этой неделе я имею от Горлина 80 р... III-го Прибой дает первые сто. Весь этот месяц и даже следующий прекрасно обеспечен. Я постараюсь занять и выслать тебе своевременно, чтобы ты могла переехать, сразу рублей 200–250. Дета, у тебя правда не болит? Умоляю, не скрывай. А вес? Если я, паче чаяния, пришлю меньше денег, оставь себе на вкусности, на прикупочки: мандарины, икру, хорошее масло, печенье, ветчину. Скрась свою грустную жизнь. Ходи в город.

Фогель очень доволен моим отчетом. Кварц одобряет: «Почему нет?» – говорит; советует избегать здешней весны, особенно марта.

Родненький, знай, что я могу достать для тебя денег. Здесь Рыбаковы. Пунин попробует достать под Прибой. Я еще не просил. Не знал, что тебе там худо. Держись пока независимо. Но после сегодняшнего письма сейчас же поговорю с Пуниным и с Женей и, конечно, они помогут мне.

Вчера была Аня. Ее не узнать. Бойкая, поздоровевшая. Служит она гувернанткой у крупного трестовика. Ходит в твоём старье – в сером балахоне и тифлисской кацавейке. Через пороги прямо прыгает. Мама ей связала розовый шарф.

А я, дета, весело шагаю в папиной еврейской шубе и Шуриной ушанке. Свою кепку потерял в дороге. Привык к зиме. В трамвае читаю горлинские французские книжки.

Надик, не смей не спать. Вели ежедневно топить, как следует.

Часов в одиннадцать мне кладут наш «волосяной» на диван в столовой. Я стелю постельку. Жени никогда нет дома. Тишина. Бродит деда. Только успею сказать – спаси, Господи, Наденьку – и засну.

Сейчас, родная, я здоров как никогда: спасибо тебе, ангел мой, за жизнь, за радость, за словечки твои. Завтра шлю тебе подарочки читательные.

Горлин поручил мне писать рецензии (на утверждение) для Москвы. Что пройдет – будет мое. Первая же утвержденная книга. Кончив Даудистеля – (вчера я сдал всю нашу работу) еду в Москву, где Шкловский подготовил мне почву.

Нарисуй мне рисуночек, свое неуклюжее что-нибудь, дочка. Дочурка, я люблю тебя и этим счастлив здесь. Твой муж, нежняночка.

Н. Я. Мандельштам [Февр. 1926]
Родная моя ненаглядная дочурка!

Что с тобой? Радость моя, не волнуйся, не тревожься. Сегодня жду твоей телеграммы о здоровьи. Вечером консультирую Фогеля (вторично). Пока он находит, что тебе лучше до Киева подождать здесь. От Тарховой я тебя во всяком случае возьму. Деньги есть. Прибой еще не тронут. Все пока дал Гиз (300 рублей). Это хорошо. Прибой мне авансирует. Москва даст тоже. Новый договор будет. Я могу – и это очень серьезно – или приехать к тебе или выехать навстречу в Киев (если Фогель позволит).

Пташенька, моментально перейди на диету... Это я, а не доктор. Сейчас у меня стенографистка (конечно, Прибой). Писать буду и много, много... и сегодня второе напишу. Здоров как бык. Погода смягчилась. Целую любимую...

К Н. Я. Мандельштам 12 февр. [1926]
Родная доченька, я случайно зашел к Выгодским и пишу у них это письмо. Посмотрел на нашу горку и сижу в красном кресле-ушане. Говорил с Фогелем, доложил ему все твои жалобы. Он считает, что тошнота у тебя желудочная, что громадное значение имеет кухонное масло и жир. Во что бы то ни стало ты должна найти в Ялте хороший стол. Возьми в гиды Емельяна и отправляйся на поиски. Деньги на переезд ты будешь иметь к 15-му – я знаю, тебе нужно 190+100 – пока что, не считая 75, посланных сегодня.

В Киев ехать он разрешает хоть сейчас, но рекомендует весну в Ялте – конечно с хорошим столом – и запрещает весну на севере, у нас... Последнее слово, конечно, за местным врачом, скажем, за Цановым. Он был у тебя, детка?

Я, детуся, живу спокойно и работаю всюду: завел манеру стенографировать. В два часа делаю 20 страниц. Стенографистка приходит ко мне днем, а вечером я работаю еще часок с машинисткой на 8-й линии.

В Ленгизе мне идут навстречу. Между прочим, для контроля над редсектором здесь назначен из Москвы Вольфсон, старый дядя-одессит, с которым у нас приятельские отношения. Это важная шишка. Я затащил его к Горлину, и кое-что он мне устроил.

Сегодня я обедал у Пуниных. Там девочка Ирина – замечательно честная и добродушная. Читает Трамвай, перекладывая его на прозу. Чудовищно рисует. Рыбаковы предлагают 200 рублей. Если Прибой задержит, я возьму, а может и обойдусь. Каково! Пока я не задолжал ни одной копейки.

Родная сестричка, ты мне мало и невнятно пишешь про себя. Как проходят твои дни? «Лежачая» ты или «ходячая»? Сходишь ли в город? Пойди к парфюмерам и свесься для своей няни и телеграфируй мне – будет похоже на коммерческую телеграмму.

Надик, что значит «боли обычные»? Я хочу знать, как часто, как долго, когда... Лежишь ли с бутылочкой? Кто около тебя, родная, когда тебе нехорошо? Кругом, Надюша, только и слышишь, что о мезентериальных железах. Страшно модно. В Царском есть, говорят, хороший санаторий, где можно жить в отдельной комнате и куда меня пустят. Там лечат, между прочим, железы вливанием кальция в жилы. Я узнал это случайно. Проверю. На лето. А пока, нежняночка, тебе предоставляется полная свобода выбора: Ялта или Киев. Только хорошенько обдумай и посоветуйся с Цановым.

Если останешься в Ялте, я на март, очевидно, приеду, предварительно съездив в Москву, а в Киев приеду и подавно.

К деду звонит вчера и сегодня какой-то чудак «инженер» – зовет работать по козам. Деда бедный сменил сегодня валенки на сапоги и пошел на «совещание». А Аня и вправду стала нянькой (я привык Няня с большой буквы). Надька, знай, прелесть моя, большеротик мой, что я весь насквозь ты и о тебе! Как твой золотой волос-борода? Дай поцелую его. Люблю тебя как сумасшедший, так, что не чувствую расстояния. У меня твоей карточки нет. У тебя есть «касса» – снимись. Пташенька, самая трудная разлука прошла – мы уже идем друг к другу. Я считаю дни. Храни

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
тебя Господь, мою нежняночку.

Н. Я. Мандельштам [Февр. 1926]

Ненаглядная, родная, любимая, когда ты получишь это письмо, у тебя уже будет много денежек – «касса» – и тебя уже никто, мою славную, не будет обижать.

200 рублей для меня взял у Рыбакова Пунин. Прибой еще не тронут – на днях ты его весь получишь. У Рыбаковых я мог взять и больше. Сроком не связан. Осложнение, что ему должна....

Родная, я схожу с ума: на расстоянии все так страшно, хотя я знаю, что ты пишешь правду. Умоляю тебя – возьми постоянного врача и слушайся его. Этого требует фогель. Это просто необходимо. Пошли мне всю запись температуры и вес, когда сойдешь в город. Сколько дней ты лежишь? Как твоя тошнота? Что ты ешь? Общее или диету? Умоляю, напиши подробно, до глупости, до смешного подробно. Я иначе не могу. Когда болит? Сколько минуток? Родненькая, напиши.

Мой приезд, пташенька, не такая уж нелепость и невозможность. Большие шансы на договор в Гизе. Кажется, я смогу приехать на март с работой и остановкой в Москве. Мы опять с тобой процветаем! А на апрель детку мою в Киев. А с мая я няней в Царском Селе.

У Жени «злоба дня» его отношения с Наташей – вернее злоба дня М. Н. и деда. Их объединяет суровый протест. М. Н. – умная и добрая женщина (Женька на нее все валит). – Пусть, – говорит, – женится, как мне ни тяжело! Она по ночам отводит душу со мной, и мне приятно слушать ее меткую, очень образную речь. У Жени растерянный и виноватый вид, у Наташи просто глупый.

Татьяка для меня слишком взрослая. Она сказала Наташе: «Что ты смотришь на моего папу, словно он твой ребенок!»

Деточка, я опять пишу на вокзале: это вошло у меня в привычку, словно я хожу в гости к тебе. А по утрам я сижу на кухне у Надежды и жду письма... Милая, будет ли от тебя сегодня телеграмма? Эти дни я усердно стенографирую и диктую. Осталось 17 страниц. Бра-бра! Завтра конец. Потом со всей энергией на Горлина и Вольфсона, чтобы поскорее отпустили к тебе... Целую большой ротик и родные волосенки. Слышу ночью голосок...

Някушка-пташечка! Я иду к тебе... Храни тебя Господь. Будь веселенькая. Не могу и не буду без тебя. Люблю...

К Н. Я. Мандельштам [Февр. 1926]

Родная моя глупышка! Да что с тобой такое? Сегодня я утром в 10 часов телеграфирую: абсолютно здоров и т. д.... Ты в шесть, еще не получила телеграммы! Чудеса! Нанушка, что я наделал своей безалаберностью: ты мучаешься уже три-четыре дня, когда твоя няня здоровехонька и процветает между Горлиным и Грюнбергом. Детка моя, успокой свою душу милую – да нечего, нечего тревожиться. Я даже не переутомлен. Чувствую себя несравненно лучше, чем в Ялте. Мне просто совестно писать о себе. Но довольны об этом, Надик, поцелую твою головенку и слушай разные разности... Во-первых, цикл моих работ закончится дней через десять. Я останусь тогда с новым большим договором от Горлина (завтра из Москвы придут книги и: ответы) и, конечно, приеду к тебе. Скажи, родная, хорошо ли к весне в Ялте? Ты ведь рада будешь пожить там у собак и морюшка с няней? Разве Киев поздно к 1-му мая?

Вчера у деда была трагикомедия: он собрался в гости на «пурим» к еврею-часовщику и попал в «засаду». Посидел с 9 вечера до 2½ дня с множеством случайных людей. Страшно волновался бедненький, ссылался на то, что он отец «писателя Мандельштама». С ним обошлись бережно и его не обидели. Но как жалко деду: подумай, пошел раз в год в гости. Он умудрился даже позвонить (не объясняя причины), что «остается ночевать». Вот наше событие.

В Ленгизе без перемен. Я называю это «стабилизацией». Белицкий и новый зав. редсектора выписали мне все деньги по очередной работе. (Последние 200 рублей). Очень внимательно, правда? Я теперь опять стенографирую дома: это очень удобно – два часа двадцать страниц, а потом правлю, а потом весь день хоть гуляй.

Сегодня первый весенний день. Все растаяло Припекло даже, особенно в кабинете у

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mande]shtamjoseph.ru
Горлина было жарко, жарко... Мне портной за два с полтиной починил штаны, но срезал красоту – нижние завертушки... Собираюсь покупать ботинки. А тебе, Надик, не надо ли чего? Напиши своей няне, она тебе привезет. Это правда, Нанушка, я привезу часы, колечки и подарочек, какой ты скажешь. Някушка, скажи, у тебя устроилось с Тарховой? Неужели нельзя к весне найти другого места, если так плохо? Только осторожно, милый, не рискуй. Я в сущности консерватор, ты знаешь. Заказывай меню. Прикупай в городе хорошие вещи. Не жалея денег. Будут. Дружок мой, нежный, пришли температурную кривую, восстановив ее по памяти, и в каждом письме сообщай свою температуру. Хорошо, Някушка?

Родная моя, я слышу твое дыхание, как ты спишь и говоришь во сне – я всегда с тобой. Я люблю тебя нежную мою. Господь с тобой, дружок мой. Будь весела, женушка моя. Твой муж, няня, твой Окушка глупый. Ну, до свидания, нежняночка, люблю...

К Н. Я. Мандельштам 17/II [1926]

Надик, где ты? Два дня от тебя ничего нет, и я два дня не писал. Третьего дня я был сам не свой. Ждал телеграммы. Звонил домой каждую минуту и пришла хорошая телеграммушка. Я тогда встретил Шилейку на Литейном, и он проводил меня в Сеятель позвонить – нет ли телеграммы. Он был в наушниках и покупал книги XVI века. Когда мне прочла какая-то тетка по телефону твои словечки я так развеселился, что принял Шилейкино приглашение пить портер в пивной и полчаса с ним посидел: пил черный портер с ветчиной и слушал мудрые его речи... Я живучий, говорил я, а он сказал: да, на свою беду... А я сказал ему, что люблю только тебя – то есть я так не сказал, конечно – и евреев. Он понимает, что я совершенно другой человек и что со мной нельзя болтать, как прочие светские хлыщи...

Надик, где ты? Я пришел опять к тебе в гости на вокзал. Меня еще душит перевод Даудистеля: я правлю последнюю часть. Работы на два дня.

Надичка, я не могу не слышать каждый день твоего голоса. Родная, что с тобой было? Установилось ли твое здоровье? Как проходит последняя треть месяца! Я на днях пришлю тебе денег на весь март. Хочешь знать, что у меня намечается: Горлин проводит для меня одну замужнюю книгу с поддержкой Вольфсона. Маршак заключает договор на биографию Халтурина – плотника – народовольца: 1–1½ листа, 150–200 р(ублей). Эта очень легко. Я напишу в пять дней. Затем Федин включил книгу стихов в «план» – пошлю в Москву (только список названий и аннотацию) – и... вычеркнут... Рецензии идут... Через неделю все эти узлы распутаются. В деловом отношении я совершенно спокоен. Лишь бы мне удалось поскорее к тебе. Так не хочется тебя трогать в эти проклятые снеготаялки-города...

Надик, ты ходишь к собакам гулять? По моей дорожке над армянскими кипарисами!

У Татьянки сегодня жарок. Я все жалуюсь ей, что хочу к тете Наде, а она говорит: – Ну так поезжай, я тебя отпускаю.

Деда ездил в Лугу «по делу» и привез насморк. Приходила Саша: без работы, продавала булочки, и все мечтает о «союзе».

Надик! Нежненький мой! Я был у Бенов: они повели меня в кино. Они ходят по понедельникам, как в баню...

Прости мне, голубок, что два дня не писал... Пташенька, как твое личико сейчас? Ты не бледная, не грустная?

Детка! Стучат штемпелями на почте... Без десяти одиннадцать. Сдал письмо. До завтра, любимая моя, ненаглядная. Целую тебя. Слышу каждую минуту... Господь тебя храни! Люблю. Няня. Надик! Это я.

Твой Няня.

К Н. Я. Мандельштам [Февр. 1926]

Надик, доченька моя, здравствуй, младшенький! Няня с тобой говорит. Ты мне в письмах не написала температуры и пр... Так нельзя, ласковый мой. Каждый день пиши.

У Татки ветряная оспа. Она лежит в жару веселенькая: «Напишите тете Наде, что я немного простудилась. Больше ничего не придумаю». Над губой у нее уже маленькая

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
пустула. Болезнь пустяковая.

Сегодня, Надик, у меня в Гизе хороший поворот. Приехал Вольфсон. Сначала положил резолюцию на договор, минуя Москву, потом с Горлиным решили все-таки оформить в Москве. (Это займет десять дней), а пока я получаю маленькую легкую книгу – французскую – о судах и судьях – 6 листов по 35 рублей. Я весь день спокойненько сижу дома. Завтра кончаю Прибой. Вечером меня потянуло на вокзал – к тебе – с «Трамваем» и газетками. Для меня эти поездки отдых – прямое сообщение «четвертым». Деда все ходит по евреям-каплунам. М. Н. – она очень неплоха – настоящая умница – велит вставить ему челюсть. Эта бабушка прекрасно ухаживает за дедой и Таткой, все понимает, меня приняла без всякой натяжки – хорошо.

(Ужасная бумага – покупаю новый листок).

Вот. Надик на новом листе: М. Н. – умница. Женя вешает на нее всех собак. В истории с комнатой (теперь это ясно) она совершенно была не при чем. Женя сдал комнату какой-то пожилой актрисе с дочкой. Его почти никогда нет дома. Он забросил Татку. Она обижается и ревнует его.

Иногда я уйду работать в светлую людскую – потому что люблю кухню и прислугу. И потому еще, что я «немножечко» курю, а в чистых комнатах из-за астмы нельзя...

Но «немножечко», Надик! Ты не поверишь: ни следа от невроза. Пятый этаж – поднимаюсь, не замечая, мурлыкая.

Три дня уже оттепель. Черный снег. А днем два градуса тепла. Сегодня Федин спросил, сколько я хочу за книгу стихов. Сказал, 600 рублей. Посмотрим. Но это ерунда.

Прибой начнет платить, вероятно, во вторник. Знаешь, Наденька, положение наше в начале марта будет ничуть не худшим, чем в октябре.

Если тебе хорошо, не уезжай из Ялты. Мы еще с тобой погуляем. Надик родной. Целую: пора сдавать письмо. Н.. Все время помню..

К Н. Я. Мандельштам Пятница. [Февр. 1926]
Родная моя! Я сижу в маленькой людской, потому что здесь «уютненько» – и кончаю буквально последние пять страниц проклятого немца. Как меня душила и тебя, мой маленький, эта работа. Завтра я о ней забуду. Утром я еще ездил на Лиговку к машинистке. К трем часам заехал в Гиз. Зашел в комнатку к Федину и Груздеву. Они как раз заполняли бланки с предложениями книг. Я мельком прочел: «один из лучших современных поэтов»... Стараются! В числе других стараются протаскать «Рвача» Эренбурга. Надик, мне надоело это проталкивание и протаскивание! Эти няньки и спасители-охранители! Мне грустно, деточка моя.

Горит красная лампочка и Надежда поет «Кирпичики». Мне не мешает. Подошел деда и развил план насчет заимки: нужно ему написать «доклад». Татусь-ка вся в ветряных оспинках. Замучила свою бабушку, требует: «играй!» А у меня требует Трамвай – зачем я у нее отнял! – для тебя, Надик.

Сегодня от тебя не было письма. Что с тобой, Надик? Ответь своим голоском!.. Надик, я совсем не представляю себе, как ты живешь. Следит за тобой врач? Это необходимо.

Сегодня вечером, отправив это письмо, я зайду к Бену. Все ужасно боятся, чтобы я к тебе не сбежал, – неблагоприятно. Ты, родненькая, не беспокойся, я это сделаю лишь тогда, когда можно будет. Как взрослый. Первую неделю я, Надик, прохворал – очень легко – простудой. От нее сейчас нет и следа. Вот я говорю с тобой и не знаю, как тебе. Голубок младшенький, кинечка родная, ты не хочешь в Ялте? Нет? А у тебя, скажи, весна? Ты просишься в сырость, в снег... Не надо, Надик, Киев хорош в апреле. Через неделю твоя няня заключит договоры и скажет: может ли он приехать? Надик, у тебя никого там нет? Ласковый мой, ручной, о чем ты думаешь? Митя ли тебя мудрости учит? В карты тебя мучают? Родненький, в Ялте, наверное, длинные светлые дни. Надик, я хочу увидеть нашу комнату-фонарь, пустить зайчика в большевиков, полежать на постели – узенькой и твердой. Я родная, сплю теперь просто: не думаю о сне. В час засну. В семь проснусь. А ты, Надик, хорошо? Звереньш худенький... Не сдобровать тебе... Будут от меня телеграммы... Сколько тебе денег надо? У меня будет «порядочно». Прямо забросаю...

Все твои письма, родная, я ношу всегда с собой. На ночь говорю: спаси, Господь, мою Наденьку... Еще пришли мне последнее письмо твоей мамы. Я их всегда ведь читаю. Целую волосенки и лапы, и лобик, и глаза. Мне грустненько без тебя. Надик светленький, ответь мне. К тебе, к тебе... Няня.

Н. Я. Мандельштам [Февр. 1926]

Родненький мой, я, наверное, тебя растревожил. Я не писал по глупости, по бестолковости. Хотел исправить телеграммой, а вышло хуже. Деточка, поверь, мне хорошо, то есть насколько может быть хорошо без тебя, то есть, ужасно. Я живу спокойно, уютно. Все у меня ладится. Я здоров. Никто меня не раздражает, но я не могу этого больше выносить и вырвусь к тебе при первой возможности. Маленькая Наденька, кривуша родная, я все вижу твою фигурку на солнышке, зажмурившись... Ты такая смешная, чудесная, когда идешь одна... Дета моя, не нужно огорчаться, надо еще потерпеть недельку-другую – и мы будем опять вместе. Как я мог, Надичка, без тебя целый месяц? Я сам не понимаю.

Вот, что я сейчас делаю: я теперь даже к Горлину редко хожу. Два раза в день, в 10 и в 7, я медленно выползаю в темпе прогулки – днем к многосемейному в мещанской квартире машинисту на Первой Линии, а вечером – в громадной с хорошим воздухом зале у машинистки на Пятой Линии. Завтра поведу Бена знакомить в Прибой, а вечером мы пойдем в кино. И ты пойдешь, Надик, за свою няню, когда захочешь. Да? Работку, что у меня на руках, кончаю через 10 дней. Потом я свободен. Ничего спешного не возьму. Только – к тебе, к тебе... Где твоя карточка?

Родная моя, родная... Слушай, мой кроткий, свеченька, зайчика: ты мне, знаю, не веришь, а я тебе – я не болен и переутомления с последствиями тоже не было. Я живу ритмично, работаю охотно. Верь мне. Это так. Но что я с тобой сделаю... Ты за подснежниками далеко ходила? Устала?

Дома никого нет. Бабушка ушла к Радловым. Татка пришла ко мне на диван, и я стал читать ей Шары и прочее. Она же пела «Кухню». Говорила разные сентенции – «Взрослым от шалостей одни неприятности» и т. п. Деда ходит и ищет папирос, которых вообще нет. Сегодня к нему подошел посланец из Риги от «Пермана», некий провизор, друг детства, тоже Мандельштам. Папу серьезно зовут в Ригу. Виза и проезд необычайно доступны и дешевы. Мы решили обязательно его весной отправить... Весной!.. Ах, Надик мой, иностранец из-под развесистой ялтинской клюквы! 10° мороза ты принимаешь за 10° градусов тепла. У нас здесь 1 марта, зима во всю – 5–6° минус, а не плюс. Зима всюду, детка моя... До весны еще месяц.

Дружочек, скажи мне, отчего ты не сообщаем своей температуры в каждом письме? Надик, почему ты не делаешь так?

Надичка, когда я скажу твое имячко, мне весело. Ты моя. Я тебя люблю как в первый, первее первого, день. Мне легко дышать, думая о тебе. Я знаю, что это ты научила меня дышать. Как я побегу к тебе в горку. Ведь я могу теперь и в гору бегать.

Во вторник я выясню вопрос с антитероидином. Я тебе завтра вышлю перевод 1002-й ночи. Здорово сделано. Приятно перечесть. Это мы с Анькой сделали. Подошел деда. Тебе деда. Тебе кланяется.

Надюша, скажи, пожалуйста, снимать домик в Царском или нет? Бен говорит, что это нужно сделать в марте. Я согласен на Царское к 15–20 мая. Не раньше. Ты получаешь мои газетки? Правда я их смешно заклеиваю?

Надик, голубка, любовь моя, до свиданья. Я на ночь целую тебя в лобик и говорю: храни Господь Наденьку... Люби меня, Надик, я твой...

К Н. Я. Мандельштам [Февр. 1926]

Наденька, радость моя, сейчас послал тебе телеграмму, очень бестолковую, но ты ведь все понимаешь. Не уезжай, голубка, из Ялты. Может я к тебе приеду. Ты не знаешь – забыла – как холодно на свете и как сыро. У тебя здесь уголочек оранжерейный. Во всей России и на Украине то мороз, то грязь, то оттепель... От такого перехода, Надик, никому не поздоровится... Даже я первое время прохворал. Давай дождемся ну хоть апрельского тепла, чтобы каблучками по сухим тротуарам... Да, Надик? Слушай ты, беленький, ты, правда, герой? Где твоя тура?

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru
Детка моя, я хочу тебе жаловаться и начну с того, что у Жени по утрам дают ужасный кофий, такой мерзкий, что никаким сахаром его не заглушить. И больше, пожалуй, не на что. Дед требует, чтобы я с ним «занимался», а Женя – его никогда не бывает дома. По целым дням я в «пустой» квартире с Таткой и М. Н... С ней легко себя чувствуешь – славная бабушка. Все мои выходы, родная, к машинисту – теперь у меня «дяденька» – и к Горлину. Прибоем очень понравился наш переводик. Они за мной ухаживают, идиотушки... Просят работать.

Надик, мы как птицы кричим друг другу – не могу, не могу без тебя!.. Вся моя жизнь без тебя остывает – я чужой и ненужный сам себе. Я твою телеграмму положил под щеку третьего дня и так вечером, устав, засыпал... Таткина «оспа» проходит. У меня была лет двадцать назад – не заражусь. Вместо тебя, родная, я жалуюсь Татке. Она делает серьезное личико и говорит: «Дядя Ося, ну поезжай к тете Наде, я тебе тут никак не могу помочь».

Хочешь, малыш, о делах? Я заключил договор с Горлиным на 4½ листа – 210 р... Страшно легко... Прибой выписывает 200, остальные в марте. Рецензии дают 30 р. в неделю. Книга стихов зарезана. Детский договор отвергнут. Не люблю Маршака! Большая книга будет в Гизе в начале марта. Как видишь, неплохо. Да, еще забыл: взял курьезную редактуру в Прибое по 15 р. – 6 листов.

Надик, голубка моя, возьми меня к себе. Я здесь заблудился без тебя. Уже я не в папиной шубе хожу. Морозит. Сухо. Даже весело на улице. Дета моя, как я погляжу на наши магазины – Елисеевы – так мне грустно, грустненько. На Невском ревут радики на всю улицу. Женя сегодня едет в Москву. Его выживают московские пройдохи. Он полночи вчера со мной советовался, бедный. Боится потерять положение, страшно волнуется.

Надя, кинечка мамина, Аня звонила. Здорова.

Что ты думаешь, маленький, приехать мне к тебе с большой работухой? Ты на солнце лежишь на плетенке, Надик? Родной мой, ты, как ты меня провожала в зачиненных туфельках? Надик, встретить меня, пташенька на днях. Жди меня! Жду, не дождусь...

Спаси, Боже, Наденьку. Господь с тобой...

К н. я. Мандельштам [Март 1926]

Спасибо, Наденька за письмецо. Добрый мой, ласковый, никто так не напишет. Много листочков. За картинку спасибо: это ты. Я улыбался тебе, родной, я и смеялся, читая.

Сегодня событие: Прибой дал 200. Я сейчас же перевел тебе. По всем аптекам и складам искал антиферодин. Нигде нет. Партия разошлась. Советуют звонить по телефону во все районные аптеки – там скорее останется... Вечером этим займусь.

1-го марта получил 200 за новую книгу в Гизе. Затем еще 170 в Прибое. Сеятель сегодня дал ответ: очень хотят горлинскую книгу, но колеблются, просят вернуться, если Гиз не возьмет (это большая книга). Я, родная моя, решил три дня отдохнуть, если Гиз не возьмет (это большая книга). Я, родная моя, решил три дня отдохнуть. Посидеть с Таткой, хоть в кино сходить с Бенами или просто гулять по улицам. 10°... Хожу в дедовой шубе, а его арестовал дома. Он обижается, но ему лучше у печки, старенькому деду. Женя вчера уехал в Москву на пять дней. Вчера звонила Аня. У нее совсем здоровый, уверенный, не тягучий, твердый голос. Одного дитеньку ее увезли в Москву, то есть воспитанника... Надька, ты чувствуешь, что я найду твой мудреный «тироидин»?

Сегодня я пил кофе с Горлиным в «Гурме». Правда, это был предел мечтаний в Ялте? Смотри, не сбеги с деньгами в Киев: тогда я от тебя откажусь! Сиди смирно, Надик маленький!

Мы с Беном решили написать сценарий по «делу Джорыгова». Прочти в Вечорке. Это фантастика, но Ек. Конст. просит. Я ей отдал твое письмецо.

Надюшок, 1-го мая мы будем опять вместе в Киеве и пойдем на ту днепровскую гору тогдашнюю. Я так рад этому, так рад... В начале марта выяснится, могу ли я приехать (думаю, смогу). Не забывай еще Москву по пути. Это будет только весело. Что пишет мама? Дай мне ее письмецо...

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Ты поздно встаешь, если письма тебя не будят? Где ты снималась – в саду или у настоящего? Для Панова вышло тебе завтра второй Трамвай, а кстати куплю Шары для Иринки Пуниной – Анна Андреевна с Пуниным сегодня на Невском искали эту книжонку.

Рыбаковым отдам 100 р. 1-го марта. Остальное условлено в конце месяца. Не тревожься, милый. Твой няня умный.

Надик, говорят, что в Ялте Клычков. Хоть это не Бог весь кто, отыщи его, тебе приятно будет. Не стало ли много хуже у Тарховой? Тогда брось, но осторожно...

К Н. Я. Мандельштам 5 марта [1926]

Надичка, жизнь моя, спасибо тебе за карточку. Детка моя: какое милое личико, болезненно грустное, растерянное. Что ты, Надик, думал? Что с тобой, кроткая моя друженька? Я никому не покажу твоей карточки. Никто не знает, что она у меня. Когда я увидел твое грустное личико, я бросился к дверям – сейчас же к тебе... Я знаю, что ты улыбнулась бы мне, но карточка не может. Спасибо, Надик нежненький, целую лобик твой высокий. Какая ты прелестная, родная. Нет такого другого личика. «Встреча?» Ты – моя встреча, вся жизнь моя. Я жду встречи с тобой, я живу тобой. Пойми меня, ангел мой грустный. Смешно сказать, но меня отделяют от тебя 1½ листа перевода для «Прибоя». Затем я в Москве и у тебя. Я таскаюсь по городу, сжимая твои письмеца в портфеле. Не бойся: не выпущу из рук, не потеряю, не отойду от них. Радость нежняночка, я люблю тебя. Чтобы так любить стоит жить, Надик-Надик!

Ну вот, дружок мой, послушай меня: последние дни я не могу проследить твоего состояния: не знаю веса, температуры, ничего. Одни общие места. Умоляю: подробно. Можно телеграммку.

Я дурак не понял твоей телегр[аммы]. Это о трех днях без писем. Заработался я тогда, но был здоров. Просто к вечеру разомлевал.

Физически был крепок. Сердце прошло бесследно. Никаких припадков. Прекрасно хожу. Да ну его! О чем тут говорить!

Подробности дел: в Гизе ломают голову, как дать мне работу. Вольфсон (политредактор из Москвы) на будущей неделе предлагает съездить с ним в Москву, извиняясь, что едет в жестком вагоне: «Мы для вас что-нибудь придумаем». В Прибое и Сеятеле очень много шансов. Во всяком случае до 20 апр[еля] мы уже обеспечены – с моей дорогой, вдвоем.

Деда вполне здоров. Снялся. Взял «анкету». Собирается в Ригу. М. Н. мне все больше нравится. Она все понимает: просто бабушка! Надик мой! Сегодня от тебя не было письма? Ты сердиться? Нет? Родненькая, пиши мне. Скоро мы будем вместе – так пиши, моя нежная, пока я далеко. Няня твоя.

№ 30 а (Продолжение или отдельное письмо?)

Нануша, вышла книга Вагинова. Какая-то беспомощная. Я ее пришлю тебе. В печати хуже. Много смешно. А[нна] Андр[еевна] с Пуниным уехали в Москву. Я воспользуюсь и зайду к Шилейке. Надечка моя. Вот я побыл с тобой. Мне весело стало. Да, ангел мой: будем вместе, всегда вместе, и Бог нас не оставит. Целую тебя, счастье мое. Твой лобик на меня смотрит. Ты волосенки откинула так – они у тебя не держатся... Целую. Твой, родная. Твой Няня.

Надичка, как сейчас у Тарховой? Когда станет дороже? Есть ли куда переехать? Твой вес? Температура?

Надик, если морозы, – сильно, сильно топи. – Не жалея денег. Топи ежедневно. Турушку [температуру] пиши за все дни. Самое главное телеграфируй.

К Н. Я. Мандельштам (7 марта) [1926]

Родная моя, если бы ты знала в какой я тревоге! Уже сутки нет ответа на мою ответную телеграмму. Солнышко мое, я безумно за тебя боюсь и, главное, не знаю, что с тобой. В телеграмме переврали одно слово: «если» значит очевидно «боли». Опять боли? Да, Надик? Как я могу тебе посоветовать, не зная всего? Потом я писал спешные: 28-го, 1-го, 3-го, 5-го и сегодня 7-го. Неужели ты не получила. Буду писать каждый день, родная. Я все боюсь, что простое письмо пойдет долго, а

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru
к спешному опаздываю: вот и ключ к перебою писем.

Наденька, в городах сейчас эпидемия гриппа ужасная. Слякоть, вред. Куда ты рвешься? Ты и всякая другая на твоём месте заболит через три дня. Подожди хоть до апреля, если не хочешь весны в Ялте. Не будь сумасшедшенькой. Я тебе писал не жалеть денег. Это не пустые слова: у меня их достаточно. Потратить в марте хоть 400 р. Апрель все равно обеспечен. Не знаю как, но за деньги можно все устроить. Тебе виднее как. Не бросай только ялту. Если ты останешься надолго, я приеду на апрель. На днях я оборачиваю свое колесо. Беру новые заказы и еду в Москву. Оттуда к тебе. Умоляю, пиши мне подробно о здоровье. Ты знаешь, голубчик, как писать. За меня беспокоиться нелепо. Я очень поздоровел. Если бы ты знала, каким молодцом я работаю и делаю все, что нужно. Вот няня сама себя похвалила...

Надик я согласен на твой переезд в номер восьмой. Все чепуха, лишь бы мою Някушку не кормили дрянью. Может быть ты откажешься от пансиона и объединишься с Тюфлиными?

Надик родненький, может, я советую глупости, – тебе виднее – но не бросай ялту в опасное время года.

Нежняночка, слушай свою няню: покупай в городе вкусные завтраки. Плюнь на тарховские штучки. Плати ей хоть даром деньги. Здешний весенний холод безвреден, а у нас и в Киеве – отравка... Слушайся, родная, няню и Цанова. Милая моя, я весь день сегодня сумасшедший – жду телеграмму... Спаси Господи Наденьку мою...

Из стихотворений 1913–1937 гг.

Н. Гумилеву

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом залахнув шинель.
Зимуют пароходы. На припекке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, как броненосец в доке,
Россия отдыхает тяжело.
А над Невой – посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.
Тяжка обуза северного сноба –
Онегина старинная тоска;
На площади сената – вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка...
Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.
Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход –
Чудак Евгений – бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!
1913.

43

«Hier stehe ich – ich kann nicht anders»

«Здесь я стою – я не могу иначе»,
Не просветлеет темная гора –
И кряжистого Лютера незрячий
Витает дух над куполом Петра.
1913

От легкой жизни мы сошли с ума.
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?

В пожатьи рук мучительный обряд,
На улицах ночные поцелуи,
Когда речные тяжелеют струи,
И фонари как факелы горят.
Мы смерти ждем, как сказочного волка,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru

Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.
1913, ноябрь.

... Дев полуночных отвага
И безумных звезд разбег,
Да привяжется бродяга,
Вымогая на ночлег.
Кто, скажите, мне сознание
Виноградом замутит,
Если явь – Петра создание,
Медный всадник и гранит?
Слышу с крепости сигналы,
Замечаю, как тепло.
Выстрел пушечный в подвалы,
Вероятно, донесло.
И гораздо глубже бреда
Воспаленной головы
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы.
1913.

* * *

На страшной высоте блуждающий огонь!
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь, –
Твой брат, Петрополь, умирает!
На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда летает,
О, если ты звезда, – воды и неба брат, –
Твой брат, Петрополь, умирает!
Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет...
Зеленая звезда, – в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.
Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает...
О, если ты звезда, – Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает!
1918.

* * *

Когда в теплой ночи замирает
Лихорадочный форум Москвы
И театров широкие зевы
Возвращают толпу площадям, –
Протекает по улицам пыльным
Оживленье ночных похорон;
Льются мрачно-веселые толпы
Из каких-то божественных недр.
Это солнце ночное хоронит
Возбужденная играми чернь,
Возвращаясь с полночного пира
Под глухие удары копыт,
И как новый встает Геркуланум
Спящий город в сияньи луны,
И убогого рынка лачуги,
И могучий дорический ствол!
1918.

Сумерки свободы
Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы, –
О, солнце, судия, народ.
Прославим роковое время,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное время,
Ее невыносимый гнет.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru

В ком сердце есть – тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые

Связали ласточек – и вот

Не видно солнца; вся стихия

Щебечет, движется, живет;

Сквозь сети – сумерки густые –

Не видно солнца, и земля плывет.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,

Скрипучий поворот руля.

Земля плывет. Мужайтесь, мужи.

Как плугом, океан деля,

Мы будем помнить и в летейской стуже,

Что десяти небес нам стоила земля.

1918

* * *

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.

С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких железных.

В черной оспе блаженствуют кольца бульваров...

Нет на Москву и ночью угомону,

Когда покой бежит из-под копыт...

Ты скажешь – где-то там на полигоне

Два клоуна засели – Бим и Бом,

И в ход пошли гребенки, молоточки,

То слышится гармоника губная,

То детское молочное пьянино:

– До-ре-ми-фа

И соль-фа-ми-ре-до.

Бывало, я, как помоложе, выйду

В проклеенном резиновом пальто

В широкую разлапицу бульваров,

Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинном,

Где арестованный медведь гуляет –

Самой природы вечный меньшевик.

И пахло до отказа лавровишней...

Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен...

Я подтяну бутылочную гирьку

Кухонных крупно скачущих часов.

Уж до чего шероховато время,

А все-таки люблю за хвост его ловить,

Ведь в беге собственном оно не виновато

Да, кажется, чуть-чуть жуликовато...

Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!

Не хныкать–

для того ли разночинцы

Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?

Мы умрем как пехотинцы,

Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи.

Есть у нас паутинка шотландского старого пледа.

Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру.

Выпьем, дружок, за наше ячменное горе,

Выпьем до дна...

Из густо отработавших кино,

Убитые, как после хлороформа,

Выходят толпы – до чего они венозны,

И до чего им нужен кислород...

Пора вам знать, я тоже современник,

Я человек эпохи Москвошвея, –

Смотрите, как на мне топорщится пиджак,

Как я ступать и говорить умею!

Попробуйте меня от века оторвать, –

Ручаюсь вам – себе свернете шею!

Я говорю с эпохой, но разве

Душа у ней пеньковая и разве

Она у нас постыдно прижилась,

Как сморщенный зверек в тибетском храме:

Почешется и в цинковую ванну.

– Изобрази еще нам, Марь Иванна.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru

Пусть это оскорбительно – поймите:
Есть блуд труда и он у нас в крови.
Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом,
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чаёт –
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студенты-шелапуты.
Май – 4 июня 1931
* * *

Еще далеко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь,
Но в глубине ничуть не изменяюсь.
Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильма воровской.
Я как щенок кидаюсь к телефону
На каждый истерический звонок.
В нем слышно польское: «дзенкую, пане»,
Иногородний ласковый упрек
Иль неисполненное обещанье.
Все думаешь, к чему бы приохотиться
Посереде хлопушек и шутих, –
Перекипишь, а там, гляди, останется
Одна сумятица и безработица:
Пожалуйста, прикуривай у них!
То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белорукой тростью выхожу;
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех ларьков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях –
И не живу, и все таки живу.
Я к воробьям пойду и к репортерам,
Я к уличным фотографам пойду, –
И в пять минут – лопаткой из ведерка –
Я получу свое изображение
Под конусом лиловой шах-горы.
А иногда пущусь на побегушки
В распаренные душные подвалы,
Где чистые и честные китайцы
Хватают палочками шарики из теста,
Играют в узкие нарезанные карты
И водку пьют, как ласточки с Ян-дзы.
Люблю разъезды скворчащих трамваев,
И астраханскую икру асфальта,
Накрытую соломенной рогожей,
Напоминающей корзинку асти,
И страусовы перья арматуры
В начале стройки ленинских домов.
Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кашеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи,
Дивлюсь рогатым митрам Тициана
И Тинторетто пестрому дивлюсь
За тысячу крикливых попугаев.
И до чего хочу я разыгаться,
Разговориться, выговорить правду,
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду,
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Сказать ему: нам по пути с тобой.
Май – 19 сентября 1931
Отрывки уничтоженных стихов
1

В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет – читай: насильно
Был возвращен в буддийскую Москву.
А перед тем я все-таки увидел
Библейской скатертью богатый Арарат
И двести дней провел в стране субботней,
Которую Арменией зовут.
Захочешь пить – там есть вода такая
Из курдского источника Арзни,
Хорошая, колючая, сухая
И самая правдивая вода.
2

Уж я люблю московские законы,
Уж не скучаю по воде Арзни.
В Москве черемухи да телефоны,
И казнями там имениты дни.
3

Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой
На молоко с буддийской синевой,
Проводишь взглядом барабан турецкий,
Когда обратно он на красных дрогах
Несется вскачь с гражданских похорон,
Иль встретишь воз с поклажей из подушек
И скажешь: «гуси-лебеди, домой!»
Не разбирайся, щелкай, милый кодак,
Покуда глаз – хрусталик кравчей птицы,
А не стекляшка!
Больше светотени –
Еще, еще! Сетчатка голодна!
4

Я больше не ребенок!
Ты, могила,
Не смей учить горбатого – молчи!
Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб небо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.
6 июня 1931
* * *

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.
Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.
Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви
И вся Москва на яликах плывет.
Не волноваться. Нетерпенье – роскошь,
Я постепенно скорость разовью –
Холодным шагом выйдем на дорожку –
Я сохранил дистанцию свою.
7 июня 1931
Старый Крым

Холодная весна. Голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле – такой же виноватый.
Овчарки на дворе, на рубищах заплаты,
Такой же серенький, кусающийся дым.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru

Все так же хороша рассеянная даль –
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят, как пришлые, и возбуждает жалость
Вчерашней глупостью украшенный миндаль.
Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины, Кубани..
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца...

Май 1933

* * *

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову, дарит за указом указ –
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина.

Ноябрь 1933

Воронежские стихи

Чернозем

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаясь, вся образуя хор, –
Комочки влажные моей земли и воли..
В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа –
Тысячехолмие распаханной молвы:
Знать, безокружное в окружности есть что-то.
И все-таки, земля – проруха и обух.
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай:
Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним зазябливает ухо..
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте!
Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст.
Черноречивое молчание в работе.

Апрель 1935

* * *

Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел:
Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо – твой Буонаротти..

Апрель 1935

* * *

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чортова –
Как се ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
А потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама...

Апрель 1935

* * *

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня или проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь, –
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож..
Апрель 1935

* * *

Я живу на важных огородах.
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.
Ветер служит даром на заводах,
И далеко убегает гать.
Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах.
И богато искривилась половица –
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится
И своя-то жизнь мне не близка.
Апрель 1935

* * *

Наушнички, наушники мои!
Попомню я воронежские ночки:
Недопитого голоса Аи
И в полночь с Красной площади гудочки..
Ну как метро? Молчи, в себе таи,
Не спрашивай, как набухают почки,
И вы, часов кремлевские бои, –
Язык пространства, сжатого до точки..
Апрель 1935

* * *

От сырой простыни говорящая –
Знать, нашелся на рыб звукопас –
Надвигалась картина звучащая
На меня, и на всех, и на вас..
Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах,
Офицеры последней выточки –
На равнины зияющий пах..
Было слышно жужжание низкое
Самолетов, сгоревших дотла,
Лошадиная бритва английская
Адмиральские щеки скребла.
Измеряй меня, край, перекраивай –
Чуден жар прикрепленной земли! –
Захлебнулась винтовка Чапаева:
Помоги, развяжи, раздели!..
(Апрель) – июнь 1935
Из писем отцу 1929–1936 гг
[Февраль – март 1929 года]

Дорогой папочка[18]!

За это время случилось столько событий, что не знаешь, о чем писать. Во-первых, я страшно по тебе тоскую и при первой возможности вырвусь в Петербург. Впрочем, как увидишь дальше, возможно, что мы тебя пригласим пожить в Киеве... История Надиной[19] операции тебе, наверно, известна от Лившица[20]. Похоже, что здесь, в Киеве, положен конец застарелой медицинской ошибке. Как только мы приехали, даже еще в дороге начались обычные боли и температура Я обратился к женщине-хирургу проф[ессору] Гедройц[21]. Это моя старая знакомая, случайно оказавшаяся в Киеве царскоселка, член «цеха поэтов», в давние времена придворный хирург. Когда-то оперировала Вырубову[22]. Теперь ей простили прошлое и сделали здесь профессором. Около месяца она продержала Надю в постели, подготавливая к операции. Сразу сказала: аппендицит, но была уверена, что есть и туберкулез, до того была уверена, что перед самой операцией предупредила меня: если очень далеко зашло, то отростка удалять не будем, а вскроем и зашьем. Не стоит повторять, что тебе уже известно. Скажу только, что Надя проявила такую редкую силу воли, такое спокойствие и самообладание, что красота была смотреть. Все в клинике ее полюбили. Редкая больная. Они только таких уважают. Сначала все шло

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru хорошо. Потом, на 7-й день, вдруг сильным жар. Перепугались осложнений, но через три-четыре дня прошло. Видно, заразили гриппом. Девять дней назад Надя вернулась домой, проведя 17 дней в клинике. Всего, вместе с домашним лежанием, она пролежала 6 недель. Мне приходилось очень круто. Денег почти не было. Родители Нади[23] люди совсем беспомощные и нищие. В квартире у них холод, запущенность, связей никаких. Мать очень плохая хозяйка. Каждая чашка бульона, какую я таскал в больницу, давалась мне с бою. У меня был постоянный пропуск в клинику, и так как я получил отдельную палату, то проводил там целые дни и даже ночевал, заменяя сестру и санитаря. Самое трудное было подготовить Надино возвращение домой, вытопить печи, согреть комнаты, раздобыть на хозяйство, на прислугу. В сильнейший мороз я привез Надю. Она была такая слабенькая, еле ходила, но теперь ее не узнать. Силы прибывают. Жизненный подъем. Здоровый аппетит. Только шов еще побаливает. Мы с ней гуляем, немного, пешком, конечно. У нас довольно уютно. Обеспечены вперед недели на три, т. е. на весь период выздоровления, температура нормальная. В Киеве до самой операции мы работали над М[айн] Ридом, и за минуту до отъезда в клинику Надя сложила и упаковала сама рукопись. Лежа в постели, она помогала мне: составляла примечания, рылась в научных книгах, переводила. Вот это помощница! Настоящий человек!

Зиф, как тогда летом в Ялте, не хотел выслать денег [24]. Но мерзавцы все же выслали. Это оказался последний гонорар. Договор, ты знаешь, расторгнут. Вернее, Ионов объявил его расторгнутым, попроси Лившица показать тебе копию письма, которое я отправил этому самодуру. Ты поймешь, что я затеял серьезную борьбу. Дело не в М[айн] Риде, которого мы, должно быть, бросим, но я – обвинитель. Я требую реорганизации всего дела и достойного применения своих знаний и способностей. Возможно, мы с Лившицем начнем судебный процесс, или же дело решится в общественном и профессиональном порядке. Скажу только, что я глубоко спокоен, уверен в себе как никогда. Мне обеспечена поддержка лучшей части советской литературы. Я это знаю. Я первый поднимаю вопрос о безобразиях в переводном деле – вопрос громадной общественной важности – и, поверь, я хорошо вооружен[25].

Но, милый папочка, все это уже потеряло для меня насущную остроту. Выяснилось, что можно бросить эту каторгу и перейти на живой человеческий труд. Сам не верю – но это так. Я приехал в Киев – чужой город. Маленькая русская газетка и больше ничего[26]. Ради 5 червонцев пришлось устроить вечер[27], и представь: есть друзья, есть какие-то корни, зацепки, есть преданные люди. Проживающий здесь писатель Бабель свел меня с громадной украинской кинофабрикой Вуфку[28]. Он умолял меня бросить переводы и не глушить больше мысли и живой работы. Пользуясь интересом, который вызвал мой труд, и теплыми заметками в местных газетах, Бабель, очень влиятельный в кино человек, вызвался определить меня туда редактором-консультантом. Сегодня от него пришла записка: директор фабрики дал принципиальное согласие. Он уехал на 2 дня в Харьков. Вернется и оформит. Это будет очень легкая и чистая работа: выезжать на 2-3 часа ежедневно на фабрику, на Шулявку, в загородном трамвае и что-то писать (кажется, отзывы о сценариях) в своем кабинете. Жалования рублей 300. Мы с Надей боимся верить такому счастью. Конечно, останемся в Киеве. Здесь чудесная весна и лето. В мае переедем на дачу, поближе к кинофабрике, может, в Святошино[29]. Съездим в отпуск на лиманы, куда зовут на баснословную дешевку новые знакомые. Кроме того, по моей мысли киевские литературные организации затеяли единственный на Украине русский журнал[30]. Его должна разрешить центральная власть в Харькове. Не желая прослыть дельцом, я только издала направляю это дело; сегодня составил для них докладную записку, которую сам не подпишу. Киевский партийный центр поддерживает. На меня очень рассчитывают как на литерат[урного] редактора: намечают рублей 200 в месяц. Вот, папочка, какие дела. Как видишь, я не боюсь житейских невзгод. А в Москву все-таки по делу Зифа съезжу на несколько дней: подать в суд, в Р. К. И.[31] и поднять газетную кампанию.

[Апрель 1931 года]

Дорогой папочка! Отвечаю тебе сразу на все твои письма – и мне и Шуре[32] – с таким чувством, будто они пришли только сегодня утром. Я только что все их снова внимательно перечел, и теперь, чтобы поговорить с тобой, я отодвигаю всю гору суеты, ложного беспокойства, все грубые хлопоты, на которые мы обречены. Ты говоришь об отвратительном себялюбии и эгоизме своих сыновей. Это правда, но мы не лучше всего нашего поколения. Ты моложе нас: пишешь стихи о пятилетке, а я не умею. Для меня большая отрада, что хоть для отца моего такие слова, как

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru коллектив, революция и пр., не пустые звуки. Ты умеешь вычитывать человеческий смысл в своей Вечерней Газете, а я и мои сверстники едва улавливаем его в лучших книгах мировой литературы.

Мог ли я думать, что услышу от тебя большевистскую проповедь. Да в твоих устах она для меня сильнее, чем от кого-либо. Ты заговорил о самом главном: кто не в ладах со своей современностью, кто прячется от нее, тот и людям ничего не даст и не найдет мира с самим собой. Старого больше нет, и ты это понял так поздно и так хорошо. Вчерашнего дня больше нет, а есть только очень древнее и будущее.

А семейный чайный стол мы, пожалуй, все-таки соорудим, как он ни устарел. 99 % шанса на квартиру превращаются мало-помалу в периодическую дробь (99,9999). История с квартирой такова: наши знакомые выезжают в новый дом, и в деревянном флигельке, недалеко от центра освобождается квартирка в 3 комнаты с кухней. Первый этаж, окна в палисадник (одно дерево). Еще год назад некоторые руководящие работники надумали обеспечить меня квартирой. Но где ее взять, они сами не знали. И вот мы сами же указали им на эту крошечную квартирку, больше похожую на уездную идиллию, чем на Москву. Три месяца мы ждали, пока старые жильцы откажутся от квартиры и вернут свою площадь Руни[33]. Руни было сделано соответствующее внушение, нам условно всё обещали, любезно морочили и не далее как третьего дня, когда мы вооружились справочками, бумажками и привели в Руни старую хозяйку, возвращавшую площадь... с площадью, так сказать, на руках, скромный, но упрямый зав[едующий] Руни неожиданно отказал в выдаче ордера, ссылаясь на 2 тысячи красноармейцев, ожидающих очереди на площадь. Не вступая ни в какие пререкания с жилищными работниками, мы сообщили о таком повороте авторитетным товарищам, которые полагают, что я по-своему тоже мобилизован и тоже в какой-то очереди состою. Там от благого почина не отступились. В настояниях своих идут дальше, нажимают, звонят по телефону. Со сдачей площади наши знакомые, к счастью, могут повременить, так как не готовы еще к переезду. В ближайшие 2-3 дня недоразумение разъяснится, а здесь безусловно недоразумение.

С Наденькой мы все время жили врозь: я у Шуры, она у брата Евг[ения] Я[ковлевича][34]. Как ни странно, Шуру с Лелей[35] я почти не видал. В девять они исчезали на службу, а приходил я всегда к ночи, когда они уже спали. Старался поменьше их стеснять. Леля нервно переутомлена. Постоянный гость для них – суцая мука... Недавно я перебрался на Страстной б[ульвар] к Евг[ению] Я[ковлевичу] (жена его Лена[36] уехала на две недели). Шура с Лелей собираются в месячный отпуск. Только что они приехали домой (пишу у Шуры). Уже взяты билеты на Ростов (потом на море куда-нибудь или в деревню на Сев[ерный] Кавказ). Билеты Шуры на 23 число.

С нашим приездом 1 мая разладилось из-за квартиры, развязка с которой пришлась на май, а также из-за глубокого безденежья. На этом фронте, скажу прямо, скверно. Денег – только на завтрашний обед. Есть ли планы? виды? Конечно есть. Я познакомлю тебя с моими литературными мытарствами. Большой цикл лирики, законченный на днях, после Армнии[37], не принес мне ни копейки. Напечатать нельзя ничего. (Журналы крехтят и не решаются.) Хвалят много и горячо. Сел я еще за прозу, занятие долгое и кропотливое, – но договоров со мной по той же причине – не заключают и авансов не дают[38]. Все это выяснилось с полуслова. Я вполне примирюсь с таким положением, ничего никому не предлагаю, ни о чем нигде не прошу... Главное, папочка, это создать литературные вещи, а куда их поставить, безразлично... Пера я не сложу из-за бытовых пустяков, работать весело и хорошо.

Друзья мои, люди более смелые и с более широкими взглядами, чем издательские завы, сумеют определить меня на службу. Лишь бы квартира удалась. Не исключена также возможность и получения издательских договоров, месячных выдач от Гиза и т. д. Спасибо за справку Гиза (она не та, между прочим: я просил состояние общего счета, а не данный текущий договор, но сейчас уже не к спеху). С 40 % лопаются[39]. Отказывают... Надя до последних дней была здорова. Нынче опять начались схватки в кишечнике, тошноты, слабость, похудание... Мама ее В[ера] Як[овлевна] одна-одинешенька в Киеве, голодает, беспомощна... Когда получим квартирку, возьмем и ее к себе. Да всю мебель и утварь оттуда же перевезем. Лишнее продадим. Там еще сохранились остатки хазинской обстановки: кровати, столы, буфет, кастрюли, занавеси, стулья... На перевозку и чтоб Надю послать за мамой нужно рублей 500... Где взять? Уповаю на друзей и благожелателей. Мы здесь не так одиноки, как в Ленинграде. С людьми водимся, к себе пускаем тех, кто нам мил или интересен, и в гости выходим... Итак, в квартирке нашей (а я в нее верю) – три комнаты: твоя, Веры Як[овлевны] и наша с Надей. Там и летом хорошо. Рядом

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
большой парк Армии и Флота...

Впрочем, рано я, дурак, размечтался... Как бы не подвела проклятая периодическая дробь...

Лично я, получив ордер и первые же деньги, моментально перекидываюсь в Ленинград – побыть с тобой и женой. Танюше[40] привет. Татку[41] целую. Славный ты ей подарил стих. На племянничка хочу поглядеть... Напиши, как Юрик[42] растет... О пятилетке не просто, а глубоко и сильно – при всей старомодности, которую я люблю... Милый папочка, чтобы нам скорее зажить вместе, сделай вот что: упроси Женю выхлопотать мне у Старчикова[43] 40 %... В них спит все наше с тобой скромное богатство... Пиши мне, дорогой папочка, не скучай...

С молчаньем кончаю твой Ося.

[Вторая половина декабря 1932 года]

Дорогой папа!

Прежде всего спасибо за твое замечательное письмо или послание, которое мне дал Шура. Не так давно жил я в Узком[44] с поэтом Сельвинским и говорю ему: получил от отца замечательное письмо, в котором он призывает меня к социалистической перестройке, – и в нем есть места большой силы. А Сельвинский отвечает: если когда-нибудь это будет напечатано, то обратится в слишком сильное оружие против вас самих. Я все более убеждаюсь, что между нами очень много общего именно в интеллектуальном отношении, чего я не понимал, когда был мальчишкой. Это доходит до смешного: я, например, копаюсь, сейчас в естественных науках – в биологии, в теории жизни[45], т. е. повторяю в известном смысле этапы развития своего отца. Кто бы мог это подумать?

Это письмо я пишу на подмосковной станции Переделкино, из дома отдыха Огиза[46], где осенью жил Шура. До этого мы месяц провели в Узком и лишь между тем и другим домом на Тверском бульваре. Нам бы не хотелось возвращаться в Дом Герцена. Сейчас мы книжки свои сложили в сундук и пустили жить у себя Клычкова. Кирпичную полку Надиной постройки разобрали, о чем я очень жалею.

Постройка нового дома неожиданно остановилась. Снаружи все готово: кирпичные стены, окна, а внутри провал: ни потолков, ни перегородок, – ничего. Теперь говорят, что въедем в апреле, в мае. Нам отвели квартиру не в надстройке, а в совершенно новом лучшем здании, но на пятом этаже. Общая площадь – 48 метров – 2 комнаты (33 метра), кухня, ванна и т. д.[47]. При этом из нас выжали еще одну дополнительную тысячу, которую пришлось внести из гонораров ГИХЛа.

9 января кончается наш срок в Переделкине. Сильно пошатнувшееся было в Москве Надино здоровье: резкая худоба, температура, слабость – сейчас восстановилось. Она прибавила 15 ф[унтов] веса, тяготеет к лыжам и конькам. Все это далось нам не легко – с неизбежной помощью сверху[48] – иначе не получили бы ничего, ни Узкого, ни Переделкина. Каждый шаг мой по-прежнему затруднен, и искусственная изоляция продолжается. В декабре я имел два публичных выступления[49], которые организация вынуждена была мне дать, чтобы прекратить нежелательные толки. Эти выступления тщательно оберегались от наплыва широкой публики, но прошли с блеском и силой, которых не предвидели организаторы. Результат – обо всем этом ни слова в печати. Все отчеты сняты, стенограммы спрятаны, и лишь несколько вещей напечатаны в Литгазете[50], без всяких комментариев. Вот уже полгода как я продал мои книги в ГИХЛ, получаю за них деньги, но к печатному станку не подвигается[51]. Да еще непосредственно после моей читки ко мне обратился некий импресарио, монополично устраивающий литературные вечера, с предложением моего вечера в Политехническом музее и повторением в Ленинграде[52]. Этот субъект должен был зайти на следующий день, но смылся и больше о нем ни слуху ни духу. Тем не менее я твердо решил приехать в Ленинград в январе с Надей. Чтобы всех вас повидать и вообще, т[ак] ск[азать], на побывку на родину, без всяких деловых видов. Должен тебе сказать, что все это время мы довольно серьезно помогали Шуру. О более широких планах, если мне позволено их иметь, я расскажу тебе лично, когда приеду. Вот что еще – нельзя ли нам снять на месяц комнату в Ленинграде, по возможности в центре? Очень прошу узнать и поискать, если можно. Деньги вышлю телеграфом как только комната найдется (получаю в начале января).

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru
Из этой же полочки вышлю тебе.

Целую дорогого папу и всех родных.

Ося.

Как Татя и Юрка? Напишите.

[Приписка Н. Я. Мандельштам]

Милый деда[53]! Я толстею и внезапно обнаружила, что могу читать по-немецки. Когда приеду в Ленинград, буду вашей чтицей. Очень скучаю. Хочу вас видеть.

Целую. Надя. Привет Тане, детям и всем!

12 декабря 1936 г[ода]

Дорогой папочка!

Давно я так не радовался, как получив твою записочку, радовался твоему почерку, твоим словам. Кому другому – а тебе я не хочу жаловаться: мы с тобой старики и понимаем оба, как мало человеку нужно и в чем вообще суть. Больше всего на свете хочу тебя видеть, зову к себе. Но зимой дорога трудная. Боюсь, ты простудишься. Весной – другое дело. Благодарю Таню за ее посылку. Все вещи подошли. Я знаю, что они были подобраны с хорошим чувством, как привет... Как твои глаза? Бережешь ли их? Нам с тобой без глаз худо. Я всегда люблю тебе хвастать (старая привычка). И сейчас не могу себя сдерживать: во-первых, я пишу стихи[54]. Очень упорно. Сильно и здорово. Знаю им цену, никого не спрашивая; во-вторых, научился читать по-испански[55] (книги взял здесь в университете). Но довольно хвастовства.

Положение наше просто дрянь. Здоровье такое, что в 45 лет я узнаю приметы 85-летнего возраста. Я очень бодрый старик. Недалеко от дома с палочкой и женой могу еще ходить. Так хочу очутиться в твоей комнате с зеленым диваном и нашим шкапчиком[56].

Но скорее ты приедешь ко мне, чем я к тебе. Целую тебя, мой дорогой отец. Обещаю часто писать. Жду твоего письма.

Милой Тане, Наташе, племяннице моей – очень гордой и хорошей девчужке, труженику Юрке и М[арии] Н[иколаевне][57] сердечный привет.

Твой Ося.

К Ю. Н. Тынянову 21 января 1937. Воронеж
Дорогой Юрий Николаевич!

Хочу Вас видеть. Что делать? Желание законное.

Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе.

Не отвечать мне легко. Обосновать воздержание от письма или записки невозможно. Вы поступите, как захотите.

Ваш О. М.

К К. И. Чуковскому

[Начало 1937?]

Дорогой Корней Иванович!

Я обращаюсь к Вам с весьма серьезной для меня просьбой: не могли бы прислать мне сколько-нибудь денег.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
я больше ничего не могу сделать, кроме как обратиться за помощью к людям,
которые не хотят, чтобы я физически погиб.

Вы знаете, что я совсем болен, что жена напрасно искала работы. Не только не
логу лечиться, но жить не могу: не на что. Я прошу Вас, хотя, мы с Вали совсем
не близки. Что же делать? Брат Ев[гений] Эм[ильевич] не дает ни гроша. Здесь на
месте нельзя предпринять абсолютно ничего. Это – только место чтоб жить и ничего
больше. Вы понимаете, что со мной делается?

Только одно еще: если не можете помочь – телеграфируйте отказ. Ждать и надеяться
слишком мучительно.

О. Мандельштам.

Воронеж областной,

ул. 27 февр., д. 50, кв. 1.

К К. И. Чуковскому [начало 1937]
Дорогой Корней Иванович!

То, что со мной делается – дальше продолжаться не может. Ни у меня, ни у моей
жены нет больше сил длить этот ужас. Больше того, созрело твердое решение все
это любыми средствами прекратить. Это не является «временным проживанием в
Воронеже», «адм[инистративной] высылкой» и т. д. Это вот что: человек, прошедший
через тяжчайший психоз (точнее, изнурительное и мрачное сумасшествие), – сразу
же после этой болезни, после покушений на самоубийство, физически искалеченный –
стал на работу. Я сказал – правы меня осудившие. Нашел во всем исторический
смысл. Хорошо. Я работал очертя голову. Меня за это били. Отталкивали. Создали
нравственную пытку. Я все-таки работал. Отказался от самолюбия. Считал чудом,
что меня допускают работать. Считал чудом всю нашу жизнь. Через полтора года я
стал инвалидом. К тому времени у меня безо всякой новой вины отняли все: право
на жизнь, на труд, на лечение. Я поставлен в положение собаки, пса... Я тень. Меня
нет. У меня есть только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство. В
Союз писателей – обращаться бесполезно. Они умоют руки. Есть один только человек
в мире, к которому по этому делу можно и должно обратиться. Ему пишут только
тогда, когда считают своим долгом это сделать. Я за себя не поручитель, себе не
оценщик. Не о моем письме речь. Если Вы хотите спасти меня от неотвратимой
гибели – спасти двух человек – помогите, уговорите других написать. Смешно
думать, что это может «ударить» по тем, кто это сделает. Другого выхода нет. Это
единственный исторический выход. Но поймите: мы отказываемся растягивать свою
агонию. Каждый раз, отпуская жену, я нервно заболеваю. И страшно глядеть на нее
– смотреть как она больна. Подумайте: ЗАЧЕМ она едет? На чем держится жизнь?
Нового приговора к ссылке я не выполню. Не могу.

О. Мандельштам.

Болезнь. Я не могу минуты остаться «один». Сейчас ко мне приехала мать жены –
старушка. Если меня бросят одного – поместят в сумасшедший дом.

К В. П. Ставскому 30 апреля 1937 г.

«Уважаемый тов. Ставский, прошу Союз советских писателей расследовать и
проверить позорящие меня высказывания Воронежского областного отделения Союза.

Вопреки утверждениям областного отделения Союза моя воронежская деятельность
НИКОГДА не была разоблачена областным отделением, но лишь голословно опорочена
задним числом.

Называя три фамилии (Стефен, Айч, Мандельштам), автор статьи от имени Союза
представляет читателю и заинтересованным организациям самим разбираться: кто из
трех троцкист. Три человека не дифференцированы, но названы: „троцкисты и другие
классово враждебные элементы“.

Я считаю такой метод разоблачения недопустимыми.»

К брату Александру Эмильевичу Мандельштаму (и жене)
[Двадцатые числа октября 1938]

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Дорогой Шура!

Я нахожусь – Владивосток, СВITЛ[58], 11-й барак.

Получил 5 лет за к. р. д.[59] по решению ОСО[60]. Из Москвы из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехал 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги – не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.

Родные мои. Целую вас. Ося.

Шурочка, пишу еще. Последние дни ходили на работу, и это подняло настроение. Из лагеря нашего, как транзитного, отправляют в постоянные. Я, очевидно, попал в «отсев», и надо готовиться к зимовке. И я прошу, пошлите мне радиogramму и деньги телеграфом.

Рождение улыбки. Стихи 1936–1937 гг.

Когда заулыбается дитя
С развилкой и горечи, и сласти,
Концы его улыбки не шутя
Уходят в океанское безвластье.
Ему непобедимо хорошо:
Углами губ оно играет в славе –
И радужный уже строчится шов
Для бесконечного познания яви.
На лапы из воды поднялся материк –
Улитки рта наплыв и приближение –
И бьет в глаза один атлантов миг
Под легкий наигрыш хвалы и удивленья.
9–11 декабря 1936 г. – 11 января 1937 г.
* * *

Подивлюсь на свет еще немного,
На детей и на снега,
Но улыбка неподдельна, как дорога,
Непослушна, не слуга.
декабрь 1936 г.
* * *

Мой щегол, я голову закину –
Поглядим на мир вдвоем:
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоем?
Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли, до чего щегол ты,
До чего ты щеголовит?
Что за воздух у него в надлобьи –
Черен и красен, желт и бел!
В обе стороны он в оба смотрит – в обе! –
Не посмотрит – улетел!
декабрь 1936 г.
* * *

Нынче день какой-то желторотый –
Не могу его понять,
И глядят приморские ворота
В якорях, в туманах на меня..
Тихий, тихий по воде линиялой
Ход военных кораблей,
И каналов узкие пеналы
Подо льдом еще черней..
9–28 декабря 1936 г.
* * *

Не у меня, не у тебя – у них
Вся сила окончаний родовых:
Их воздухом поющ тростник и скважист,
И с благодарностью улитки губ людских

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru

Потянут на себя их дышащую тяжесть.
Нет имени у них. Войди в их хрящ,
И будешь ты наследником их княжеств, –
И для людей, для их сердец живых,
Блуждая в их извилинах, развивах,
Изобразишь и наслажденья их,
И то, что мучит их – в приливах и отливах.
9–27 декабря 1936 г.

* * *

Внутри горы бездействует кумир
В покоях бережных, безбрежных и счастливых,
А с шеи каплет ожерелий жир,
Оберегая сна приливы и отливы.
Когда он мальчик был и с ним играл павлин,
Его индийской радугой кормили,
Давали молока из розоватых глин
И не жалели кошенили.
Кость усыпленная завязана узлом,
Очеловечены колени, руки, плечи.
Он улыбается своим тишайшим ртом,
Он мыслит костю и чувствует челом
И вспомнить силится свой облик человеческий...
Декабрь 1936 г.

* * *

Я в сердце века. Путь неясен,
А время удаляет цель –
И посоха усталый ясень,
И меди нищенскую цвель.
Зима 1936 г.

* * *

А мастер пушечного цеха,
Кузнечных памятников швец,
Мне скажет: ничего, отец, –
Уж мы сошьем тебе такое...
Декабрь 1936 г.

* * *

Сосновой рощицы закон:
Виол и арф семейный звон.
Стволы извилисты и голы,
Но все же арфы и виолы
Растут, как будто каждый ствол
На арфу начал гнуть Эол
И бросил, о корнях жалея,
Жалея ствол, жалея сил;
Виолу с арфой пробудил
Звучать в коре, коричневая.
16–18 декабря 1936 г.

* * *

Пластинкой тоненькой жиллета
Легко щетину спячки снять –
Полуукраинское лето
Давай с тобою вспоминать.
Вы, именитые вершины,
Дерев косматых именины –
Честь Рюисдалевых картин,
И на почин – лишь куст один
В янтарь и мясо красных глин.
Земля бежит наверх. Приятно
Глядеть на чистые пласты
И быть хозяином объятной
Семипалатной простоты.
Его холмы к далекой цели
Стогами легкими летели,
Его дорог стенной бульвар
Как цепь шатров в тенистый жар!
И на пожар рванулась ива,
А тополь встал самолюбиво...
Над желтым лагерем жнивья

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru

Морозных дымов колея.

А Дон еще, как полукровка,
Сребрясь и мелко, и неловко,
Воды набравши с полковша,

Терялся, что моя душа,
Когда на жесткие постели

Ложилось бремя вечеров

И, выходя из берегов,

Деревя-бражники шумели...

15–27 декабря 1936 г

Записные книжки. Заметки

Записи 1931 года

2 Мая 31 г. Чтение Некрасова «Влас» и «Жил на свете рыцарь бедный».

Некрасов

Говорят, ему видение

Все мерещилось в бреду:

Видел света преставление,

Видел грешников в аду.

Пушкин

Он имел одно виденье.

Недоступное уму,

И глубоко впечатленье

В сердце врезалось ему.

«С той поры» – и дальше как бы слышится второй потаенный голос:

Lumen coeium, Sancta Rosa...

Та же фигура стихотворная, та же тема отозвания и подвига.

Здесь общее звено между Востоком и Западом. Картина ада. Дант лубочный из русской харчевни:

Черный тигр шестокрылат...

Влас увидел тьму кромешную...

* * *

[О Пастернаке] 1. Набрал в рот вселенную и молчит. Всегда-всегда молчит. Аж страшно.

Набравши море в рот.

Да прыскает вселенной.

2. К кому он обращается?

К людям, которые никогда ничего не совершат.

Как Тиртей перед боем, – а читатель его – тот послушает и побежит... в концерт...

* * *

В современной практике глаголы ушли из литературы. К поэзии они имеют лишь косвенное отношение. Роль их чисто служебная: за известную плату они перевозят с места на место. Только в государственных декретах, в военных приказах, в судебных приговорах, в нотариальных актах и в завещательных документах глагол еще живет полной жизнью. Между тем глагол есть прежде всего акт, декрет, указ.

Записные книжки 1931–1932 годов

1. (Путешествие в Армению)

Севан

Жизнь на всяком острове – будь то Мальта, Святая Елена или Мадера – протекает в благородном ожидании... Ушная раковина истончается и получает новый завиток /в беседах мы обнаруживаем больше снисходительности и терпимости к чужому мнению, все вместе оказываются посвященными в мальтийский орден скуки и рассматривают друг друга с чуть глуповатой вежливостью, как на вернисаже.

Даже книги передаются из рук в руки бережнее [чем] стеклянная палочка градусника на даче.../

/При этом местность обнажена/

А ночью можно видеть, как фары автомобилей, пожирающих проложенное с римской твердостью шоссе, пляшут по зигзагам его огоньками святого Эльма.

Там же на острове Севане учительница А. Х. вызвалась обучить меня армянской грамоте. Ее фигурку заморенной львицы вырезала из бумаги семилетняя девочка: к энергичному платью, взятому за основу, были пририсованы жестко условные руки и ноги и еще после минутного раздумья прибавлена неповорачивающаяся голова.

Ненависть к белогвардейцам, презренье к дашнакам и чистая советская ярость одухотворяли А. Смелая и понятливая, красной солдаткой бросила мужа-комсомольца, плохого товарища; воспитывала двух разбойников, Рагина и Хагина, то и дело поднимавших на нее свои кулачки.

То был армянский Несчастливцев..... Уже пожилой мужчина, получивший военно-медицинское образование в Петербурге – и оробевший от голоса хриплой бабки..... родины своей; оглохший от (ее) картавого кашля, ее честнейших в мире городов; навсегда перепуганный глазастью и беременностью женщин, львиным напором хлебных, виноградных и водопроводных очередей.

Кто он? Прирожденный вдовец – при живой жене. Чья-то сильная и властная рука еще давным-давно содрала с него воротничок и галстук.

И было в нем что-то от человека, застигнутого врасплох посещением начальника или родственника и только что перед тем стиравшего носки под краном в холодной воде...

Казалось, и жена ему говорит: «Ну какой ты муж, – ты вдовец».... С. являл собой пример чистокровной мужской растерянности. Его мучила собственная шея. Там, где у людей воротничок и галстук, у него было какое-то стыдливое место. То был мужчина, беременный сознанием своей вины перед женою и детьми...

С каждым встречным он заговаривал с той отчаянной, напропалую заискивающей откровенностью, с какой у нас в России говорят лишь ночью в вагонах.

Хоровое пение – этот бич советских домов отдыха – совершенно отсутствовало на Севане. Древнему армянскому народу претит бесшабашная песня с ее фальшивым былинным размахом, заключенным в бутылку казенного образца.

Москва

Никто не посылал меня в Армению, как, скажем, граф Паскевич грибоедовского немца и просвещеннейшего из чиновников Шопена (см. его «Камеральное описание Армении», сочинение, достойное похвалы самого Гёте).

Выправив себе кой-какие бумажонки, к которым, по совести, и не мог относиться иначе, как к липовым, я выбрался с соломенной корзинкой в Эривань в мае 30-го года /в чужую страну, чтобы пощупать глазами ее города и могилы, набраться звуков ее речи и подышать ее труднейшим и благороднейшим историческим воздухом/.

Везде и всюду, куда бы я ни проникал, я встречал твердую волю и руку большевицкой партии. Социалистическое строительство становится для Армении как бы второй природой.

Но глаз мой /падкий до всего странного, мимолетного и скоротечного/ улавливал в путешествии лишь светоносную дрожь /случайностей/, растительный орнамент /действительности/.....

Неужели я подобен сорванцу, который вертит в руках карманное зеркальце и наводит всюду, куда не следует, солнечных зайчиков?

Нельзя кормить читателя одними трюфелями! В конце концов он рассердится и пошлет вас к черту! Но еще в меньшей степени можно его удовлетворить деревянными сырами нашей кегельбанной доброкачественной литературы.

По-моему, даже пустой шелковичный кокон много лучше деревянного сыра... /Давайте почувствуем, что предметы не кегельбаны!/ Выводы делайте сами.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru
Первый урок армянского языка я получил у девушки по имени Марго Вартаньян. Отец ее был важным заграничный армянин... и, как мне показалось, консул сочувствующих советскому строительству с национальной точки зрения буржуазных кругов. В начале советизации он состоял комиссаром в Эчмиадзине. По словам Марго последний католикос кормился одними цыплятами. О священничестве, богатстве и правительстве Марго говорила с наивным ужасом пансионерки.

В образцовой квартире Вартаньян электрический чайник и шербет из лепестков роз тесно соприкасался с комсомольской учебой. Даже свой недолеченный в Швейцарии туберкулез бедняжка Марго /растила в Армении как драгоценный тепличный цветок/ остановила пылью эриванских улиц: «Дома умирать нельзя!»

Она руководила пионерами, кажется, и хорошо владела /изученным после итальянского/ наречием бузы и шамовки.

Бывая у Вартаньян, я неизменно сталкивался с другом ее отца – обладателем столь изумительного габсбургского профиля, что хотелось спросить его, как делишки святой инквизиции.

В общем, я ничему не научился у древне-комсомольской царевны. Мало того, что она лишена была всяческих педагогических способностей, Марго наотрез не понимала таинственности и священной прелести /красоты/ родного языка.

Урок, заметанный на живую нитку любезностей, длился не более получаса. Донимала жара. Коридорные метались по всей гостинице и ревели, как орангутанги. Помнится, мы складывали фразу: «Муж и жена приехали в гостиницу».

Женские губы, прекрасные в болтовне и скороговорке, не могут дать настоящего понятия...

Это был гребень моих занятий арменистикой – год спустя после возвращения из Эривани – /печальная/ глухонемая пора, о которой я должен теперь рассказать еще через год и снова в Москве и весной.

Москва подобрела: город чудный, подробный, дробный, с множественным и сложным, как устройство /глаза у комнатной мухи/ мушиного глаза, зреньем.

Что мы видим? Утром – кусок земляничного мыла, днем...

В январе мне стукнуло 40 лет. Я вступил в возраст ребра и беса. Постоянные поиски пристанища и неудовлетворенный голод мысли.

А. Н., подняв на меня скорбное мясистое личико измученного в приказах посольского дьяка, собрав всю елейную невинность и всю заморскую убедительность интонаций москвича, побывавшего в Индии, вздев воронью бороденку...

Я сейчас нехорошо живу. Я живу, не совершенствуя себя, а выжимая из себя какие-то дожимки и остатки.

Эта случайная фраза вырвалась у меня однажды вечером после ужасного бестолкового дня вместо всякого так называемого «творчества».

Для Нади.

К тому же легкость вторглась и в мою жизнь, – как всегда, сухую и беспорядочную и представляющую мне щекочущим ожиданием какой-то беспроигрышной лотереи, где я мог вынуть все что угодно, – кусочек земляничного мыла, сиденье в архиве в палатах первопечатника или вожденное путешествие в Армению, о котором я не переставал мечтать.

Хозяин моей временной квартиры, молодой белокурый юрисконсульт, врвался по вечерам к себе домой, схватывал с вешалки резиновое пальто и ночью улетал на «юнкерсе» то в Харьков, то в Ростов.

Его нераспечатанная корреспонденция валялась по неделям на неумытых подоконниках и столах.

Постель этого постоянно отсутствующего человека была покрыта украинским

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
ковричком и подколота булавками.

Вернувшись, он лишь потряхивал белокурой головой и ничего не рассказывал о полете.

/Соседи мои по квартире были трудящиеся довольно сурового закала. Мужчины умывались в сетчатых майках под краном. Женщины туго накачивали примуса, и все они яростно контролировали друг друга в соблюдении правил коммунального общежития./ Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь...

Вряд ли эти люди были достойными носителями труда – энергии, которая спасает нашу страну... Им не был чужд и культ умерших, а также некоторое уважение к отсутствующим. /Мы напоминаем и тех и других/. Ежики, проборы, височки, капустные прически и бороды...

Табаки на дворике торчали как восклицательные знаки. Цветы стояли, прикуривая друг у друга по старинному знакомству. Между клумбами был неприкосновенный воздух, свято принадлежавший небольшому жакту. Дворик был проходной. Его любили почтальоны и мусорщики. И меня допекала его подноготная с конюшнями, сарайчиками и двумя престарелыми черствыми липами, давно состоявшими на коричневой пенсии. Их кроны давно отшумели.

Старость ударила в них казнящей молнией.

Приближался день отъезда. К. купил дьявольски дорогой чемодан, заказал плацкарту на Эривань через фисташковый Тифлис...

Я навсегда запомнил картину семейного пиршества у К.: дары московских гастрономов на сдвинутых столах, бледно-розовую, как испуганная невеста, семгу /кто-то из присутствующих сравнил ее жемчужный жир с жиром чайки/, зернистую икру, черную, как масло, употребляемое типографским чертом, если такой существует.

Разлука – младшая сестра смерти. Для того, кто уважает резоны судьбы, есть в проводах зловеще свадебное оживление. А тут еще примешался день рожденья... Я подошел к старухе К., тихой как моль, и сказал ей несколько лестных слов по поводу сына. Счастье и молодость собравшихся почти пугали ее... Все старались ее не беспокоить.

Коричневая плиточная московская ночь... Липы пахнут дешевыми духами.

Ситцевая роскошь полевых цветов смотрела из умывальных кувшинов. Сердце радовалось их демократической азбучной прелести... Сколько раз за ними нагибались с веселыми восклицаниями, столько раз они отработывали в кувшине – колокольчиками, лапочками, львиной зевотой.

Цветы – великий народ и насквозь грамотный. /Волнующий/ их язык состоит из одних лишь собственных имен и наречий.

Сухум

Шесть недель, назначенные мне для проживания в Сухуме, я рассматривал как преддверие и своего рода карантин – до вызова в Армению. Комендант по имени Сабуа, ловко скроенный абхазец с ногами танцора и румяным лицом оловянной куклы, отвел мне солнечную мансарду в «доме Орджоникидзе» /который стоит как гора на горе, вынесен как на подносе срезанной горы; так и плывет в море вместе с подносом/.

Я быстро и хищно, с феодальной яростью осмотрел владения окоема: мне были видны, кроме моря, все кварталы Сухума, с балаганом цирка, казармами...

Не потому ли с такой отчетливостью запоминаются места, где нас...

Там же, в Сухуме, в апреле я принял океаническую весть о смерти Маяковского. Как водяная гора жгутами бьет позвоночник, стеснила дыхание и оставила соленый вкус во рту.

Три недели я просидел за столом напротив Б[езыменского] /и так и не разгадал, о

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtamjoseph.ru
чем с ним можно разговаривать/.

Однажды, столкнувшись со мной на лестнице, он сообщил мне о смерти Маяковского. Человек устроен наподобие громоотвода. Для таких новостей мы заземляемся, а потому и способны их выдержать. И новость, скатившись на меня в образе Б., ушла куда-то вниз под ступеньки.

Б. изобрел интересный способ общаться с людьми при помощи сборной граммофонной пластинки, приноровленной к его настроению.

Наливая себе боржому в стакан, он мурлыкал из «Травиаты». То вдруг огреет из «Риголетто». То расхохочется шалопинской «блохой»...

«Рост» – оборотень, а не реформатор. Кроме того, он фольклорный дурень, плачущий на свадьбе и смеющийся на похоронах – носить вам не переносить. Недаром мы наиболее бестактны в возрасте, когда у нас ломается голос.

Критики Маяковского имеют к нему такое же отношение, как старуха, лечившая эллинов от паховой грыжи, к Гераклу...

В хороших стихах слышно, как шьются черепные швы, как набирает власти /и чувственной горечи/ рот и /воздуха лобные пазухи, как изнашиваются аорты/ хозяйничает океанской солью кровь.

Общество, собравшееся в Сухуме, приняло весть о гибели первозданного поэта с постыдным равнодушием. /Ведь не Шалопин и не Качалов даже!/ В тот же вечер плясали казачка и пели гурьбой у рояля студенческие вихрастые песни.

Как и всегда бывает в дороге /в пути/, в центре внимания моего встал человек, приглянувшийся просто так – на здоровье...

Я говорю о собирателе абхазских народных песен М. Коваче. Еврей по происхождению и совсем не горец, не кавказец, он обстругал себя в талию, очинил, как карандаш, под головореза.

Глаза у него были очаровательно наглые, со злущинкой и какие-то крашенные, желтые...

От одного его приближения зазубренные столовые ножи превращались в охотничьи.

/Мир для него разделялся надвое: абхазцы и женщины. Все прочее – нестоящее и ерша. Ему приводили коротконогих крестьянских лошадей... Эка важность... Было бы седло. Смотрите: он уже прирос к коню, обнял его ляжками – и был таков.../.

Абхазские песни удивительно передают верховую езду. Вот копытится высота; лезет в гору и под гору, изворачивается и прячется бесконечная, как дорога, хоровая нота – камертонное бессловесное длинное а-а-а! И на этом ровном многокопытном звуке, усевшись на нем, как в седле, плывет себе запевала, выводя озорную или печально-воинственную мелодию...

Песни, изданные Ковачем, чрезвычайно просто аранжированы. Мне запомнилась одна: музыкальная мельница или дразнилка. /Она, как и все прочие, написана на случай./ Старик в очемчирах замучил сход: говорил-говорил и кончить не мог.

Ее наиграл для меня на рояле /непривычными/ наглыми пальцами этнограф и горец – Ковач.

/В Сухуме меня пронзил древний обряд погребального плача. Шел я под вечер.../.

Совсем другое впечатление производил грузин Анатолий Какавадзе, директор тифлиского национального музея, гостивший на той же оцепленной розами, никем не заслуженной, блаженной даче. Губы его были заметаны шелковой ниткой, и после каждого сказанного слова он как бы накладывал на них шов.

Впрочем, никогда не растолковывайте человеку символику его физического облика. Этой бестактности не прощают даже лучшему другу.

С Какавадзе – он был крупнейшим радиоспецом у себя на родине – мы ходили в клуб

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
субтропического хозяйства ловить /средиземную/ миланскую волну на шестилампный приемник.

Он смахнул с аппарата какого-то забубенного любителя, из тех, что роятся в домашнем белье эфира, вздел наушники с монашеским обручем и сразу – нащупал и подал нечто по своему вкусу.

/А вкус у него был горький, миндальный. Раз как-то он сказал: – Бетховен для меня слишком сладок, – и осекся.../.

Удивительна судьба наших современников, – судьба сынов и пасынков твоих, СССР.

Человека разрабатывают, как тему с вариациями, ловят его на длину волны.

Так, инженер Какавадзе сначала принял постриг электротехника, потом распутывал клубок неправды в РКИ, а ныне он заведует грузинской фреской с ее упаси меня Боже какими огромными малярийными глазищами.

Уже потом, значительно позже, я /познал и/ разгадал духовную формулу Какавадзе.

Казалось /где-то и когда-то/ из него выжали целую рошу лимонов. За ним волочилась сама желтуха и малярия. Свою собственную усталость он вычислял во сне. Он боролся с нею, – но выздоравливал /от нее как только его о чем-нибудь интересном спрашивали/. Его усталость была лишь скрытой формой энергии.

У него было сонное выражение математика, производящего на память, без доски, многочленный...

Веки с ячменным наростом...

В приемной Совнаркома я видел жалобщиков-крестьян. Старики-табаководы в черной домотканной шерсти похожи на французских крестьян-виноделов.

У Нестора Лакобы – главы правительства – движения человека, стреляющего из лука... Это он /привез медвежонка на автомобиле/ получил медвежонка в подарок от крестьянского оратора на митинге в Ткварчелах. Слуховая трубка глухого Лакобы воспринимается как символ власти.

/Он убивает кабанов и приносит великолепные.../.

Абхазцы приходят к марксизму /минуя христианство Смирны, минуя ислам/ не через Смирну и не обливав лезвие, а непосредственно от язычества. У них нет исторической перспективы, и Ленин для них первее Адама. Их всего горсточка – 200 000.

Слава хитрой языческой свежести и шелестящему охотничьему языку – слава!

Французы

Художник по своей природе – врач, исцелитель. Но если он никого не врачует, то кому и на что он нужен?

Такая определенность света, такая облизывающаяся дерзость раскраски бывает только на скачках /в которых ты заинтересован всей душой.../.

Каждый дворик, подергивавшийся светотенью, продавали из-под полы.

Посетители передвигаются мелкими церковными шажками.

/В углу на диване сидит москвичка с карими глазами в коротком платье цвета индиго и смотрит на Монэ/. Каждая комната имеет свой климат. /Они так отличаются, что глаз, переходя от Гогена к Сезанну, может простудиться. Еще чего доброго надует ему ячмень от живописных сквозняков./.

В комнате Клода Монэ /и Ренуара/ воздух речной. /Входишь в картину по скользким подводным ступенькам дачной купальни. Температура 16° по Реомюру... Не заглядывайся, а то вскочат на ладонях янтарные волдыри, как у изнеженного гребца, который ведет против течения лодку, полную смеха и муслина./.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Назад! Глаз требует ванны. Он разохотился. Он купальщик. Пусть еще раз порадуют его свежие краски Иль-де-Франс...

Венецианцы смеялись, когда Марко Поло рассказывал, что в Китае ходят бумажные деньги. На них купишь разве что во сне. Золото не прилипает к шелковистой бумаге.

Что-то шепелявила тень, но никто ее не слушал. Липки стояли с мелко нарубленной рублевой листвой.

...В основном – эта широкая и сытая улица барского труда давала все то же движение, – /катышечки-волны чуть-чуть подсиненных холстов, обгоняемые ситцевыми тенями;/ ленивые фронтоны дрожали, как холст, и обтекали светом.

Клод Монэ продолжался, от него уже нельзя было уйти.

...Роскошные плотные сирени Иль-де-Франс, сплюснутые из звездочек в пористую, как бы известковую губку, сложившиеся в грозную лепестковую массу; дивные пчелиные сирени, исключившие /из мирового гражданства все чувства/ все на свете, кроме дремучих восприятий шмеля, – горели на стене самодышащей купиной /и были чувственней, лукавей и опасней огненных женщин/, более сложные и чувственные, чем женщины.

Вокруг натуралистов

С тех пор, как друзья мои – хотя это слишком громко, я скажу лучше приятели – вовлекли меня в круг естественнонаучных интересов, в жизни моей образовалась широкая прогалина. Передо мною раскрылся выход в светлое деятельное поле.

Мы приближаемся к тайнам органической жизни. Ведь для взрослого человека самое трудное – это переход от мышления неорганического, к которому он приучается в пору своей наивысшей активности, когда мысль является лишь придатком действия, к первообразу мышления органического.

Задача разрешается в радужном чечевичном пространстве в импрессионистской среде /где художники милостью воздуха – лепили один мазок в другой/.

Самый спокойный памятник из всех, какие я видел. Он стоит у Никитских ворот, запеленутый в зернистый гранит. Фигура мыслителя, приговоренного к жизни.

Ламарк чувствует провалы между классами. /Это интервалы эволюционного ряда. Пустоты зияют. /Он слышит синкопы и паузы эволюционного ряда. Он предчувствует истину и захлебывается от отсутствия подтверждающих ее фактов и материалов. (Отсюда легенда о его конкретобязни). [Ламарк] прежде всего законодатель. Он говорит как Конвент. В нем Сен-Жюст и Робеспьер. Он не столько доказывает, сколько декретирует природу.

/В обратном, нисходящем движении с Ламарком по лестнице живых существ есть величие Данте. Низшие формы органического бытия – ад для человека./.

Ламарк выплакал глаза в лупу. Его слепота равна глухоте Бетховена.

У Ламарка /умные/ басенные звери. Они приспособлялись к условиям жизни по Лафонтену. Ноги цапли, шея утки и лебедя/, – все это милая разумная находчивость покладистой и трезвой басни/.

В эмбриологии нет смысловой ориентации и быть не может.

Самое большое – она способна на эпиграмму.

Линней ребенком в маленькой средневековой Упсале не мог не заслушиваться объяснений в странствующем зверинце.....

Слушатели воспринимали зверя очень просто: он показывает людям фокус /одним только фактом своего существования/ в силу своей природы, в силу своего естества. Звери резко разделялись на малоинтересных домашних и заморских. А позади заморских, привозных угадывались и вовсе баснословные, к которым не было ни доступа, ни проезда, ибо их затруднительно было сыскать на какой бы то ни было географической карте.

[Паллас]

Никому, как Палласу, не удавалось снять с русского ландшафта серую пелену ямщицкой скуки. В ее /мнимой/ однообразности, приводившей наших поэтов то в отчаяние, то в унылый восторг, он подсмотрел /неслыханное разнообразие крупниц, материалов, прослоек/ богатое жизненное содержание. Паллас – талантливый почвовед. Струистые шпаты и синие глины доходят ему до сердца....

Он испытывает натуральную гордость по случаю морского происхождения бело-желтых симбирских гор и радуется их геологическому дворянству.

Я читаю Палласа с одышкой, не торопясь. Медленно перелистываю акварельные версты. Сажу в почтовой карете с разумным и ласковым путешественником. Чувствую рессоры, пружины и подушки. Вдыхаю запах нагретой солнцем кожи и дегтя. Переваливаюсь на ухабах. Паллас глядит в окошко на волжские увалы. Бот я ворочаюсь, сдавленный баулами. Ключ бежит, вяясь по белому мергелю. /Кремнистые глины... Струистые глины... А в карете-то...

Вообразите спутником Палласа никого иного, как Н. В. Гоголя. Все для него иначе. Как бы они не перегрызлись в дороге. Карета все норовит свернуть на сплошную пахотную землю./

/Картина огромности России слагается у Палласа из бесконечно малых величин. Ты скажешь: в его почтовую карету впряжены не гоголевские кони, а майские жуки. Не то муравьи ее тащат цугом, с тракта на тракт, с проселка на проселок, от чувашской деревни к винокуренному заводу, от завода – к сернистому ключу, от ключа – к молошной речке, где водятся выдры./

Палласу ведома и симпатична только близь. От близки к близки он вяжет вязь. Крючками и петельками надставляет свой горизонт. Незаметно и плавно в карете, запряженной муравьями, переселяется из округи в округу.

Паллас насвистывает из Моцарта. Мурлычет из Глюка. Кто не любит Генделя, Глюка и Моцарта, тот ни черта не поймет в Палласе. Вот уж подлинно писатель не для длинных ушей. Телесную круглость и любезность немецкой музыки он перенес на русские равнины. /Он писал не тонко измельченными растительными красками. Он красит и дубит и вываривает природу с красным сандалом. Он вываривает крутиком и смолчугом. Симбирские пашни, березники и киргизские степи – в арзамасском фабричном котле. Он гонит краску из березовых листьев с квасцами – на китайку для нижегородских баб и на синьку для неба./

/Нравы, обычаи, ритуалы, свадебные и похоронные культы, уборы женщин, ремесла и промыслы жителей/ все что видит путешественник – лишь краски и узоры, отпечатанные на холстах земли, на ее полотенцах.

Удивительный был немец этот Паллас. Мне кажется, он умудрился объехать всю Россию от Москвы до Каспия – с большим избалованным сибирским котом на коленях. /Уйму видел/ /Видел метко, записывал остро; был он и географ, и аптекер, и красильщик, и дубильщик, и кожевник, был ботаник, зоолог, этнограф, написал полезную и прелестную книгу, пахнущую свежерашеной холстиной и грибами, – а все не стряхивал своего кота с колен и чесал ему глухое с проседью ухо – и так всю дорогу ни разу его не обеспокоил./ Кот, наверно, был глухой, с проседью за ухом.

А ведь его благородие, вздумай он прокатиться еще раз, мог попасть в лапы и к Пугачеву. То-то он писал бы ему манифесты на латинском языке или указы по-немецки. Ведь Пугачев жаловал образованных людей. Он бы в жизни Палласа не повесил. В канцелярии Петра Федоровича сидел тоже немец, поручик Шваных или Шванвич. И строчил: ничего... А потом отсиживался в баньке.

Светлая и объемистая книга Палласа отпечатана на удивительно сухой китайской бумаге. Страницы ее набраны широко и зернисто. Чтение этого натуралиста прекрасно влияет на расположение чувств, выпрямляет глаз и сообщает душе минеральное кварцевое спокойствие.

Физиология чтения еще никем не изучена. Между тем – эта область в корне отличается от библиографии, и надлежит ее относить к явлениям органической природы.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Книга в работе, утвержденная на читательском пюпитре, уподобляется холсту,
натянutoму на подрамник.

Она еще не продукт читательской энергии, но уже разлом биографии читателя; еще
не находка, но уже добыча. Кусок струистого шпата...

Наша память, наш опыт с его провалами, тропы и метафоры наших чувственных
ассоциаций достаются ей в обладание, бесконтрольное и хищное.

И до чего разнообразны ее военные уловки и хитрости ее хозяйничанья.

Демон чтения вырвался из глубин культуры-опустошительницы. Древние его не знали.
В процессе чтения они не искали иллюзию. Аристотель читал бесстрастно. Лучшие из
античных писателей были географами. Кто не дерзал путешествовать – тот и не смел
писать.

Новая литература предъявила к писателю высотное требование, /к сожалению, плохо
соблюдаемое и многократно поруганное/ от которого у многих авторов закружилась
голова: не смей описывать ничего, в чем так или иначе не отобразилось бы
внутреннее состояние твоего духа.

/Итак авторский замысел вторгается в пережитое./

Мы читаем книгу, чтобы запомнить, но в том-то и беда, что прочесть книгу можно,
только припоминая.

Будучи всецело охвачены деятельностью чтения, мы больше всего любим свои
родовыми свойствами. Испытываем как бы восторг классификации своих возрастов.

/В темном вестибюле зоологического музея на Никитской улице валяется без призора
челюсть кита, напоминающая огромную соху. Навещая ученых друзей на Никитской, я
любуюсь на эту диковину./.

И если Ламарк, Бюффон и Линней окрасили мою зрелость, то я благодарю
/никитского/ кита за то, что он пробудил во мне ребяческое изумление перед
наукой.

Действительность носит сплошной характер.

Соответствующая ей проза, как бы ясно и подробно, как бы деловито и верно она ни
составлялась, всегда образует прерывистый ряд.

Не только та проза действительно хороша, которая всей своей системой внедрена в
сплошное, хотя его невозможно показать никакими силами и средствами.

Таким образом, прозаический рассказ не что иное, как прерывистый знак
непрерывного.

Сплошное наполнение действительности всегда является единственной темой прозы.
Но подражание этому сплошяку завело бы прозаическую деятельность в мертвый
тупик, потому что /она имеет дело только с интервалами/ непрерывность и
сплошность нуждаются все в новых и новых толчках-определителях. /Нам нужны
приметы непрерывного и сплошного, отнюдь не сама воспроизводимая материя./.

Безынтервальная характеристика невозможна.

Окончательное дотошное описание материи упирается в световой эффект: так
называемый эффект Тиндалля (косвенный показатель молекулы в ультрамикроскопе)... а
там все сначала, описывай свет и т. д.

Идеальное описание свелось бы к одной-единственной пан-фразе, в которой
сказалось бы все бытие.

/Но речь прозаика никогда не составляется, не складывается, как не подбирается.../

Для прозы важно содержание и место, а не содержание – форма.

Прозаическая форма: синтез.

Смысловые словарные частицы, разбегающиеся по местам.

Неокончателность этого места перебежки. Свобода расстановок. В прозе – всегда «Юрьев день».

Аштарак

Я хочу познать свою кость, свою лаву, свое гробовое дно /как под ним заиграет и магнием и фосфором жизнь, как мне улыбнется она: членистокрылая, пенящаяся, жужжащая/. Выйти к Арарату на каркающую, крошащуюся и харкающую окраину. Упереться всеми..... фибрами моего существа в невозможность выбора, в отсутствие всякой свободы. Отказаться добровольно от светлой нелепицы воли и разума. /Если приму, как заслуженное и присносущее, звукоодетость, каменнокровность и твердокаменность, значит я не даром побывал в Армении./.

Если приму, как заслуженное, и тень от дуба и тень от гроба и твердокаменность членораздельной речи, – как я тогда почувствую современность?

/Что мне она? Пучок восклицаний и междометий! А я для нее живу.../.

Для этого–то я и обратился к изучению древнеармянского языка....

Алагез

Усталости мы чувствовать не смели. Солнце печенегов и касогов стояло над нашими головами.

Книг с собой у меня была одна только «Italienische Reise» Гёте в кожаном дорожном переплете, гнущемся, как бедкер.

/Вместо кодака Гёте прихватил с собой в Италию краснощекого художника Книппа, который с фотографической точностью копировал по его указаниям примечательные ландшафты./

/Тамерланова завоевательная даль стирает всякие обычные понятия о близком и далеком. Горизонт дан в форме герундивума./ Едешь и чувствуешь у себя в кармане пригласительный билет к Тамерлану.

«Разговор о Данте» – Из первоначальной Редакции, из черновых записей И заметок. (1932)

«Незнакомство русских читателей с итальянскими поэтами – я понимаю Данта, Ариоста и Тасса – тем более поразительно, что не кто иной, как Пушкин воспринял от итальянцев взрывчатость и неожиданность гармонии.

В понимании Пушкина, которое он свободно унаследовал от великих итальянцев, поэзия есть роскошь, но роскошь насущно необходимая и подчас горькая, как хлеб...

Великолепен стихотворный голод итальянских стариков, их зверский, юношеский аппетит к гармонии, их чувственное вожделение к рифме – *il disio!*

Славные белые зубы Пушкина – мужской жемчуг поэзии русской!

Что же роднит Пушкина с итальянцами? Уста работают, улыбка движет стих, умно и весело, алеют губы, язык доверчиво прижимается к небу.

Пушкинская строфа или Тассова октава возвращает нам наше собственное оживление и сторицей вознаграждает усилие чтеца.

Внутренний образ стиха неразлучны с бесчисленной сменой выражений, мелькающих на лице говорящего и волнующегося сказителя.

Искусство речи именно искажает наше лицо, взрывает его покой, нарушает его маску...

Один только Пушкин стоял на пороге подлинного, зрелого понимания Данта.

Ведь, если хотите, вся новая европейская поэзия лишь вольноотпущенница Алигьери. Не воздвигалась ли она резвящимися шалунами национальных литератур на закрытом и недочитанном международном Данте? [61]

Никогда не признававшийся в прямом на него влиянии итальянцев, Пушкин был тем не менее втянут в гармоническую и чувственную сферу Ариоста и Тасса. Мне кажется, ему всегда было мало одной только вокальной, физиологической прелести стиха и он боялся быть поработанным ею, чтобы не навлечь на себя печальной участи Тасса, его болезненной славы, его чудного позора.

Для тогдашней светской черни итальянская речь, слышимая из оперных кресел, была неким поэтическим щебетом. И тогда, как и сейчас, никто в России не занимался серьезно итальянской поэзией, считая ее вокальной принадлежностью и придатком к музыке.

Русская поэзия выросла так, как будто Данта не существовало. Это несчастье нами до сих пор не осознано. Батюшков – записная книжка нерожденного Пушкина – погиб оттого, что вкусил от тассовых чар, не имея к ним дантовой прививки.

[Начало первоначальной редакции „Разговора о Данте“ – ирли (Пушкинский Дом), ф. 630, ед. хр. 125; список рукой Н. Я. Мандельштам].

У Блока: Тень Данта с профилем орлиным о новой жизни мне поет...Ничего не увидел кроме гоголевского носа!!

Дантовское чучело из девятнадцатого века! Для того, чтобы сказать это самое про заостренный нос, нужно было обязательно не читать Данта!

Что же такое образ – орудие в метаморфозе скрещенной поэтической речи?

При помощи Данта мы это поймем. Но Дант нас не научит орудийности: он обернулся и уже исчез. Он самое орудие в метаморфозе свертывающегося и развертывающегося литературного времени, которое мы перестали слышать, но изучаем и у себя и на Западе как пересказ так называемых „культурных формаций“.

Здесь уместно немного поговорить о понятии так называемой культуры и задаться вопросом, так ли уж бесспорно поэтическая речь целиком укладывается в содержание культуры, которая есть не что иное, как соотносительное приличие задержанных в своем развитии и остановленных в пассивном понимании исторических формаций. [62] Любители понятия культуры втягиваются поневоле в круг, так сказать, неприличного приличия. Оно-то и есть содержание культурупоклонства, захлестнувшего в прошлом столетии университетскую и школьную Европу, отравившего кровь подлинным строителям очередных исторических формаций и, что всего обиднее, сплошь и рядом придающего форму законченного невежества тому, что могло бы быть живым, конкретным, блестящим, уносящимся и в прошлое и в будущее знанием.

Втискивать поэтическую речь в „культуру“ как в пересказ исторической формации несправедливо потому, что при этом игнорируется ее сырьевая природа. Вопреки тому, что принято думать, поэтическая речь бесконечно более сыра, бесконечно более неотделана, чем так называемая „разговорная“. С исполнительской культурой она соприкасается именно через сырье. Я покажу это на примере Данта и предварительно замечу, что нету момента во всей Дантовой „Комедии“, который бы прямо или косвенно не подтверждал сырьевой самостоятельности поэтической речи.

Узурпаторы папского престола могли не бояться звуков, которые насылал на них Дант, они могли быть равнодушны к орудийной казни, которой он их предал следуя законам поэтической метаморфозы, но разрыв папства как исторической формации здесь предусмотрен и разыгран, поскольку обнажилась, обнаружилась бесконечная сырость поэтического звучания, внеположного культуре как приличию, всегда не доверяющего ей, оскорбляющего ее своею настороженностью и выплевывающего ее, как полосканье, которым прочищено горло.

[Черновой набросок]

Существует средняя деятельность между слушаньем и произнесеньем. Эта деятельность ближе всего к исполнительству и составляет как бы его сердце. Незаполненный интервал между слушаньем и произнесеньем по существу своему идиотичен. Материал не есть материя.

[Из черновых записей]

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtamjoseph.ru
Ребенок у Данта – дитя, „il fanciullo“. Младенчество как философское понятие с необычайной конструктивной выносливостью.

Хорошо бы выписать из „Divina Commedia“ все места, где упоминаются дети.

А сколько раз он тычется в подол Вергилия – „il dolce padre“! Или вдруг посреди строжайшего школьного экзамена на седьмом этаже неба – образ матери в одной рубашке, спасающей дитя от пожара.

[Текст, исключенный автором из последней редакции „Разговора о Данте“].

Причина, почему их оскорбили бурсацкой кличкой „классиков“, заключается именно в том, что с ними нужно куда-то бежать по эллипсу динамического бессмертия, что пониманию нет границ, и это-то и заставляет бегать вокруг труда, подмигивать, искать молодого смысла старой мудрости уже не в книге, а в прищуренных зрачках...

[Из чернового текста „Разговора о Данте“].

Дант может быть понят лишь при помощи теории квант.

[фраза, исключенная автором из последней редакции „Разговора о Данте“].

..В ответе Вергилия самый вопрос Данта уже набухает. Со свойственной ему педагогической, профессорской зоркостью он отвечает на стимул к вопросу, выливая его из самой формулировки Данта. Все они, говорит Вергилий, будут прикрыты, гробницы будут опечатаны, когда воскресшая плоть этих персонажей согнанная трубой архангела на Страшный суд в долину Иосафата, вернется оттуда, но уже не в реальные могилы, а сюда – с костью и с мясом – и здесь приляжет к теням. Это удовольствие предстоит Эпикуру и его приверженцам.

[Из чернового текста „Разговора о Данте“]

То, что было сказано о множественности форм, применимо и к словарю. Я вижу у Данта множество словарных тяг. Есть тяга варварская – к германской шипучести и славянской какофонии; есть тяга латинская – то к „Dies irae“ и к „Benedictus qui venit“, то к кухонной латыни. Есть огромный порыв к говору родной провинции – тяга тосканская.

[Из черновых записей].

Вот вам пример. Песнь XXXII „Inferno“ внезапно заболевает варварской славянщиной, совершенно невыносимой и непотребной для итальянского слуха.

..Дело в том, что „Inferno“, взятый как проблематика, посвящен физике твердых тел. Здесь в различной социальной одежде – то в исторической драме, то в механике ландшафтного сновидения – анализируется тяжесть, вес, плотность, ускорение падающего тела, вращательная инерция волчка, действие рычага и лебедки и наконец человеческая походка, или поступь, как самый сложный вид движения, регулируемый сознанием. (Мысль принадлежит Б. Н. Бугаеву).

Чем ближе к центру Земли, то есть к Джудекке, тем сильнее звучит музыка тяжести, тем разработаннее гамма плотности и тем быстрее внутреннее молекулярное движение, образующее массу.

[Из чернового текста „Разговора о Данте“].

Дант никогда не рассматривает человеческую речь как обособленный разумный остров. Словарные круги Данта насквозь варваризованы. Чтобы речь была здорова, он всегда прибавляет к ней варварскую примесь. Какой-то избыток фонетической энергии отличает его от прочих итальянских и мировых поэтов, как будто он не только говорит, но и ест и пьет, то подражая домашним животным, то писку и стрекоту насекомых, то блеющему старческому плачу, то крику пытаемых на дыбе, то голосу женщин-плакальщиц, то лепету двухлетнего ребенка.

фонетика употребительной речи для Данта лишь пунктир, условное обозначение.

[Из черновых записей].

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru
Вопросы и ответы „путешествия с разговорами“, каким является „Divina Commedia“, поддаются классификации. Значительная часть вопросов складывается в группу, которую можно обозначить знаком: „Ты как сюда попал?“. Другая группа встречных вопросов звучит приблизительно так: „что новенького во Флоренции?“

Первый тур вопросов и ответов обычно вспыхивает между Дантом и Вергилием. Любопытство самого Данта, его вопрошательский зуд обоснован всегда так называемым конкретным поводом, той или иной частностью. Он вопрошает лишь, будучи чем-нибудь ужален. Сам он любит определять свое любопытство то стрекалом, то жалом, то укусом и т. д. Довольно часто употребляет термин „il morso“, то есть укусы.

[Текст, исключенный автором из последней редакции „Разговора о Данте“].

Сила культуры – в непонимании смерти, – одно из основных качеств гомеровской поэзии. Вот почему средневековые льнули к Гомеру и боялись Овидия.

[Из чернового текста „Разговора о Данте“]

Необходимо создать новый комментарий к Данту, обращенный лицом в будущее и вскрывающий его связь с новой европейской поэзией.

...Принято думать, что Дант часовщик, строитель планетария с внепространственным центром – эмпиреем разливающим силу и качество через посредство круга с неподвижными звездами по семи прочим плавающим сферам. Не говоря уже о том, что дантовский планетарий в высшей степени далек от концепции механических часов, потому что перводвигатель хрустальной инженерной машины работает не на трансмиссиях и не на зубчатых колесах, а неумолимо переводя силу в качество, не говоря уж об этом... Сам перводвигатель уже не есть начало, а лишь передаточная станция, коммуникатор, проводник... Следующее небо, к которому пригвождены неподвижные звезды, отличные от своей сферы, но вкрапленные в нее, разливает по этим звездам зарядку бытия, полученную от перводвигателя, то есть распределителя. Семь прочих подвижных сфер имеют внутри себя уже качественно расчлененное бытие, которое служит стимулом к многообразному происхождению конкретной действительности. И подобно тому, как единый виталистический поток создает для себя органы – слух, глаз, сердце – конкретизирующие сферы являются рассадниками качеств, внедренных в материю.

Обратили ли внимание на то, что в дантовой Комедии автору никак нельзя действовать, что он обречен лишь идти, погружаться, спрашивать и отвечать?

Но в основе композиции десятой /всех/ песен Inferno лежит движение грозы, созревающей как метеорологическое явление, и все вопросы и ответы вращаются по существу вокруг единственной стороны – был или не был гром.

Точнее, это движение грозы, проходящей мимо и обходной стороной.

У итальянцев тогдашних было сильно развито городское любопытство. Сплетни флорентийские солнечным зайчиком пробегали из дома в дом, а иногда через покатые холмы из города в город. Каждый сколько-нибудь заметный гражданин – булочник, купец, кавалерствующий юноша...

Действительные тайные советники католической иерархии – сами апостолы, и что стоит перед ними не потерявшийся или раскричавшийся от зеленой гордости или чаемой похвалы школяр, но важный бородатый птенец, каким себя рекомендует Дант, – обязательно бородатый – в пике Джотто и всей европейской традиции.

[Из первоначальной редакции „Разговора о Данте“ ирли, ф. 630, ед. хр. 125]

– Я сравниваю – значит я живу, – мог бы сказать Дант. Он был Декартом метафоры. Ибо для нашего сознания (а где взять другое?) только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение.

[Из черновых записей].

Позвольте мне привести наглядный пример, охватывающий почти всю „Комедию“ в целом.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru
Inferno – высший предел урбанистических мечтаний средневекового человека. Это в полном смысле слова мировой город. Что перед ним маленькая Флоренция с ее „bella cittadinanza“, поставленной на голову новыми порядками, ненавистными Данту! Если на место Inferno мы выдвинем Рим, то получится не такая уж большая разница. Таким образом, пропорция Рим – Флоренция могла служить порывообразующим толчком, в результате которого появился „Inferno“.

[Из чернового текста „Разговора о Данте“]»

Записи и отрывки Неизвестных лет

..Прообразом исторического события – в природе служит гроза. Прообразом же отсутствия событий можно считать движение часовой стрелки по циферблату. Было пять минут шестого, стало двадцать минут... Схема изменения как будто есть, на самом деле ничего не произошло. Как история родилась, так может она и умереть; и, действительно, что такое, как не умирание истории, при котором улетучивается дух события, – прогресс, детище девятнадцатого века? Прогресс – это движение часовой стрелки, и при всей своей бессодержательности это общее место представляет огромную опасность для самого существования истории. Всмотримся пристально вслед за Тютчевым, знатоком жизни, в рождение грозы. Никогда это явление природы в поэзии Тютчева не возникает как только...

.....
[Отрывок из неразысканной статьи] [?]

Я утверждаю, что множество молодых поэтов училось на стихах «Огонька», «Красной Нивы» и «Прожектора» в гораздо большей степени, чем у так называемых классиков и мастеров. Существуют ученики безответственных оборотней, профессиональных путаников и поставщиков неопределенной, подлаживающейся, уродливой сдельщины.

Большинство новых эмоций никем еще не выражено. Иной начинающий поэт сознает историческую правоту своего поколения. Но что же ему делать в этой правильности? Только ли поддакивать и кричать: верно? Конечно, нет! С радостью отмечаю, что у некоторых поэтов есть свой подход к миру, начатки своей лирической темы...

Записи 1935–1936 годов

Когда писатель вменяет себе в долг во что бы то ни стало «трагически вещать о жизни», но не имеет на своей палитре глубоких контрастирующих красок, а главное – лишен чутья к закону, по которому трагическое, на каком бы маленьком участке оно ни возникало, неизбежно складывается в общую картину мира, – он дает «полуфабрикат» ужаса или косности – их сырье, вызывающее у нас гадливое чувство и больше известное в благожелательной критике под ласковой кличкой «быта».

Внимание – доблесть лирического поэта, растрепанность и рассеянность – увертки лирической лени.

«Изменническая лирика», или стихотворения о любви

Мадригал

Кн. Андрониковой

Дочь Андроника Комнена,

Византийской славы дочь!

Помоги мне в эту ночь

Солнце выручить из плена,

Помоги мне пышность тлена

Стройной песнью превозмочь,

Дочь Андроника Комнена,

Византийской славы дочь!

1916

Соломинка

I

Когда, Соломинка, не спишь в огромной спальне

И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,

Спокойной тяжестью – что может быть

печальней –

На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,

Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,

Сломалась милая соломка неживая,

Не Саломея, нет, соломинка скорей.
В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их – такая тишина, –
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.
Нет, не Соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невою,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.
Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не Соломинка – Лигейя, умиранье, –
Я научился вам, блаженные слова.

II

Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.
Декабрь торжественный сияет над Невою.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не Соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.
В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь.
А та – Соломинка, быть может – Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь.

1916

* * *

Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,
С певучим именем вмешался...
Но все растаяло – и только слабый звук
В туманной памяти остался.
Сначала думал я, что имя – серафим,
И тела легкого дичился,
Немного дней прошло, и я смешался с ним
И в милой тени растворился.
И снова яблоня теряет дикий плод,
И тайный образ мне мелькает,
И богохульствует, и сам себя клянет,
И угли ревности глотает.
А счастье катится, как обруч золотой,
Чужую волю исполняя,
И ты гоняешься за легкою весной,
Ладонью воздух рассекая.
И так устроено, что не выходим мы
Из заколдованного круга;
Земли девической упругие холмы
Лежат спеленатые туго.

1920

* * *

Вере Аркадьевне Судейкиной
Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
– Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела.
Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки – идешь, никого не заметишь –
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни:
Далеко в шалаше голоса не поймешь, не ответишь.
После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы на окнах опущены темные шторы,
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.
Я сказал: виноград как старинная битва живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке.
В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.
Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена –
Не Елена – другая – как долго она вышивала?
Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный
11 августа 1917, Алушта.

* * *

Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.
Я больше не ревную,
Но я тебя хочу,
И сам себя несу я,
Как жертву палачу.
Тебя не назову я
Ни радость, ни любовь,
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.
Еще одно мгновенье,
И я скажу тебе:
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный в смятенье
Вишневый нежный рот.
Вернись ко мне скорее,
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя,
И все, чего хочу я,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову.

1920

* * *

Чуть мерцает призрачная сцена,
Хоры слабые теней,
Захлестнула шелком Мельпомена
Окна храмины своей.
Черным табором стоят кареты,
На дворе мороз трещит,
Все космато: люди и предметы,
И горячий снег хрустит.
Понемногу челядь разбирает
Шуб медвежьих вороха.
В суматохе бабочка летает,
Розу кутают в меха.
Модной пестряди кружки и мошки,
Театральный легкий жар,
А на улице мигают плошки
И тяжелый валит пар.
Кучера измаялись от крика,
И храпит и дышит тьма.
Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас студеная зима.
Слаще пенья итальянской речи
Для меня родной язык,
Ибо в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник.
Пахнет дымом бедная овчина.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru

От сугроба улица черна.
Из блаженного, певучего притина
К нам летит бессмертная весна;
Чтобы вечно ария звучала:
«Ты вернешься на зеленые луга», –
И живая ласточка упала
На горячие снега.

1920

* * *

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.
Не отвязать не прикрепленной лодки,
Не услышать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.
Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.
Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина – дремучий лес Тайгета,
Их пища – время, медуница, мята.
Возьми ж на радость дикий мой подарок,
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

Ноябрь 1920

* * *

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы, –
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать.
Как я ненавижу пахучие, древние срубы!
Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатými пилами в стены вгрызаются крепко;
Никак не уляжется крови сухая возня –
И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.
Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел?
Зачем преждевременно я от тебя оторвался?
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.
Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные ребра,
Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла,
И трижды приснился мужам соблазнительный образ.
Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.
Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серую ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,
На стогнах шершавых от долгого сна шевелится.

Ноябрь 1920

* * *

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы..
Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru

Слышу легкий театралный шорох
И девическое «ах» –
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.
Где-то грядки красные партера,
Пышно взбиты шифоньерки лож;
Заводная кукла офицера;
Не для черных душ и низменных святош.
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи
В черном бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.
25 ноября 1920

* * *

Жизнь упала, как зарница,
Как в стакан воды ресница.
Иzolгавшись на корню,
Никого я не виню...
Хочешь яблока ночного,
Сбитню свежего, крутого,
Хочешь, валенки сниму,
Как пушинку подниму.
Ангел в светлой паутине
В золотой стоит овчине,
Свет фонарного луча –
До высокого плеча.
Разве кошка, вострепнувшись,
Черным зайцем обернувшись,
Вдруг простегивает путь,
Исчезая где-нибудь...
Как дрожала губ малина,
Как поила чаем сына,
Говорила наугад,
Ни к чему и невпопад.
Как нечаянно запнулась,
Иzolгалась, улыбнулась –
Так, что вспыхнули черты
Неуклюжей красоты.

—
Есть за куколем дворцовым
И за кипенем садовым
Заресничная страна, –
Там ты будешь мне жена.
Выбрав валенки сухие
И тулупы золотые,
Взявшись за руки, вдвоем
Той же улицей пойдем,
Без оглядки, без помехи
На сияющие вежи –
От зари и до зари
Налитые фонари.
1925

«Из табора улицы темной...»
Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным за мельничным шумом...
Я только запомнил каштановых прядей осечки,
Придымленных горечью – нет, с муравьиной кислинкой,
От них на губах остается янтарная сухость.
В такие минуты и воздух мне кажется карим,
И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой;
И то, что я знаю о яблочной розовой коже...
Но все же скрипели извозчицких санок полозья,
В плетенку рогожи глядели колючие звезды,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
И били вразрядку копыта по клавишам мерзлым.
И только и свету – что в звездной колючей неправде,
А жизнь проплывет театрального капора пеной,
И некому молвить: «из табора улицы темной...»
1925

* * *

На мертвых ресницах Исакий замерз
И барские улицы сини –
Шарманщика смерть, и медведицы ворс,
И чужие поленья в камине...
Уже выгоняет выжлятник-пожар
Линеек раскидистых стайку,
Несется земля – мебелированный шар, –
И зеркало корчит всезнайку.
Площадками лестниц – разлад и туман,
Дыханье, дыханье и пенье,
И Шуберта в шубе застыл талисман –
Движенье, движенье, движенье...
3 июня 1935

* * *

Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчужденьи и в силе,
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле.
И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели.
И прадеда скрипкой гордился твой род,
От шейки ее хорошея,
И ты раскрывала свой аленький рот,
Смеясь, итальянсья, русея...
Я тяжкую память твою берегу –
Дичок, медвежонок, Миньона, –
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.
3 июня 1935, 14 декабря 1936

* * *

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч, –
Усмирен мужской опасный нор, –
Не звучит утопленница-речь.
Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры. На, возьми
Их – бесшумно окающих ртами, –
Полухлебом плоти накорми.
Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.
Взмахом бровки мечен путь опасный.
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ?
Не серчай, турчанка дорогая,
Я с тобой в глухой мешок зашыюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.
Ты, Мария – гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить, уснуть.
Я стою у твердого порога. Уходи.
Уйди. Еще побудь...
Февраль 1934. Москва

* * *

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.
Твоим детским рукам уюги поднимать,
Уюги поднимать да веревки вязать.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru

Твоим нежным ногам по стеклу босиком,
По стеклу босиком да кровавым песком.
Ну а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.
1934.

* * *

Я к губам подношу эту зелень –
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков.
Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?
А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочную выдумкой пар.
30 апреля 1937 г.

* * *

Клейкой клятвой липнут почки,
Вот звезда скатилась –
Это мать сказала дочке,
Чтоб не торопилась.
– Подожди, – шепнула внятно
Неба половина,
И ответил шелест скатный:
– Мне бы только сына...
Стану я совсем другою
Жизнью величаться.
Будет зыбка под ногою
Легкою качаться.
Будет муж, прямой и дикий,
Кротким и послушным,
Без него, как в черной книге,
Страшно в мире душном...
Подмигнув, на полуслове
Запнулась зарница.
Старший брат нахмурил брови.
Жалится сестрица.

* * *

I

К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет – чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И, может статься, ясная догадка
В ее походке хочет задержаться –
О том, что эта вешняя погода
Для нас – прагматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.
4 мая 1937 г.

II

Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших – их призванье.
И ласки требовать у них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня – ангел, завтра – червь могильный,
А послезавтра – только очертанье...
Что было – поступь – станет недоступно...
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И всё, что будет, – только обещанье.
4 мая 1937 г.

Приложение Воспоминания. Эссе

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
М. Цветаева. История одного посвящения
Равенство дара души и глагола – вот поэт.

Марина Цветаева
Дорогому другу Е. А. И. –

запоздалый свадебный подарок.

М. Ц.

1. Уничтожение ценностей

Уезжала моя приятельница в дальний путь, замуж за море. Целые дни и вечера рвали с ней и жгли, днем рвали, вечером жгли, тонны писем и рукописей. Беловики писем. Черновики рукописей. – «Это беречь?» – «Нет, жечь». – «Это жечь?» – «Нет, беречь». «Жечь», естественно, принадлежало ей, «беречь» – мне, – ведь уезжала она. Когда самой не жглось, давала мне. Тогда защитник становился исполнителем приговора.

Гори, гори ясно,
чтобы не погасло!

Глянь-ка на небо:

Птички летят!

Небо – черный свод камина, птички – черные лохмы истлевшей бумаги. Адовы птички. Небосвод, в аду, огнесвод.

Трещит очередной комок довоенной, что то же – извечной: и огонь не берет! – прохладной, как холст, скрипучей, как шелк, бумаги в кулаке, сначала в кулаке, потом в огне, еще выше растет, еще ниже оседает над и под каминной решеткой лохматая гора пепла.

– А какая разница: пепел и зола! Что чище? (сравнительная степень) последнее?

– Пепел, конечно, – золой еще удобряют.

– Так из этого, видите черное? и видите серое? что – пепел? и что – зола?

В горсти, черным по белому пустого бланка, – «Министерство иностранных дел».

– Мы с вами сейчас министерство не иностранных дел, а – внутренних!

– Не иностранных, а огненных! А еще помните в Москве: огневая сушка Прохоровых?

Суши, суши сухо,
чтобы не потухло!

Рвем. Жжем. Все круче комки, все шибче швырки, диалог усыхает. Беречь? Жечь? Знаю, что мое беречь уже пустая примолвка губ, знаю, что сожгу, жгу, не дождавись: жечь! Что это я, ее или свое, ее или себя – жгу? И – кто замуж выходит за море? Через красное море сожженного, сжигаемого, – сожженным быть – должного. Тихий океан – что! Canadian Pacific? С места не встав!

– Вы к жениху через огненное море едете!

«Когда ее подруги выходили замуж, она оплакивала их в свадебных песнях» – так я впервые услышала о той, первой, от своего первого взрослого друга, переводчика Гераклита – рекшего: «В начале был огонь».

Брак – огонь – подруга – песня – было – будет – будет – будет.

Рраз! как по команде, поворот всего тела и даже кресла: замечтавшись, вовремя не отвела колен. Руки знали свое, ноги – забыли, и вот, ошпаренная огнем, приноживаюсь, прожгла или нет то, что дороже кожи!

Папки, ящики, корзины, портфели, плакары, полки. Ключья, ключья, ключья. Сначала белые, потом черные. Посередке решетки кавказское, с чернью, серебро: зола.

Брала истлевшие листы
И странно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Тело писателя – рукописи. Горят годы работы. Та только письма – чужое остывшее сердце, мы – рукописи, восемнадцатилетний труд своих рук – жжем!

Но <...> чего не могу жечь, так это – белой бумаги. Чтобы понять (меня – другому), нужно только этому другому себе представить, что эта бумажка – денежный знак. И дарю я белую бумагу так же скрепя сердце, как иные – деньги. Точно не тетрадку дарю, а все в ней написавшееся бы. Точно не пустую тетрадку дарю, а полную – бросаю в огонь! Точно именно от этой тетрадки зависела – никогда уж не имеющая быть – вещь. «Вот деньги, походи и купи себе, а мою не трогай!» – под этот припев выросла моя дочь и вырастет сын. Впрочем, голод на белую бумагу у меня до-германский и до-советский: все мое детство, до-школьное, до-семилетнее, все мое младенчество – сплошной крик о белой бумаге. Утаенный крик. Больше взгляд, чем крик. Почему не давали? Потому что мать, музыкантша, хотела и меня такой же. Потому что считалось (шесть лет!), что пишу плохо – «и Пушкин писал вольными размерами, но у нее же никакого размера нет!» (NB! не предвосхищение ли всей эмигрантской критики?)

Круглый стол. Семейный круг. На синем сервизном блюде воскресные пирожки от Бартельса. По одному на каждого.

– Дети! Берите же!

Хочу безе и беру эклер. Смущенная яснозрящим взглядом матери, опускаю глаза и совсем проваливаю их, при:

Ты лети мой конь ретивый
Чрез моря и чрез луга
И потряхивая гривой
Отнеси меня туда!

– Куда – туда? – смеются: мать (торжествующе: не выйдет из меня поэта!), отец (добродушно), репетитор брата, студент-уралец (го-го-го!), смеется на два года старший брат (вслед за репетитором) и на два года младшая сестра (вслед за матерью); не смеется только старшая сестра, семнадцатилетняя институтка Валерия – в пику мачехе (моей матери). А я – я, красная, как пион, оглушенная и ослепленная ударившей и забившейся в висках кровью, сквозь закипающие, еще не проливающиеся слезы – сначала молчу, потом – ору:

– Туда – далёко! Туда – туда! И очень стыдно воровать мою тетрадку и потом смеяться!

(Кстати, приведенный отрывок явно отзвук пушкинского: «Что ты ржешь, мой конь ретивый», – с несомненным – моря и луга – копытным следом ершовского Конька-Горбунка. Что в нем мое? Туда.)

А вот образец безразмерных стихов:

Она ушла, бросая мне холодный взгляд,
Ни слезы не пролила. О я несчастный,
Что верил я пустым ее словам!
Она так сладостно смеялась,
Она так нежно говорила, что я тебя люблю.
Ее голосок звучал так звонко.
Так нежно звучал ее голосок
Кто бы сказал, что она не исполнит
Сердца заветный зарок?
Да, она мне обещала
Меня одного любить,
А на другого променяла.
Так ли должно было быть?
А это – откуда? Смесь раннего Пушкина и фельетона – как сейчас вижу на черном зеркале рояля – газеты «Курьер».

Из-за таких стихов (мать, кроме всего, ужасалась содержанию, почти неизменно любовному) и не давали (бумаги). Не будет бумаги – не будет писать. Главное же – то, что я потом делала с собой всю жизнь – не давали потому, что очень хотелось. Как колбасы, на которую стоило нам только взглянуть, чтобы заведомо не получить. Права на просьбу в нашем доме не было. Даже на просьбу глаз. Никогда не забуду, впрочем, единственного – потому и не забыла! – небывалого случая просьбы моей

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru четырехлетней сестры – матери, печатными буквами во весь лист рисовальной тетради (рисовать – дозволялось): «Мама! Сухих плодов пожаласта», – просьбы безмолвно подsunутой ей под дверь запертого кабинета. Умиленная то ли орфографией, то ли карамзинским звучанием (сухие плоды), то ли точностью перевода с французского (fruits secs), а скорее всего не умиленная, а потрясенная неслыханностью дерзания, – как-то сробевши – мать – «плоды» – дала. И дала не только просительнице (любимице, Nesthäck-chen) [63], но всем: нелюбимице – мне и лодырю-брату. Как сейчас помню: сухие груши. По половинке (половинки) на жаждущего (un quart de poir la soif)[64]

Моя мать умерла в моем нынешнем возрасте. Узнаю, во всем, кроме чужих просьб, – ее в себе, в каждом движении души и руки. Так же хочу, чтобы дочь была поэтом а не художником (мать – музыкантом, а не поэтом), так же всего требую от своих и ничего от чужих, так же – если бы я была книга, все строки бы совпадали.

Не могу не закончить заключительным (трагическим!) стихотворением первой моей детской тетради. Рисунок: я за письменным столом. Лицо – луна, в руке перо (гусиное) – и не перо, а целое крыло! – линия стола под самым подбородком, зато из-под стола аистовой длины и тонизны ноги в козловых (реализм!) сапогах с ушами. Под рисунком подпись: «Марина Цветаева за сочиненьями».

Конец моим милым сочиненьям
Едва ли снова их начну
Я буду помнить их с забвеньем
Я их люблю.
– Вы никогда не писали плохих стихов?

– Нет, писала, только – все мои плохие стихи написаны в дошкольном возрасте.

Плохие стихи – ведь это корь. Лучше отболеть в младенчестве.

Пустая тетрадь! Оду пустой тетради! Белый лист без ничего еще, с еще – уже – всем!

Есть у немцев слово Scheu, с частым эпитетом heilige – вроде священного трепета – непере译имое. Так именно эту священную Scheu я по сей день испытываю при виде пустого листа. – Несмотря на пуды исписанных? – Да. – С каждой новой тетрадь – заново. Будет тетрадь – будут стихи. Мало того, каждая еще пустая тетрадь – живой укор, больше: приказ. (Я-то – есть, а ты?) Хотите больших вещей – дарите большие тетради.

Но – бумажной голод младенчества! – по сей день не решаюсь писать в красивых, кожаных и цветочных, даримых знакомыми для «черновиков». (Свои-то – знают!) Сколькo у меня их, одних пражских, по старинным образцам, из драгоценной, с рваным краем, бумаги.

Первое чувство: недостойна! Второе: в такой тетради ничего не напишу, – страх дурного глаза, паралича роскоши; третье, уже вполне мысленное: писать в сафьяне то же самое, что пахать в атласе – не дело, игра в дело, дилетантизм, безвкусице.

(Пари держу, что большинство плохих стихов написаны в сафьяновых тетрадях, купленных – имущественное положение ни при чем – может быть, на последние деньги, равно как и персидский халат, в котором это священнодействие совершается – чтобы хоть чем-нибудь восполнить сплошную прореху дара. А Пушкин писал в бане, на некрашеном столе. – Да. – И исписанные листы швырял под стол. Но – будь у вас и баня, и некрашеный стол, под который швырять, – и это не поможет. Придет Время и сметет метлой.)

Словом, либо сафьян – либо я. Тот же отскок, что – от ни разу не надетых и еще до Революции неизвестно куда девавшихся бриллиантов. Так и лежат (сафьяны) в ожидании дня, когда я буду не я. А стопа синих, конторских, весом в пуд – растет. В России, до Революции, у меня были почтальонские, из сурового холста, с завязками (для расписок). В Революцию – самосшивные, из краденой (со службы) бумаги, красным английским чернилом – тоже краденым.

Не знаю, как другие пишушие, – меня советский бумажный голод не потряс: как в младенчестве: вожделела – и воровала.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Но – из колыбели в горящий камин (именно в). В начале сожжения – ожесточенный
торг.

– Как – это – жечь?

– Ну, конечно: первый черновик перевода «Обломова»!

– Да я не о написанном, я о белой бумаге говорю!

– На что она вам?

Я, по кратчайшей правдоподобия:

– Рисовать – Муру.

Словом, к стыду – или не к стыду? – пишущего в себе, не рукописи выручала –
руками – из огня, а белую бумагу. Возможность рукописи.

Сначала приятельница, принимая за шутку, оспаривала, но поняв наконец – по
непривычной грубости моих интонаций: «Сожгли? Сожгли?!» – что никакой тут игры
нет – присмирив – и из деликатности не выясняя – покорно стала откладывать в мою
сторону все более или менее белое.

– Жечь. Жечь. А вот это – вам. Иногда, с сомнением: – И чековую книжку вам?

– Да, если пустая.

– Но если каждый листок разбирать, мы никогда не кончим – и я никогда не выйду
замуж!

Я, с равнодушием вышедшей:

– Каждый листок.

Так, на живом опыте Е. А. И. – какая помеха иногда чужая помощь! Какой тормоз
брачному паровозу – руки дружбы!

Есть, впрочем, в этом бумагопоклонстве еще нечто, кроме личной обиды детства.
Простонародное: такому добру – да даром пропадать? Кто-то эту бумагу делал, над
ней старался, этой бумаги не было – она стала. Для чего? Чтобы через дерзкий
швырок рук – опять, вспять – не быть? Кроме крестьянского, чисто
потребительского ценения вещи – рабочий, творческий вопль против уничтожения
ценностей. Защита – нет: самозащита труда.

И надо всем – не было, стала, опять не быть?! – исконный бой поэта – небытию.

Я – страница твоему перу,
Все приму: я – белая страница.

Я – хранитель твоему добру;
Возращу и возвращу сторицей.

Я деревня, черная земля.

Ты мне луч и дождевая влага.

Ты – Господь и Господин, а я –
Чернозем – и белая бумага!

Сознавала ли я тогда, в восемнадцатом году, что, уподобляя себя самому
смиренному (чернозем и белая бумага), я называла – самое великое: недра
(чернозем) и все возможности белого листа? Что я, в полной бесхитростности
любящей, уподобляла себя просто – всему? Сознавала ли я и – сознавал ли он?

1918 год – 1931 год. Одна поправка: так говорить должно только к богу. Ведь это
же молитва! Людям не молятся. Тринадцать лет назад я этого еще – нет, знала! –
упорно не хотела знать. И – раз навсегда – все мои такие стихи, все вообще такие
стихи обращены к богу. (Недаром я – вовсе не из посмертной женской гордости, а
из какой-то последней чистоты совести никогда не проставляла посвящений.) –
Поверх голов – к богу. По крайней мере – к ангелам. Хотя бы по одному тому, что
ни одно из этих лиц их не приняло, – не присвоило, к себе не отнесло, в получке
не расписалось. Так: все мои стихи к богу если не обращены, то: возвращены.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru
В конце концов – допишешься до бога!

Бог (тот свет) – наш опыт с этим. Всё отшвыривает.

– Ну, уж этого я вам хранить не дам! На что будет похож ваш дом, если каждую бумажку...

Это моя кроткая приятельница вознегодовала, и, разом, полный передник... (мы обе в передниках, она – полугерманского происхождения, я вполне германского воспитания).

– Мое? Мое?!

– Да не ваше вовсе – и не мое – сочинения одного старичка, который прислал мне их, умоляя напечатать, – читала: ужасно! – и тут же умер...

– Ка-ак? Вы мертвого старичка жжете?

– Я десять лет их берегла, наследников нет, не везти же с собой замуж! И уверяю вас, Марина Ивановна, что даже белые листы из его сочинений vous porte-raient malheur! [65]

– Ну, бог со старичком! Если явится – так вам. А это что – жжете?

– А это старушки одной, генеральши, перевод – для собственного удовольствия – лермонтовского «Демона» в прозе. Тоже «напечатать»...

– Тоже померла?

– Нет, жива, но совсем впала в детство...

– Жечь старушку!

– Передохнем? А то – пожар!

– Пусть дом сгорит – вашим свадебным факелом!

Дом – знаменитый в русской эмиграции, 1, Avenue de la Gare, всеэмигрантские казармы, по ночам светящиеся, как бал или больница, каждое окно своей бессонницей, дом, со всех семи этажей которого позднему прохожему на плечи – как ливень – музыка, из каждого окна своя (vous ne dormez donc jamais?) [66] – струнная – духовая – хоровая – рояльная – сопранная – младенческая – русская разногласица тоски. Дом, где каждый день умирают старые и рождаются новые, весь в крестинах и похоронах, с невыходящим священником и невыходящим почтальоном (и кому это вы всё пишете?). Дом, где никогда никого не застанешь, потому что все в гостях – в доме же, где Иванов никогда не застаёт Петрова, потому что Петров у Иванова, дом с живыми ступеньками ног, лестницами шагов. Дом – с Рождеством, сияющим до масленицы, и с масленицей, расплескивающейся до Пасхи – ибо всегда кто-то (болезнь, безденежье) запаздывает и – допраздновывает – сплошной Новый Год, сплошное христосование, на последнюю (1931 год) Пасху весь разом снявшийся – по трем медонским, одной кламарской, пяти парижским церквам (хоть одному богу – да врозь!) и, несмотря на разность расстояний и верований, весь разом ввалившийся со свечами и поцелуями – за поздним часом не спавший вовсе, дом, на следующее утро весь в записках – «Христос Воскресе!» Мы у вас –

Дом, где по одной лестнице так спешат друг к другу, что никогда не встречаются. Неодушевленный предмет, одушевленный русскими душами. Форт, где до утра не закрываются двери. Крепость – настезь! Поющий, вопиющий, зывающий и глаголящий, ставший русским дом 1, авеню Де-ля-Гар.

Сколько жжем? Час? Три? На ломберном (от карточной игры l'ombre) столе стынет чай в серебряных кувшинчиках. До воды ли, когда о – гонь? А с огнем неладное: рвет из рук, не дожидаясь подачи <...>

И с нами неладное – уже никаких беречь и никаких жечь – просто жжем не разбирая, даже не разрывая, полными горстями и листами. Секундами – уколы того, что было совестью: «А вдруг – нужно?» Но и уколам конец. Непроницаемость каминного мрамора. Гляжу на ее лицо, пляшущее красными языками, как и собственное мое. И

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandel'shtamjoseph.ru
слышу рассказ владимирской няньки Нади:

– У нас, барыня, в деревне мужик был, все жег. Режут хлеб – счистит со стола крошки – и жгет. Куру щиплют – жгет. И всякий сор. А когда и не сор, когда очень даже нужное. Все – жег. Богу – слава.

...Если огонь дикарь, то и мы дикари. Огонь огнепоклонника уподобляет себе.

Не знаю – она, я – цинически жгу. «Глядите, Е. А., красота какая! Венеция?» И не дав, ей взглянуть – в печь. Целые связки писем, в лентах («faveurs»). А счетов! А чековых книжек! А корректур, тщательных, где каждое слово значило, где в данную секунду значило только оно <...>

Рывки, швырки, сине-красная свистопляска пламени, нырок вниз, за очередным довольством бога, пустеющие папки, невмещающая решетка и –

– Который час? Как?? Да ведь мне год как нужно быть дома!

Насилу оторвавшись (тот же дикарь от миссионера), бегу, огненных дел мастер – нет, с вертела сорвавшаяся дичь! – копчено-оленьими коленями и лососинными ладонями, в дыму, пламени, золе и пепле чужой – чужих жизней – ибо три поколения жжем (здесь жгем!) – слепая от огня и ликующая, как он сам – бегу по – когда белому, когда черному, был день по лунно-затменному – Мёдону – домой, к тетрадам, к детям – к строительству жизни.

Но – чего-то явно не хватает. Рукам не хватает. (И глазам! И ноздрям!) Что-то нужно сделать, скорей сделать, сейчас сделать. Писать? Отскок от стола. Обед варить? Тот же отскок от стола другого.

И – знаю!

Ибо не дано безнаказанно жечь чужую жизнь. Ибо – чужой жизни – нет.

Мои папки, ящики, связки, корзинки, полки. То на полу, на коленях и локтях, то на столе, на носках, «пуантах». Руки то вгребаются; то, вытянутые, удерживают неудержимо ползущее в них сверху. Держу подбородком и коленом, потяжелевшая на пуд бумаги соскакиваю с двухаршинной высоты, как в пропасть.

Мой советник, мой тайный советник – дочь.

– Мама, не жгите!

– Пусть, пусть горит.

– Мама, вы что-то нужное жжете. Вырезка какая-то Может быть, о вас?

– О мне так долго не пишут. фельетон целый. Что это может быть?

Подношу к глазам. Двустипшие. Губы, опережая глаза, произносят:

Где обрывается Россия

Над морем черным и глухим.

2. Город Александров, Владимирской губернии
Александров. 1916 год. Лето.

Город Александров, Владимирской губернии, он же Александровская Слобода, где Грозный убил сына.

Красные овраги, зеленые косогоры, с красными на них телятами. Городок в черемухе, в плетнях, в шинелях. Шестнадцатый год. Народ идет на войну.

Город Александров, Владимирской губернии, моей губернии, ильи Муромца губернии. Оттуда – из села Талицы, близь города Шуи, наш цветаевский род. Священнический. Оттуда – Музей Александра III на Волхонке (деньги Мальцева, замысел и четырнадцатилетний безвозмездный труд отца), оттуда мои поэмы по две тысячи строк и черновики к ним – в двадцать тысяч, оттуда у моего сына голова, не

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
вмещающаяся ни в один головной убор. Большеголовые все. Наша примета.

Оттуда – лучше, больше чем стихи (стихи от матери, как и остальные мои беды) –
воля к ним и ко всему другому – от четверостишия до четырехпудового мешка,
который нужно – поднять – что! – донести.

Оттуда – сердце, не аллегория, а анатомия, орган, сплошной мускул, сердце,
несущее меня вскачь в гору две версты подряд – и больше, если нужно, оно же
падающее и опрокидывающее меня при первом вираже автомобиля. Сердце не поэта, а
пешехода. Пешее сердце, только потому не мрущее на катящихся лестницах и лифтах,
что их обскакивающее. Пешее сердце всех моих лесных предков от деда о. Владимира
до прапращура Ильи.

Оттуда – ноги, но здесь свидетельство очевидца. Вандея, рыбный рынок, я с
рыбного рынка, две рыбачки. «Сomme elle court, mais comme elle court, cette
dame!» – «Laisse-la donc courir, elle finira bien par s'arrêter!»[67]

(С сердцем.)

Оттуда (село Талицы, Владимирской губернии, где я никогда не была), оттуда –
все.

Город Александров, Владимирской губернии. Домок на закраине, лицом, крыльцом в
овраг. Домок деревянный, бабь-ягинский. Зимой – сплошная печь (с ухватками, с
шестками!), летом – сплошная дичь: зелени, прущей в окна.

Балкон (так напоминающий плетень!), на балконе на розовой скатерти – скатёрке –
громадное блюдо клубники и тетрадь с двумя локтями. Клубника, тетрадь, локти –
мои.

1916 год. Лето. Пишу стихи к Блоку и впервые читаю Ахматову.

Перед домом, за лохмами сада, площадка. На ней солдаты учатся – стрельбе.

Вот стихи того лета:

Белое солнце и низкие, низкие тучи,
Вдоль огородов – за белой стеною – погост.
И на песке вереницы соломенных чучел
Под перекладинами в человеческий рост.
И, перевесившись через заборные колья,
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд.
Старая баба – посыпанный крупной солью
Серый ломоть у калитки жует и жует...
Чем прогневили тебя эти серые хаты,
Господи – и для чего стольким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завывали солдаты,
И запыхал, запыхал отступающий путь...
Нет, умереть! никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах. – Ох, и поют же
Нынче солдаты! О, господи боже ты мой!
(Александров, 3 июля 1916 г.)

<...> Махали, мы – платками, нам – фуражками. Песенный вой с дымом паровоза
ударяли в лицо, когда последний вагон давно уже скрылся из глаз.

Помню, меньше чем год спустя (март 1917 г.), в том же Александрове, денщик –
мне:

– Читал я вашу книжку, барыня. Все про аллеи да про любовь, а вы бы про нашу
жизнь написали. Солдатскую. Крестьянскую.

– Но я не солдат и не крестьянин. Я пишу про что знаю, и вы пишете – про что
знаете. Сами живете, сами и пишете <...>

А я тогда сказала глупость – не мужик был Некрасов, а «Коробушку» по сей день
поют. Просто огрызнулась – отгрызнулась – на угрозу заказа <...>

Город Александров. 1916 г. Лето. Наискосок от дома, под гору, кладбище. Любимая прогулка детей, трехлетних Али и Андрюши. Точка притяжения – проваленный склеп с из земли глядящими иконами.

– Хочу в ту яму, где боженька живет!

Любимая детей и нелюбимая – Осипа Мандельштама. От этого склепа так скоро из Александрова и уехал. (Хотел– «всю жизнь»!)

– Зачем вы меня сюда привели? Мне страшно. Мандельштам – мой гость, но я и сама гость. Гошу у сестры, уехавшей в Москву, пасу ее сына. Муж сестры весь день на службе, семья – я, Аля, Андрюша, нянька Надя и Осип Мандельштам.

Мандельштаму в Александрове, после первых восторгов, не можетя. Петербуржец и крымец – к моим косогорам не привык. Слишком много коров (дважды в день мимо-идуших, мимо-мычащих), слишком много крестов (слишком вечно стоящих). Корова может забодать. Мертвец встать. – Взбеситься. – Присниться. – На кладбище я, по его словам, «рассеянная какая-то», забываю о нем, Мандельштаме, и думаю о покойниках, читаю надписи (вместо стихов!), высчитываю, сколько лет лежащим и над ними растущим; словом: гляжу либо вверх, либо вниз... но неизменно от. Отвлекаюсь.

– Хорошо лежать!

Совсем не хорошо: вы будете лежать, а по вас ходить.

– А при жизни – не ходили?

– Метафора! я о ногах, даже сапогах говорю.

– Да не по вас же! Вы будете – душа.

– Этого-то и боюсь! Из двух: голой души и разлагающегося тела еще неизвестно что страшней.

– Чего же вы хотите? Жить вечно? Даже без надежды на конец?

– Ах, я не знаю! Знаю только, что мне страшно и что хочу домой.

Бедные мертвые! Никто о вас не думает! Думают о себе, который бы мог лежать здесь и будет лежать там. О себе, лежащем здесь. Мало, что у вас богом отнята жизнь, людьми – Мандельштамом с его «страшно» и мною с моим «хорошо» отнимается еще и смерть! Мало того, что богом – вся земля, нами еще и три ваших последних ее аршина.

Одни на кладбище приходят – учиться, другие – бояться, третьи (я) – утешаться. Все – примерять. Мало нам всей земли со всеми ее холмами и домами, нужен еще и ваш холм, ваш дом. Свыкаться, учиться, бояться, спастись... Все – примерять. А потом невинно дивимся, когда на повороте дороги или коридора...

Если чему-нибудь дивиться, так это редкости ваших посещений, скромности их, совестливости их... Будь я на вашем месте...

Тихий ответ: «Будь мы на твоём...»

Вспоминаю другое слово, тоже поэта, тоже с Востока, тоже впервые видевшего со мною Москву – на кладбище Новодевичьего монастыря, под божественным его сводом:

– Стоит умереть, чтобы быть погребенным здесь.

Дома – чай, приветственный визг Али и Андрюши. Монашка пришла – с рубашками. Мандельштам, шепотом:

– Почему она такая черная?

Я, так же:

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru

– Потому что они такие белые!

Каждый раз, когда вижу монашку (монаха, священника, какое бы то ни было духовное лицо) – стыжусь. Стихов, вихров, окурков, обручального кольца – себя. Собственной низости (мирскости). И не монах, а я опускаю глаза.

У Мандельштама глаза всегда опущены: робость? величие? тяжесть век? веков? Глаза опущены, а голова отброшена. Учítывая длину шеи, головная посадка верблюда. Трехлетний Андрюша – ему: «Дядя Ося, кто тебе так голову отвернул?» А хозяйка одного дома, куда впервые его привела, мне: «Бедный молодой человек! Такой молодой и уже ослеп?»

Но на монашку (у страха глаза велики!) покашивает. Даже, пользуясь ее наклоном над рубашечной гладью, глаза распахивает. Распахнутые глаза у Мандельштама – звезды, с завитками ресниц, доходящими до бровей.

– А скоро она уйдет? Ведь это неуютно, наконец. Я совершенно достоверно ощущаю запах ладана.

– Мандельштам, это вам кажется!

– И обвалившийся склеп с костями – кажется? Я, наконец, хочу просто выпить чаю!

Монашка над рубашкой, как над покойником:

– А эту – венчиком...

Мандельштам за спиной монашки шипящим шепотом:

– А вам не страшно будет носить эти рубашки?

– Подождите, дружок! Вот помру и именно в этой – благо что ночная – к вам и явлюсь!

За чаем Мандельштам оттаивал.

– Может быть, это совсем уже не так страшно? Может быть, если каждый день ходить – привыкнешь? Но лучше завтра туда не пойдём...

Но завтра неотвратимо шли опять.

* * *

А однажды за нами погнался теленок. На косогоре. Красный бычок.

Гуляли: дети, Мандельштам, я. Я вела Алю и Андрюшу, Мандельштам шел сам. Сначала все было хорошо, лежали на траве, копали глину. Норы. Прокапывались друг к другу, и когда руки сходились – хохотали, – собственно, он один. Я, как всегда, играла для него.

Солнце выедало у меня – русость, у него – темность. – Солнце, единственная краска для волос, мною признаваемая! – Дети, пользуясь игрой взрослых, стягивали с голов полотняные грибы и устраивали ими ветер. Андрюша заезжал в лицо Але. Аля тихонько ныла. Тогда Андрюша, желая загладить, размазывал глиняными руками у нее по щекам голубоглазые слезы. Я, нахлобучив шапки, рассаживала. Мандельштам остервенело рыл очередной туннель и возмущался, что я не играю. Солнце жгло.

– До-о-мой!

Нужно сказать, что Мандельштаму с кладбища ли, с прогулки ли, с ярмарки ли – всегда отовсюду хотелось домой. И всегда раньше, чем другому (мне). А из дому – непременно – гулять. Думаю, юмор в сторону, что когда не писал (а не-писал – всегда, то есть раз в три месяца по стиху) – томился. Мандельштаму, без стихов, на свете не сиделось, не холилось – не жилось.

Итак, домой. И вдруг – галоп. Оглядываюсь – бычок. Красный. Хвост – молнией, белая звезда во лбу. На нас.

Страх быков – древний страх. Быков и коров, без различия, боюсь дико, за

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru остановившуюся кротость глаз. И все-таки, тоже, за рога. «Возьмет да подымет тебя на рога!» – кто из нас этим припевом не баюкан? А рассказы про мальчика – или мужика – или чьего-то деда – которого бык взял да и поднял? Русская колыбель – под бычьим рогом!

Но у меня сейчас на руках две колыбели! Дети не испугались вовсе, принимают за игру, летят на моих вытянутых руках, как на канатах гигантских шагов, не по земле, а над. Скок усиливается, близится, настигает. Не вынеся – оглядываюсь. Это Мандельштам скачет. Бычок давно отстал. Может – не гнался вовсе? <...>

– Барыня! чего это у нас Осип Емельич такие чудные? Кормлю нынче Андрюшу кашей, а они мне: «Счастливый у вас, Надя, Андрюша, завсегда ему каша готова, и все дырки на носках проштопаны. А меня – говорят – никто кашей не кормит, а мне – говорят – никто носков не штопает». И так тяжело-о вздохнули, сирота горькая.

Это Надя говорит, Андрюшина няня, тоже владимирская. Об этой Наде надо бы целую книгу, пока же от сестры, уехавшей и не взявшей, перешла ко мне и ушла от меня только в 1920 году, ушла насильно, кровохаркая от голода (преданность) и обворовывая (традиция), заочно звала сестру Асей, меня Мариной, гордилась нами, ни у кого больше служить не могла. Приручившаяся волчиха. К мужчинам, независимо от сословия, относилась с высокомерной жалостью, все у нее были «жа-алкие какие-то». Восемнадцать лет, волчий оскал, брови углом, глаза угли.

Сестру, из-за этого и не вынесшую, любила с такой страстью ревности, что нарочно выдумывала у Андрюши всякие болезни, чтобы удержать дома. «Надя, я сейчас иду, вернусь поздно». – «Хорошо, барыня, а что Андрюше дать, если опять градусник подымется?» – «Как подымется? Почему?» – «А разве я вам не говорила, он всю прогулку на головку жаловался...» И т. д. Ася, естественно, остается, Надя торжествует. И не благородная, часто бывающая ревность няни к благополучию ребенка («что за барыня такая, ребенка бросают» и т. д.), самая неблагородная низкая преступная ревность женщины – к тому, кого любит. Исступление, последний шаг которого преступление. Врала или нет (врала – всегда, бесполезно и исступленно), но, уходя от меня (все равно – терять нечего! третьей сестры не было!), призналась, что часто кормила Андрюшу толченым стеклом (!) и нарочно, в Крыму, в эпидемию, поила сырой водой, чтобы заболел и этим Асю прикрепил. Асю, говоря со мной, всегда звала «наша барыня», колола мне ею глаза, – «а у нашей барыни» то-то так-то делается, иногда только, в порыве умиления: «Ба-ары-ня! Я одну вещь заметила: как стирать – вы всё с себя сымаете! Аккурат наша барыня!» Ко мне, на явный голод и холод, вопреки всем моим остережениям (ни дров – ни хлеба – ни – ни –), поступила исключительно из любви к сестре. Так вдовцы, не любя, любя ту, на сестре покойной женятся. И потом – всю жизнь – пока в гроб не вгонят – на не-той вымещают.

В заключение – картинка. Тот же Александров. Сажу, после купанья, на песке. Рядом огромный неправдоподобно лохматый пес. Надя: «Барыня, чудно на вас смотреть: на одном как будто слишком много надето, а другому не хватает!»

Даровитость – то, за что ничего прощать не следовало бы, то, за что прощаешь все.

* * *

– ...А я им: а вы бы, Осип Емельич, женились. Ведь любая за вас барышня замуж пойдет. Хотите, сосватаю? Поповну одну.

Я:

– И вы серьезно, Надя думаете, что любая барышня?..

– Да что вы, барыня, это я им для утехи, уж очень меня разжалобили. Не только что любая, а ни одна даже, разве уж сухоручка какая. Чудён больно!

– Что это у вас за Надя такая? (Это Мандельштам говорит.) Няня, а глаза волчьи. Я бы ей ни за что – не только ребенка, котенка бы не доверил! Стирает, а сама хохочет, одна в пустой кухне. Попросил ее чаю – вы тогда уходили с Алей – говорит, весь вышел. «Купите!» – «Не могу от Андрюши отойти». – «Со мной оставьте». – «С Вами?» – И этот оскорбительный хохот. Глаза – щели, зубы громадные! – Волк!

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
– Налила я им тогда, барыня, стакан типятку и несу. А они мне так жа-алобно: «На-адя! А шоколадику нет?» – «Нет, – говорю, – варенье есть». А они как застонут: «Варенье, варенье, весь день варенье ем, не хочу я вашего варенья! Что за дом такой – шоколада нет!» – «Есть, Осип Емельич, плиточка, только Андрюшина». – «Андрюшина! Андрюшина! Печенье – Андрюшино, шоколад – Андрюшин, вчера хотел в кресло сесть – тоже Андрюшино!.. А вы отломите». – «Отломить не отломлю, а вареньица принесу». Так и выпили типятку – с вареньем.

* * *

Отъезд произошел неожиданно – если не для меня с моим четырехмесячным опытом – с февраля по июнь – мандельштамовских приездов и отъездов (наездов и бегств), то для него, с его детской тоской по дому, от которого всегда бежал. Если человек говорит навек месту или другому смертному – это только значит, что ему здесь – или со мной, например – сейчас очень хорошо. Так, а не иначе, должно слушать обеты. Так, а не иначе, по ним взыскивать. Словом, в одно – именно прекрасное! – утро к чаю вышел – готовый.

Ломая баранку, барственно:

– А когда у нас поезд?

– Поезд? У нас? Куда?

– В Крым. Необходимо сегодня же.

– Почему?

– Я – я – я – здесь больше не могу. И вообще пора все это прекратить.

Зная отъезжающего, уговаривать не стала. Помогла собраться: бритва и пустая тетрадка, кажется.

– Осип Емельич! Как же вы поедете? Белье сырое!

С великолепной беспечностью отъезжающего:

– Высохнет на крымском солнце! – Мне – Вы, конечно, проводите меня на вокзал?

Вокзал. Слева, у меня над ухом, на верблюжьей шее взволнованный кадык – Александровом подавился, как яблоком. Андрюша из рук Нади рвется под паровоз – «колесики». Лирическая Аля, видя, что уезжают, терпеливо катит слезы.

– Он вернется? Он не насовсем уезжает? Он только так?

Нянька Надя, блеща слезами и зубами, причитает:

– Сказали бы с вечера, Осип Емельич, я бы вам на дорогу носки выштопала... пирог спекла...

Звонок. Первый. Второй. Третий. Нога на подножке.оборот.

– Марина Ивановна! я, может быть, глупость делаю, что уезжаю?

– Конечно (спохватившись)... конечно – нет! Подумайте: Макс, Карадаг, Пра... И вы всегда же можете вернуться...

– Марина Ивановна! (паровоз уже трогается) – я, наверное, глупость делаю! Мне здесь (иду вдоль движущихся колес), мне у вас было так, так... (вагон прибавляет ходу, прибавляю и я) – мне никогда ни с...

Бросив Мандельштама, бегу, опережая ход поезда и фразы. Конец платформы. Столб. Столбенею и я. Мимовые вагоны: не он, не он, не он, – он. Машу – как вчера еще с ним солдатам. Машет. Не одной – двумя. Отмахивается! С паровозной гривой относимый крик:

– Мне так не хочется в Крым.

На другом конце платформы сиротливая кучка: плачущая Аля: «Я знала, что он не

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
вернется!» – плачущая сквозь улыбку Надя – так и не выштопала ему носков! –
ревуший Андрюша – уехали его колесики!

3. Защита бывшего

Мёдон. 1931 г. Весна. Разбор бумаг. В руке чуть было не уничтоженная газетная
вырезка.

... Где обрывается Россия
Над морем черным и чужим,
То есть как – чужим? Глухим! Мне ли не знать. И, закрыв глаза:
Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы,
(Выпадают две строки.)
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.
От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелось на юг.
Но в этой темной деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкой туманной
Остаться – значит быть беде.
Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю, он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
От бирюзового браслета[68]
Еще белеет полоса.
Тавриды огненное лето
Творит такие чудеса.
Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла.
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была!
Нам остается только имя,
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.
Стихи ко мне Мандельштама, то есть первое от него после тех проводов.

Столь памятный моим ладоням песок коктебеля! Не песок даже – радужные камешки,
между которыми и аметист, и сердолик, – так что не таков уж нищ подарок!
Коктебельские камешки, целый мешок которых хранится здесь в семье Кедровых, тоже
коктебельцев.

1911 г. Я после кори стриженная. Лежу на берегу, рою, рядом роет Волошин Макс.

– Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой
любимый камень.

– Марина! (Вкрадчивый голос Макса) – влюбленные, как тебе, может быть, уже
известно, – глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе (сладчайшим
голосом)... булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это твой любимый
камень!

– Макс! Я от всего умнею! Далее от любви!

А с камешком – сбылось, ибо С. Я. Эфрон, за которого я, дождавшись его
восемнадцатилетия, через полгода вышла замуж, чуть ли не в первый день
знакомства отрыл и вручил мне – величайшая редкость! – генуэзскую сердоликовую
бусу, которая и по сей день со мной.

А с Мандельштамом мы впервые встретились летом 1915 г. в том же Коктебеле, то
есть за год до описанной мною гостыбы. Я шла к морю, он с моря. В калитке
волошинского сада – разминулись.

* * *

Читаю дальше: «Так вот – это написано в Крыму, написано до беспамятства влюбленным поэтом».

До беспамятства? Не сказала бы.

«Но поклонники Мандельштама, вообразив по этим данным (Крым, море, любовь, поэзия) картину, достойную кисти Айвазовского – (есть, кстати, у Айвазовского такая картина и прескверная „Пушкин прощается с морем“) – поклонники эти несколько ошибутся».

Настороженная «влюбленным до беспамятства», читаю дальше:

«Мандельштам жил в Крыму. И так как он не платил за пансион и несмотря на требования хозяев съехать или уплатить...»

Стой! Стой! Это каких хозяев – требования, когда хозяевами были Макс Волошин и его мать, замечательная старуха с профилем Гёте, в детстве любимица ссыльного Шамиля. И какие требования, когда сдавали за гроши и им годами должали?

«...несмотря на требования хозяев съехать или заплатить, выезжать тоже не желал, то к нему применялась особого рода пытка, возможная только в этом живописном уголке Крыма – ему не давали воды».

(Макс и Елена Оттобальдовна – кому-либо не давали воды? Да еще поэту?!)

«Вода в Коктебель привозилась издалека и продавалась бочками – ни реки, ни колодца не было – и Мандельштам хитростями и угрозами с трудом добивался от сурового хозяина или мегеры-служанки...»

Да в Коктебеле, жила в нем с 11-го года по 17-й год, отродясь служанки не было, был полоумный сухорукий слуга, собственник дырявой лодки «Сократ», по ней и звавшийся, – всю дачу бы по первому требованию отдавший!..

«Кормили его объедками...»

Кто? Макс? Макс вообще никого не кормил, сам где мог подкармливался, кормила добродушнейшая женщина в мире, державшая за две версты от дачи на пустыре столовую. Что же касается «объедков» – в Коктебеле было только одно блюдо: баран, природный обедок и даже оглодок. Так что можно сказать: в Коктебеле не-объедков не было <...>, там и обедков не оставалось из-за угрожающего количества бродячих собак. Если же «объедками» – так всех.

«Когда на воскресенье в Коктебель приезжали гости, Мандельштама выселяли из его комнаты – он ночевал в чулане...»

Не в чулане, а в мастерской у Макса с чудесами со всех сторон света, то есть месте, о котором иные и мечтать даже не смели!

«Простудившись однажды на такой ночевке...»

Это в Коктебеле-то, с его кипящим морем и трескающейся от жары землей! В Коктебеле, где все мы спали на воле, а чаще и вовсе не спали: смотрели на красный столб встающего Юпитера в воде или на башне у Макса читали стихи. От восхода Юпитера – до захода Венеры..

«...на такой ночевке, он схватил ужасный флюс и ходил весь обвязанный, вымазанный йодом, сопровождаемый улюлюканьем местных мальчишек и улыбками остального населения „живописного уголка“...»

Живописный – да, если вести от живописцев: художников, друзей Макса, там живших (Богаевский, Лентулов, Кандауров, Нахман, Лев Бруни, Оболенская). Но живописный в кавычках – нет. Голые скалы, морена берега, ни кустка, ни ростка, зелень только высоко в горах (огромные, с детскую голову, пионы), а так – ковыль, полынь, море, пустыня. Пустырь. Автор, очевидно, Коктебель (Восточный Крым, Киммерия, родина амазонок, вторая Греция) принял за Алупку, дачу поэта Волошина за «профессорский уголок», где по вечерам Вяльцева и граммофон: «Наш уголок я

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru
убрала цвета-ами...»

Коктебель – никаких цветов. И сплошной острый угол скалы. (Там, по преданию, в одной из скал, достигаемой только вплавь, – вход в Аид. Подплывала. Входила.)

Особенно, кстати, потешалась над ним «она», та, которой он предлагал принять в залог вечной любви «ладонями моими пересыпаемый песок».

Потешалась? Я? Над поэтом – я? Я, которой и в Коктебеле-то не было, от которой он и уехал в Крым!

«Она очень хорошенькая (что?), немного вульгарная (что??), брюнетка (???), по профессии женщина-врач (что-о-о???)...»

«Вряд ли была расположена принимать подарки такого рода: в Коктебель привез ее содержатель, армянский купец, жирный, масляный, черномазый. Привез и был доволен: наконец нашел место, где ее было не к кому, кроме Мандельштама, ревновать...»

Женщина-врач на содержании у армянского купца – (помимо того, что этой данной женщины никогда не было) – не наши нравы! Еврейская, то есть русская женщина-врач, то есть интеллигентка, сама зарабатывающая. У нас не так-то легко шли на содержание, особенно врачи! Да еще в 1916 году, в войну... Вот что значит – десять лет эмиграции. Не только Мандельштама забыл, но и Россию.

«С флюсом, обиженный, некормленный Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке. Всклопоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел по берегу, встречные мальчишки фыркали ему в лицо и делали из полы свиное ухо...»

Кстати, забавная ассоциация: пола – свиное ухо. Еврей в долгополом сюртуке, которому показывают свиное ухо. Но у автора воспоминаний мальчишки из полы делают свиное ухо. Из какой это полы? Мальчишки – в рубашках, а у рубашки полы нет, есть подол. Пола у сюртука, у пальто, у чего-то длинного, что распаивается. Пола – это ½. Автор и крымских мальчишек, и крымское (50 гр.) лето, и просто мальчишек, и просто лето – забыл!

«Он шел к ларьку, где старушка-еврейка торговала спичками, папиросами, булками, молоком...» (которое, в скобках, в Коктебеле, как по всему Крыму, было величайшей редкостью. Бузой – да, ситро – да, «паша-тепе» – да, молоком – нет).

«Эта старушка...»

И не старушка-еврейка, а цветущих лет грек – единственная во всем Коктебеле кофейня: барак «Бубны», расписанный приезжими художниками и поэтами – даже стишок помню – изображен белощтаный дачник с тростью и моноклем и мы – все: кто в чем, а кто и ни в чем –

Я скромный дачник, друг природы.

Стыдитесь, голые уроды!

Бубны, нищая кофейня «Бубны», с великодержавной, над бревенчатой дверью, надписью:

Славны Бубны за горами!

С Коктебелем-местом у автора воспоминаний произошло то же, что у Игоря Северянина с Коктебелем – словом: Игорь Северянин в дни молодости, прочтя у Волошина под стихами надпись: Коктебель, – принял название места за название стихотворного размера (рондо, газель, ригурнель) и произвел от него «коктебли», нечто среднее между коктейлем и констеблем. Автор воспоминаний дикий Коктебель подменяет то дачной Алушкой, то местечком Западного края с его лотками, старушками, долгополами мальчишками и т. д.

«Эта старушка, единственное существо во всем Коктебеле, относилась к нему по-человечески...»

– Позвольте, а мы все? Всегда уступавшие ему главное место на арбе и последний глоток воды из фляжки? Макс, его мать, я, сестра Ася, поэтесса Майя – что ни

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru женщина, то нянька, что ни мужчина, то дядька – все женщины, жалевшие, все мужчины, восхищавшиеся, – все мы, и жалевшие и восхищавшиеся с утра до ночи нянчившиеся и дядьчившиеся... Мандельштам в Коктебеле был общим баловнем, может быть, единственный, может быть, раз в жизни, когда поэту повезло, ибо он был окружен ушами – на стихи и сердцами – на слабости.

«Старушка» (может быть, он напоминал ей собственного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа) по доброте сердечной оказывала Мандельштаму «кредит»: разрешала брать каждое утро булочку и стакан молока «на книжку». Она знала, конечно, что ни копейки не получит – но надо же поддержать молодого человека – такой симпатичный и, должно быть, больной: на прошлой неделе все кашлял, и теперь вот – флюс. Иногда Мандельштам получал от нее и пачку папирос 2-го сорта, спички, почтовую марку. Если же он, потеряв чувствительность, рассеянно тянулся к чему-нибудь более ценному – коробке печенья или плитке шоколада – добрая старушка, вежливо отстранив его руку, говорила грустно, но твердо: «Извините, господин Мандельштам, это вам не по средствам».

А вот мой вариант, очевидно неизвестный повествователю. Поздней осенью 1915 года Мандельштам выехал из Коктебеля в собственном пальто хозяина «Бубен», ибо по беспечности или иному чему заложил или потерял свое. И когда год спустя, в тех же «Бубнах» грек – поэту: «А помните, господин Мандельштам, когда вы уезжали, шел дождь и я вам предложил свое пальто», – поэт – греку: «Вы можете быть счастливы: ваше пальто весь год служило поэту». Не говоря уже о непрерывном шоколаде в кредит – шоколаде баснословном. Так одного из лучших русских поэтов любило одно из лучших мест на земле: от поэта Максимилиана Волошина до полуграмотного хозяина нищей кофейни.

«Мандельштам шел по берегу, выжженному солнцем и выметенному постоянным унылым коктебельским ветром. Недовольный, голодный, гордый, смешной, безнадежно влюбленный в женщину-врача, подругу армянина, которая сидит теперь на своей веранде в розовом прелестном капоте и пьет кофе – вкусный жирный кофе, – и ест горячие домашние булки, сколько угодно булок...»

Товарищ пишущий, я никогда не ходила в розовых прелестных капотах, я никогда не была ни очень хорошенькой, ни просто хорошенькой, ни немного, ни много вульгарной, я никогда не была женщиной-врачом, никогда меня не содержал черномазый армянин, в такую «меня» никогда не был до беспамятства влюблен поэт Осип Мандельштам.

Кроме того, повторяю, Коктебель – место пусто, в нем никогда не было жирных сливок, только худосочное (с ковыля!) и горьковатое (с полыни!) козье молоко, никогда в нем не было горячих домашних булок, вовсе не было булок, одни только сухие турецкие бублики, да и то не сколько угодно. И если поэт был голоден – виноват не «злой хозяин» Максимилиан Волошин, а наша общая хозяйка – земля. Здесь – земля Восточного Крыма, где ваша, автора воспоминаний, нога никогда не была.

Вы, провозгласив эти стихи Мандельштама одними из лучших в русской литературе, в них ничего не поняли. «Крымские» стихи написаны в Крыму, да, но по существу своему – Владимирские. Какие же в Крыму – «темные деревянные юродивые слободы»? Какие – «туманные монашки»? Стихи написаны фактически в Крыму, по существу же – изнутри владимирских просторов. Давайте по строкам:

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.

Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы.

Какие холмы? Так как две последующие строки выпадают – в тексте просто заменены точками – два возможных случая: либо он и здесь, на русском кладбище, вспоминает – с натяжкой – холмы Крыма, либо – что гораздо вероятнее – и здесь, в Крыму, не может забыть холмы Александра. (За последнюю догадку двойная холмистость Александра: холмы почвы и холмы кладбища.)

Дальше, черным по белому:

От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.

Мне от владимирских просторов

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru

Так не хотелось на юг.

Но в этой темной, деревянной

И юродивой слободе

С такой монашкой туманной

Остаться – значит быть беде.

Монашка, думается мне, составная: нянька Надя с ее юродивым смехом, настоящая монашка с рубашками и, наконец, я с моими вождениями на кладбище. От троящегося лица – туман. Но так или иначе – от этой монашки и уезжает в Крым.

Целую локоть загорелый

И лба кусочек восковой.

Я знаю, он остался белый

Под смуглой прядью золотой.

От бирюзового браслета

Еще белеет полоса.

Тавриды огненное лето

Творит такие чудеса.

Еще белеет полоса, то есть от прошлого (1915 год) коктебельского лета. Такого солнце Крыма, что жжет на целый год. Если бы говорилось о крымской руке – при чем тут еще и какое бы чудо?

Как скоро ты смуглянкой стала

И к Спасу бедному пришла,

Не отрываясь целовала,

А строгою в Москве была.

Не «строкою», а гордою (см. «Tristia»), Не отрываясь целовала – что? – распятие, конечно, перед которым в Москве, предположим, гордилась. Гордой по молодой глупости перед богом еще можно быть, но – строгой? Всякая монашка строга. В данной транскрипции получается, что «она» целовала не икону, а человека, что совершенно обесмысливает упоминание о Спасе и все четверостишие. Точно достаточно прийти к богу, чтобы не отрываясь зацеловать человека.

Нам остается только имя,

Блаженный звук, короткий срок.

Не «блаженный звук, короткий срок», а (см. книгу «Tristia»):

Чудесный звук, на долгий срок.

Автор воспоминаний, очевидно, вместо «на долгий» прочел «недолгий» и сделал из него «короткий». У поэтов не так-то коротка память! – Но можно ли так цитировать, когда «Tristia» продается в каждом книжном магазине?

Кончается фельетон цитатой:

Где обрывается Россия

Над морем черным и чужим.

Это пишущему, очевидно, – чужим, нам с Мандельштамом родным. Коктебель для всех, кто в нем жил, – вторая родина, для многих – месторождение духа. В данном же стихотворении:

Где обрывается Россия

Над морем черным и глухим, –

глухо-шумящим, тем же из гениального стихотворения Мандельштама:

Бессоница, Гомер, тугие паруса.

Я список кораблей прочел до середины:

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,

Что над Эладою когда-то поднялся –

Как журавлиный клин в чужие рубежи!

На головах царей божественная пена –

Куда поплывете вы? Когда бы не Елена,

Что Троя вам одна, ахейские мужи!

И море и Гомер – все движется любовью.

Кого же слушать мне? Но вот, Гомер молчит,

И море черное, витийствуя, шумит

И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Во избежание могущих повториться недоразумений оповещаю автора фельетона, что в книге «Tristia» стихи «В разноголосице девического хора», «Не веря воскресенья чуду...» («Нам остается только имя – чудесный звук, на долгий срок»), «На

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru розвальнях, уложенных соломой» принадлежат мне, стихи же «Соломинка» и ряд последующих – Саломее Николаевне Гальперн, рожденной кн. Андрониковой, ныне здравствующей в Париже и столь же похожей на ту женщину-врача, как и я.

Что весь тот период – от Германско-Славянского льна до «На кладбище гуляли мы» – мой, чудесные дни с февраля по июнь 1916 года, дни, когда я Мандельштаму дарил Москву. Не так много мне в жизни писали хороших стихов, а главное: не так часто поэт вдохновляется поэтом, чтобы так зря уступать это вдохновение первой небывшей подруге небывшего армянина.

Эту собственность – отстаиваю.

Но не о мне одной речь, мне – что; что эта брюнетка с армянином – я – никто не поверит. Что эти стихи ей, а не мне – если даже поверят – мне что! в конце-то концов! Знает Мандельштам, и знаю я. И касайся это только меня, я бы только смеялась. А сейчас не смеюсь вовсе. Ибо дело, во-первых – в друге (моем и, как выясняется из фельетона, и автора. NB! Если так помнят друзья, то как же помнят враги?), во-вторых, в большом поэте, которого выводят пошляком (Мандельштам не только данной женщины не любил, но любить не мог), в-третьих – в другом поэте – Волошине – которого выводят скрягой и извергом (не давать воды) и, в-четвертых, – в том, что все это преподносится в виде поучения молодым поэтам.

Закончим началом фельетона, вскрывающим повод, причину и цель его написания:

На одном из собраний парижской литературной молодежи я слышал по своему адресу упрек: «Зачем вы искажаете образ Мандельштама, нашего любимого поэта? Зачем вы представляете его в своих воспоминаниях каким-то комическим чудаком? Разве он мог быть таким?» Именно таким он и был. Ни одного слова о Мандельштаме я не выдумывал...

В данном фельетоне, как доказано, выдуманы все.

«Я очень рад за Мандельштама, что молодые парижские стихотворцы его любят, и еще больше рад за них: эта любовь многих из них больше приближает к поэзии, чем их собственные стихи. Но и я, право, чрезвычайно люблю поэзию Мандельштама, и, кроме того, на моей стороне есть еще то преимущество, что и его самого, чудаковатого, смешного, странного – неотделимого от его стихов – люблю не меньше и очень давно, очень близко знаю. Были времена, когда мы были настолько неразлучны, что у нас имелась, должно быть, единственная в мире визитная карточка: такой-то[69] и О. Мандельштам. И разве не слышали наши молодые поэты, что высокое и смешное, самое высокое и самое смешное часто бывают переплетены так, что не разобрать, где начинается одно и кончается другое».

Высокое и смешное – да, высокое и пошрое – никогда.

«...Приведу, для наглядности, пример из жизни того же „чудака“, „ангела“, „комического персонажа“ – из жизни поэта Мандельштама...»

Цену примеру – мы знаем.

* * *

Большой фельетон у литераторов зовется подвал. Здесь – правильно. Киммерийские утесы и мои Александровские холмы, весь Коктебель с его высоким ладом, весь Мандельштам с его высокой тоской здесь неизведаны до подвала – быта (никогда не бывшего!).

Не знаю, нужны ли вообще бытовые подстрочники к стихам: кто – когда – где – с кем – при каких обстоятельствах – и т. д., как во всем известной гимназической игре. Стихи быт перемололи и отбросили, и вот из уцелевших отсевков, за которыми ползает вроде как на коленках, биограф тщится воссоздать бывшее. К чему? Приблизить к нам живого поэта. Да разве он не знает, что поэт в стихах – живой, по существу – далекий?

Но – спорить не буду – официальное право у биографа на быть (протокол) есть. И уж наше дело извлечь из этого протокола соответствующий урок. Важно одно: чтобы протокол был бы именно протоколом.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Если хочешь писать быль, знай ее, если хочешь писать пасквиль – меняй имена или жди сто лет. Не померли же мы все в самом деле! Живи автор фельетона на одной территории со своим героем – фельетона бы не было. А так... за тридцать земель... да, может, никогда больше и еще не встретимся... А тут – соблазн анекдота, легкого успеха, у тех, кто чтению стихов поэта предпочитает – сплетни о нем. Безответственность разлуки и безнаказанность расстояния.

* * *

– А зачем же, не признавая бытового подстрочника, взяли да все это нам и рассказали? Зачем нам знать, как великий поэт Мандельштам по зеленому косоугору скакал от невинного теленка?

На это отвечу:

На быль о Мандельштаме летом 1916 года я была вызвана вымыслом о Мандельштаме летом 1916 года. На свой подстрочник к стихотворению – подстрочником тем. Ведь нигде никогда (1916–1931 г.) я не утверждала этой собственности, пока на нее не напали. – Оборона! – Когда у меня в Революцию отняли деньги в банке, я их не оспаривала, ибо не чувствовала их своими...> – Эти стихи я – хотя бы одной своей заботой о поэте – заработала.

Еще одно: ограничившись одним опровержением вымысла, то есть просто уличив, я бы оказалась в самой ненавистной мне роли – прокурора. Противоставив вымыслу – живую жизнь, – и не обаятелен ли мой Мандельштам, несмотря на страх покойников и страсть к шоколаду, а быть может, и благодаря им? – утвердив жизнь, которая сама есть утверждение, я не выхожу из рожденного состояния поэта – защитника.

Мёдон, апрель – май 1931

А. Цветаева. Из воспоминаний

Глава 8. Осип Мандельштам и его брат Александр

Когда началось мое знакомство и дружба с Осипом Эмильевичем и его братом Александром, Марины уже не было в коктебеле, ее дружба с Осипом Мандельштамом была позже.

Осип и Александр были крайне бедны, жили на последние гроши, всегда мечтая где-то достать денег, брали в долг у каждого, не имея возможности отдать. Александр делал это кротко, получал с благодарностью. Осип брал надменно, как обедневший лорд: благосклонно, нежно улыбаясь одно мгновение (долг вежливости), но было件нятно, что брал как должное – дань дару поэта, дару, коим гордился, и голову нес высоко. Не только фигурально: мой Андрюша (ему в августе исполнялось три года) спрашивал меня тоненьким голоском: «Кто так вставил голову Мандельштаму? Он ходит как царь!»

Оба брата шутили с ним, уверяли, что Осип – Мандельштам, Александр же – Мандельштут, и Андрюша так их и звал.

Осип был среднего роста, худ, неровен в движениях – то медлителен, то вдруг мог сорваться и ринуться чему-то навстречу. Чаще всего стоял, подняв голову, опустив веки на ласковые в шутливой беседе, грустно-высокомерные глаза. Казалось, опустив веки, ему легче жить.

Волос у него было мало – хоть двадцать четыре года! – легкие, темные, лоб уже переходил в лысину, увенчанную пушком хохолка. Горбатость носа давала ему что-то орлиное. И была в нем грация принца в изгнании. И была жалобность брошенного птенца. И он стал моим терзаньем и утехой. В несчетный раз я просила и слушала его «Аббата»:

Образ твой, мучительный и зыбкий,
я не мог в тумане осязать.
«Господи!», – сказал я по ошибке,
сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
и пустая клетка позади...

Александр деликатно и нежно любил брата (думаю, и Осип – его).

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Все чаще просили мы Осипа Эмильевича прочесть любимые нами стихи «Бессонница. Гомер...». Крутые изгибы его голоса, почти скульптурные, восхищали слух. Видимо, он любил эти стихи, он читал их почти самозабвенно – позабыв нас...

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей прочел до середины:

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладю когда-то поднялся.

Давно нет ни его, ни почти никого из его слушавших, но как вещь в себе жив в памяти его голос, рождающий в воздух, в слух эти колдовские слова.

В быту у братьев все не ладилось, они часто болели, особенно Осип. Был на диете: ему бывали воспрещены обеды в береговой кофейне «Бубны», где встречалась знать Коктебеля за шашлыками, чебуреками, ситро и пивом, и как-то само собой вышло, что Осип стал в смысле каш и спиртовок моим вторым сыном, старшим, а об Александре стала заботиться Лиза, сестра Сони Парнок. Мы с ней пересмеивались дружески-иронически над своей ролью и весело кивали друг другу. Серьезных бесед я не помню. Осип был величаво-шутлив, свысока любезен – и всегда на краю обиды, так как никакая заботливость не казалась ему достаточной и достаточно почтительно выражаемой. Он легко раздражался. И, великолепно читая по просьбе стихи, пуская, как орла, свой горделивый голос, даря слушателям (казавшуюся многим вычурной) ритмическую струю гипнотически повелительной интонации, он к нам снисходил, не веря нашему пониманию, и похвале внимал – свысока.

Роль такого слушателя была мне нова и нежно-забавна – мне, росшей среди поэтов, – Марина, Эллис, Макс Волошин, Аделаида Герцык, – но, увлекаясь образом Осипа Мандельштама, я играла в сестру-няню охотно, забываясь в этой целительной и смешной простоте от всех сложностей моей жизни.

* * *

..Когда я сидела на берегу, подошел Мандельштам и сообщил, что надо уезжать, так как вокруг началась холера. Мне сразу стало весело от какой-то перспективы отъезда, быстроты, новизны.

«Но куда ехать?» – решали мы; стали говорить об окрестностях Москвы, где бы можно провести последний летний месяц. Подошли брат Осипа, Александр, и Лиза, стали решать, ехать ли и куда. Они были спокойны, говорили, что отдельные случаи еще не есть эпидемия, что надо узнать, подождать, что у нас мало денег, чтобы срываться с места. Они были правы, я это сознавала. Но Осип Эмильевич в возбужденном состоянии настаивал на том, чтобы ехать тотчас же, к вечеру или завтра утром, в Москву, за Москву, в Финляндию. Его брат тоже с ним соглашался, хотя приехал только на днях и ему было жаль расставаться с морем. Они стали мне предлагать ехать в Финляндию, в изумительной красоте местности. Лиза не хотела спешить, к тому же ее удерживало несколько дел.

С того мига, как Мандельштам сказал, что надо ехать и – «едемте», – я почувствовала в себе целое море галантности, веселья, подъема, в котором я смело бралась утопить последствия своего необдуманного поступка. О холере я не испытывала серьезного страха. Ни за себя, ни за Андрюшу. Мы – умрем? Этого же не может быть!..

В Финляндию? Что же, можно и туда, только немножко далеко от города, где Маврикий Александрович, – но как было бы весело: иностранные говор и деньги, вспомнится Гельсингфорс... Я сидела на перилах, соглашаясь на все, ободряя Мандельштама и шутя над ним, защищая его от нападков брата и Лизы, стыдивших его за трусость.

– Все равно, – отвечал он, – я здесь не смогу прожить этих дней, это будет пытка, да нет, я просто не вынесу!

Брат пожимал плечами. Лиза говорила, что, если бы у нее был такой сын или муж, она сошла бы с ума.

– Да оставьте его, – повторяла я миролюбиво, – это очень понятно: Осип Эмильевич уже видел однажды холерную эпидемию, и у него тяжелые воспоминания. Я понимаю. И к чему рисковать? Холера – болезнь смертельная.

Он же был в состоянии, совсем несхожем с моим, – подавленным, тревожным и

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru требовательном, у него все время падал голос, и он не обращал на нас никакого внимания. Он хотел ехать во что бы то ни стало, и если мы не поедем, поедет один.

Лиза уговаривает меня подождать – поедем вместе, а он пусть едет один. Мандельштам на миг становится милым, и одна его улыбка, такая эгоистическая, но нежная (из-за изгибов губ!), и глаза милые, карие, и гордый подъем головы, и голос – убедительней слов, еще больше веселья в моих ответах.

Но каждый миг дело может повернуться так, что все решат ехать отдельно. Конечно, в общем – мне все равно... Только так, милое событие жизни, быстрой и преходящей. Как люди мелки, как холодны! И к чему мы сейчас говорим, если так легко каждому ехать – «куда ему надо»!

– Да, я должен сказать, что вы для меня не существуете теперь, а станете существовать с того мига, как мы уедем отсюда, – сказал Осип Эмильевич.

Это было *le comble du bonheur!* (венце всего!)

Мне было смешно и весело. Улыбаясь, он звал меня ехать, предложил разделить на две партии: я и он, Лиза и брат.

Лиза возмущалась:

– Вы будете исполнять чьи-то капризы?

– Ничего, – мягко ответила я, – это можно – раз в жизни! Жаль же его пустить одного – смотрите, какой он грустный. Бедненький! Ну не печальтесь. Решайте – и едем! Завтра так завтра! А теперь идемте пить вино, на прощание!

Мы пошли в кофейню. Как весело, как прекрасно было у меня на душе! Я вспоминала все отъезды моей жизни – но ни тени не мелькнуло во мне от жгучего чувства, что столько позади и что никто об этом не думает:

*Dunkle Cupressen,
Die welf ist gar zu lustig
Es wird doch Alles vergessen!*

– Позвольте же вам повторить мою глупую поговорку, что через пятьдесят лет – ведь всюду оспа, скарлатина, холера – мы наверное будем в земле!

Мы сидим за мраморным столиком, мы решили ехать в Москву, а там уж увидим куда. Я сообщу Маврикию Александровичу, куда я еду, мы поедем в Тарусу, и если Осипу Эмильевичу там понравится, поселимся там. Ока! Чудно! Там лес. Купанье. Я там провела все детство. Едем? Пьем вино, красное. Шумит море. Мы его называем «шипящей душой», от которой хотим уехать к тихим водам, которые умеют молчать. Плющ и цветы, обвившие столбики, качаются в ветерке. Жара ослепительная. Какая-то компания, за соседним столом, смотрит на нас.

Я, чуть сощурив глаза, смотрю вдаль, на море, на изгиб гор, думаю: «Вот этот миг – счастье. Полное. Кто поймет!»

* * *

Затем (чуть шумит от вина в голове, и ноги тонут в песке) идем узнать точно насчет холеры. Да. Тридцать случаев, из них шестнадцать смерти, это начинается эпидемия.

Обедать идем все вместе; я заказываю Мандельштаму кашу и яйца (он больше ничего не хочет, он слаб и взволнован). Прохожу спокойно взад и вперед, меж столиков. Все время идет разговор об ужасном характере Мандельштама. Он мне улыбается. Едем.

* * *

Лиза сидит за соседним столом с Головиными. Они говорят, что все это наши фантазии, что опасности нет, и тон их речи полон жалости к нам. Но жалость моя к ним – еще больше. За обедом происходит еще инцидент. Я предлагаю всем идти в горы, органирую прогулку. Но Мандельштам говорит, что он слаб и в горы идти не может – только куда-нибудь совсем близко; да нет, никуда не пойдет. Я тотчас же предлагаю ему поездку на лодке. Брат его возмущен, его раздражает происходящее.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru
Я катаю хлебные шарики, смотрю в окно, где качаются розы, улыбаюсь личику моего странного протеже, которое высоко поднято над столом, над нами, над миром – в картинном любовании собой?

Но когда мы идем по саду и он декламирует, вдруг мне кажется – и впрямь он на голову выше этих густых тополей и маслин – мягко падают глубокие и вычурные интонации, и глаза, покрытые веками, чуть мерцают.

О спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя, –
От зноя рыжая сутана
И шляпы круглые поля,
Он все еще проходит мимо,
В тумане полдня, вдоль межи...
Шуршит граций.
* * *

Уговорясь с Кафаром о лодке, мы решили ехать на парусах (я четыре года не ездила, после той бури на море смертельно боюсь воды). Я подходила, переодевшись, к балкону обоих братьев, когда появились идущие в горы – они зашли за мной (я же их и звала). Я сказала, что не пойду, так как Осип Эмильевич устал. Иронические улыбки. Но что – я! Как хорош был он, когда на их вопрос, выраженный в форме приличной насмешки, ответил:

– я слаб и идти не могу.

Он стоял, подняв голову, как всегда, с полузакрытыми веками, глядя на них холодно и спокойно. Чуть блистали глаза из-под век. Я стояла и любовалась.

Переглянувшись, посмеиваясь, поклонясь нам, однако, корректно ушли. Мы остались втроем. Было чуть неловко, чуть скучно. Пили чай.

* * *

Ехали долго. В Сердоликовой бухте я бродила с ним по камням, он говорил о своем друге, композиторе. Я была в этой бухте четыре года назад. Я смотрела на серые полосы моря и на замшевые очертания гор, далеко, золотых от заката, как на декорации. Ветра не было, и дорогу назад мы сделали на веслах. Баркас был тяжел. Мы глядели на звезды, появляющиеся по одной, затем – сразу, в бездонном, бездонном небе.

Я просила сказать стихи. Он говорил охотно, но равнодушно, не веря моему пониманию, и деликатно молчал об этом. И в этом, новом для меня, положении, что меня считают простым человеком, а кого-то рядом – сложным, я чувствовала себя как в полусне, как в далеком детстве. Но было что-то сладкое в том, что я позволяю другому быть причудливым и не говорю о себе, и не думаю. Слово кто-то дал мне волшебного зелья, от которого я забыла, кто я.

И было странно – слушать о Петрограде, который я плохо знаю, который чужд мне, как ледовитый полюс...

Летают валькирии, поют смычки,
Громоздкая опера к концу идет,
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.
Уж занавес наглухо упасть готов,
Еще рукоплещет в райке глупец.
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец.
Волны, тронутые багрянцем – еще недавно, померкли. Брезжился берег.
В темной арке, как пловцы,
Исчезают пешеходы.
И на площади, как воды,
Глухо плещутся торцы...
Только там, где твердь светла,
Черно-желтый лоскут злится,
Словно в воздухе струится
Желчь двуглавого орла!..

Мандельштам лежал, в сероватом пальто, скрестив на груди руки, закрыв глаза, – был очень похож на Пушкина; пышные короткие бачки, бритое, худое лицо,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru очаровательная улыбка, слабость всего тела и рук, отвращение к могущей утопить воде, и – через весь холод – какая-то детская ласковость, и в холодном голосе мягкие интонации – вот что заставляло меня меньше смотреть на лицо Александра, во многом бывшего ко мне внимательнее его. Прекрасные глаза у Александра – длинные, серо-зеленые, мягкие, близорукие, добрые. И брови, черные, как кистью проведены. Ехали тихо. Устали и ждали берега, то есть устали они, я – немного. Но день кончался трезво, и я вдруг почувствовала, что мне уже много лет... Двадцать два!

Когда подъезжали, зашел разговор о том, где ужинать. Я знала, что день кончен, но когда услышала, что Мандельштамы идут ужинать с людьми, которых я не люблю, я сказала, что буду ужинать с Лизой. Мне было глубоко наплевать на еду; я жила в эти минуты тончайшими чувствами жалости к ним – и глубоким собственным счастьем. Мы шли домой, а я думала о том, как все скучно, о том, что же это за странная вещь, моя жизнь, в которой я готова сорваться со всякой почвы ради вздора, фантазии, одной фразы – а фразы, суть фразы, вздор-вздор, и упадки вечно тут, со всей густотой своей тени!

Однако у дома Мандельштам сказал, что ему не хочется идти кушать одну кашу, а другого нельзя, я тотчас же предложила сварить ему кашу дома, он согласился. Я пошла домой, но не оказалось молока; не говоря ничего, прячась, через сад, забыв об усталости, я быстро пошла в кофейню, принесла молока и сварила подопечному кашу.

* * *

Ужинали. Пришли Головины, принесли вина, я достала остаток своего, пили. Говорили вздор, было весело. Мешали вина; уж было поздно. Яркая шаль Лизы, в цветах; в широком окне встающий Юпитер – и от него, как от луны, в море серебряный блеск.

Гости ушли. Мы собрались пройтись. Была ночь. В небе, черном, высоко стоял Юпитер, и отблеск его в море потух.

Выбегая с балкона, я спросила у Александра, который час. Он вынул часы, уронил и разбил стекло. Я первая подняла часы, но перевернула нечаянно стрелку, и сразу вместо полуночи стала половина второго. Смеясь и продолжая свою витиеватую речь, охваченная пафосом его события, я легла с Аладдином (сеттер) на песок, говоря о том, как чудно сейчас случилась «ошибочка с временем».

* * *

С отъездом Мандельштам решил подождать несколько дней – он был утомлен поездкой.

...Мы не уехали никуда.

Конец лета. Близ феодосийского вокзала, в гостинице «Астория», перед поездом на Москву, отходящим ночью, Андрюша сладко спит на широкой кровати, няня укладывается. Со мной Осип Эмильевич. Он нас провожает на поезд.

Вечер. И в моем номере дверь на балкон, и внизу окна аптеки, весь берег затемнен: от моря, от турок. На столе в тяжелых шандалах, старомодных, горят две свечи. Передо мной в чем-то сером – тоненький силуэт. Голова поднята, он читает стихи. Я его на всю жизнь запомню. Из-под легкой гардины от ветра трепет свечей. Шум волн...

Сергей Маковский. Осип Мандельштам
Конец 1909 года. Петербург. «Аполлон», – редакция помещалась тогда на Мойке, около Певческого моста, в том доме, что и ресторан «Донон». Журнал только начинался, работы было много, целые дни просиживал я над рукописями и корректурами.

Как-то утром, – отчетливо запомнился этот не совсем обычный эпизод, – входит ко мне секретарь редакции Е. А. Зноско-Боровский, заявляет: некая особа по фамилии Мандельштам настойчиво требует редактора, ни с кем другим говорить не согласна...

Через минуту появилась дама, немолодая, довольно полная, бледное взволнованное лицо. Ее сопровождал невзрачный юноша лет семнадцати, – видимо конфузился и льнул к ней вплотную, как маленький, чуть не держался «за ручку». Голова у юноши крупная, откинута назад, на очень тонкой шее, мелко-мелко вьются пушистые

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
рыжеватые волосы. В остром лице, во всей фигуре и в подпрыгивающей походке
что-то птичье...

Вошедшая представила мне юношу:

– Мой сын. Из-за него и к вам. Надо же знать наконец, как быть с ним. У нас торговое дело, кожей торгуем. А он все стихи да стихи! В его лета пора помогать родителям. Вырастили, воспитали, сколько на учение расходу! Ну что ж, если талант – пусть талант. Тогда и университет, и прочее. Но если одни выдумки и глупость – ни я, ни отец не позволим. Работай, как все, не марай зря бумаги... Так вот, господин редактор, – мы люди простые, небогатые, – сделайте одолжение – скажите, скажите прямо: талант или нет! Как скажете, так и будет...

Она вынула из сумочки несколько исписанных листков почтовой бумаги в линейку и вручила мне:

– Вот!

– Хорошо, оставьте... на несколько дней. Прочту.

Но энергичная мамаша ни о какой отсрочке и слышать не хотела. Требовала: тут же прочесть и приговор вынести.

Я запротестовал:

– Нет, сейчас никак не могу... Стихам нужно внимание, вчитаться нужно...

Против новичков-поэтов в те дни я был достаточно предубежден, – сколько любительских виршей каждый день летело в редакционную корзину! Но меньше всего хотелось мне огорчить конфузливую юношу... Уж очень выжидательно-печальны были его глаза. От волнения он то закатывал их, то прикрывал воспаленными веками, то опять смотрел на меня с просящей покорностью.

Мамаша настаивала: прочти да прочти, и резолюцию – немедленно!

Нехотя раскрыл я листки и стал разбирать бисерные строчки. Буквы паутинными петельками давались с трудом; кажется – ни одного стихотворения толком и не прочел я тогда. Помню, эти юношеские стихи Осипа Эмильевича (которым он сам не придавал значения впоследствии) ничем не пленили меня, и уж я готов был отделаться от мамыши и сынка неопределенно-поощрительной формулой редакторской вежливости, когда – взглянув опять на юношу – я прочел в его взоре такую напряженную, упорно-страдальческую мольбу, что сразу как-то сдался и перешел на его сторону: за поэзию, против торговли кожей.

Я сказал с убеждением, даже несколько торжественно:

– Да, сударыня, ваш сын – талант.

Юноша вспыхнул, просиял, вскочил с места и начал бормотать что-то, потом вдруг засмеялся громким, задышающимся смехом и опять сел. Мамаша удивленно примолкла; видимо, она не ждала такого, «приговора» с моей стороны. Но быстро нашлась:

– Отлично, я согласна. Значит – печатайте!

Дело оборачивалось не в мою пользу: новичок-то; теперь не отстанет... Но делать было нечего, – прощаясь с ним, я попросил «приносить еще».

Новичок стал заходить в «Аполлон» чуть не ежедневно, всегда со стихами, которые теперь он читал вслух с одному ему свойственными подвываниями и придыханиями, – почти что пел их, раскачиваясь в ритм всем своим щуплым телом. Так же читал он и чужие стихи. Если понравится – закроет глаза и зальется, повторяя строчку по несколько раз.

И сочинял он – вслух, словно выпевал словесную удачу. Никогда не встречал я стихотворца, для которого тембр слов, буквенное их качество, имело бы большее значение. Отсюда восторженная любовь Мандельштама к латыни и особенно к древнегреческому. Можно сказать, что античный мир он почувствовал до какого-то ясновидения через языковую стихию эллинства. Но и к России, к русской сути, к

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
царской Москве и императорскому Петербургу он прикоснулся тоже, возлюбив превыше
всего – русскую речь, богатство ее словесных красот, полнозвучие ударных
гласных, ритмическое дыхание строки.

Покойный К. Ю. Мочульский рассказал, по моей просьбе, читателям «Встречи» (№ 2)
о том, как он давал когда-то Осипу Эмильевичу уроки древнегреческого: «Он
приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывавшимися
ему тайнами греческой грамматики. Он взмахивал руками, бегал по комнате и
декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в
сказочное событие; наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он
вступал с ними в загадочные личные отношения. Когда узнал, что причастие
прошедшего времени от глагола „пайдево“ (воспитывать) звучит „пепаидевкос“, он
задохнулся от восторга и в этот день не мог больше заниматься. На следующий урок
пришел с виноватой улыбкой и сказал: „Я ничего не приготовил, но написал стихи“.
И, не снимая пальто, начал петь...»

И глагольных окончания колокол
Мне вдали указывает путь,
Чтобы в келье скромного филолога
От моих печалей отдохнуть.
Забываю тягости и горести,
И меня преследует вопрос:

Приращенье нужно ли в аористе
И какой залог «пепаидевкос»?

Стихи Мандельштама стали печататься «Аполлоном» очень скоро. Одними из первых
были, помнится, следующие строчки, ставшие известными:

Дано мне тело. Что мне делать с ним?

Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить,
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,

В темнице мира я не одинок.

В редакции его полюбили сразу, он стал «своим». И с Гумилевым и с Кузминым
завязалась прочная дружба. На страницах «Аполлона» появлялись циклы его
стихотворений.

Он стал «аполлоновцем» в полной мере, художником чистой воды, без уклонов в
сторону от эстетической созерцательности. Впоследствии, в годы революции,
которую он пережил очень болезненно (может быть, даже до потери умственного
равновесия), он стал другим, иносказательно философствующим на социальные темы...
Но сейчас я говорю о юном Мандельштаме, о годах «Аполлона». Тогда к поэзии
сводилась для него вся жизнь, а поэзия представлялась ему преобразованием мира в
красоту – и ничем больше. И добивался он этого преобразования всеми силами души, с
гениальным упорством – неделями, иногда месяцами выискивая нужное сочетание слов
и буквенных звучаний. Писал немного, но сочинял, можно сказать, непрерывно,
только и дышал магией образов и музыкой слова. Эта магическая музыка сплошь да
рядом так оригинально складывалась у него, что самый русский язык начинал
звучать как-то по-новому. Объясняется это, вероятно, и тем отчасти, что он не
ощущал русского языка наследственно своим, любовался им немного со стороны,
открывал его красоты так же почти, как красоты греческого или латыни, неутомимо
вслушиваясь в него и загораясь от таинственных побед над ним.

Вот – хотя бы в следующих стихах (из первого сборника «Камень») о зимнем
Петербурге с дворниками в «овчинных шубах», напоминающими поэту скифскую Россию,
когда Овидий пел, «мешая Рим и снег», «арбу воловью», – разве не гремит русский
ямб с какой-то неслыханной силой?

О временах простых и грубых
Копыта конские твердят,
И дворники в овчинных шубах
На лавках у подъездов спят.
На стук в тяжелые ворота
Привратник, царственно-ленив,
Встал, – и звериная зевота
Напомнила твой образ, скиф,
Когда дряхлеющей любовью,
В стихах мешая Рим и снег,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru

Овидий пел арбу воловью.

В походе варварских телег.

Здесь, помимо пушкинского урока («Еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят»), «арбу воловью», конечно – не совсем по-русски (мы не скажем «лошадиная карета» или «ослиная повозка»). Но в строке Мандельштама как будто и убедительно: древняя овидиева «арба» тут неразрывно спаяна с образом волов в варварском походе и становится она воловьей, как, скажем, хомут (лошадиный).

Мандельштам трудился самоотверженно над «материалом» слов, создавая прекрасное из их «недоброй тяжести», но иногда и неточно понимал их (например, «в простоволосых жалобах ночных», «простоволосая шумит трава»), и склонял их неверно («в песку зарылся амулет»), и выдумывал их произвольно («безъязыкий»), и, наконец, связывал одно слово с другим на основании слишком уж отдаленных ассоциаций:

И сумасшедших скал колючие соборы

Повисли в воздухе, где шерсть и тишина...

Вообще слова у Мандельштама часто не совпадают с прямым своим смыслом, а как бы «намагничены» изнутри и втягивают в себя побочные представления. Поэтому и к неправильностям и вычурам его словоупотребления иначе относишься, чем к неправильностям и вычурам у других поэтов, менее искренних, менее правдивых и вдохновенно-ищущих.

Неутомимость творческого горения (откуда и сочинительская техника) чувствуется почти в каждой строке молодого Мандельштама. Дальше всего эти любовно выношенные строки – от импровизации и от поверхностного блеска. Их красноречие обдуманно-скупое, подчас – до замысловатой краткости. Вот уже где «словам тесно»! Художественные длинноты, или поэтические клише, или сорвавшиеся с языка общности исключаются при таком отношении к искусству: образ, как и мысль поэта, приобретает глубоко личный характер, оттого часто – не до конца понятный, даже смутный, загадочный... Но разве не этим именно и отличается символизм как школа, как стихотворный стиль?

Началось во Франции, на смену описательной четкости Парнасцев, со Стефана Маллармэ, углублявшего, насыщавшего скрытым содержанием стихи до того, что сплошь да рядом приходится их разгадывать, как ребусы. Сам он называл многоликие образы свои – гиперболами. В русской «новой» поэзии последователями этого словесного герметизма сделались символисты: Блок, Анненский, Вячеслав Иванов. В этом смысле и Осип Мандельштам – символист прирожденный, хотя и не в том мистическом и даже эзотерическом духе, какой придавали этому понятию Андрей Белый и, отчасти, Блок.

Символизм – это, прежде всего, сжатость образного мышления, сжатость, доводимая иногда (например, у позднего Маллармэ) до криптограммы. Несколькоими словами, одним словом-метафорой выражается сложная ветвистая мысль или сложное ощущение и, чаще всего, такая мысль и такое ощущение, каких и не сказать иначе, разложив на составные части. Слово при этом теряет свое прямое значение или, – даже не теряя его, – как бы преобразуется от соприкосновения с другими словами, отвечая глубинным и подчас неясным для самого автора переживаниям.

Таковыми криптограммами «в зародыше» представляются мне у Мандельштама, например, образы в следующих «крымских» стихах (начинаю с четвертой строфы, – курсивы мои).

4

Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где кудрявые всадники бьются в кудрявом порядке.
В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот
Золотых десятин благородные ржавые грядки.

5

Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена
Не Елена – другая, – как долго она вышивала.

6

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru
Золотое руно, где же ты, золотое руно –
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
Не менее характерны для Мандельштама такие строки: «И вчерашнее солнце на черных носилках несут», или – «И лес безлиственный прозрачных голосов», или – «Сюда влачится по ступеням широкопασмурным несчастья волчий след», или – «И в ветхом неводе генисаретский мрак»...

Не буду «объяснять» гиперболики этих образных определений. Полагаю, что всякий, кто чувствует новую поэзию, их почувствует, вчитавшись в стихотворения, из которых они взяты. Я говорю – новую поэзию, потому что, разумеется, такой прием, такую сжатость образного определения – «как прялка, стоит тишина» – невозможно представить себе, скажем, у Пушкина, у Лермонтова, вообще – в поэзии до-символической. Один Тютчев иногда доводит выраженное ощущение или мысль до этого магического лаконизма. Таковы его уподобления зарниц «демонам глухонемым» или брызнувшего грозового дождя пролитому Гебой «громокипящему кубку». Это еще не «гипербола» Маллармэ, но уже символика. У Мандельштама она – сплошь. Подвергнуть эту «магию» логическому разбору подчас трудно и даже невозможно, но не кажется она искусственным, претенциозным, ничего в конце концов не выражающим словоизлишеством – как у многих символистов. Мандельштамовская магия согрета искренним чувством, – может быть, это и есть в ней самое пленительное. От строф, словно высеченных из мрамора или отлитых из бронзы – на самые неличные, самые далекие темы, – никогда не веет холодом. Потому что эти далекие темы действительно его любовь, его страдание и его счастье, его душа, приявшая миры, созданные творческим воображением. О чем бы он ни грезил: о прошлом возлюбленной средиземноморской земли, о легендарной Тавриде, о скифском варварстве или о древней Москве с «пятиглавыми соборами» или о современном умирающем Петрополе с Исаакием, стоящим «седою голубятней», или о богослужебной торжественности полудня, рассказ об этих видениях насыщен восторгом сердца. И больше того: живое, конкретное впечатление переходит в образ какой-то трансцендентной сущности. Мандельштам лучше, чем кто-нибудь, понял урок великих французских новаторов и связал русский стих с «сюрреалистическими» прозрениями века... Но и по темам, и по религиозному акценту эти стихи остаются русскими, в самой отвлеченности их таится великая любовь поэта и к русским судьбам, и к русской вере:

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе – великолепный миг.
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взял в руки целый мир, как яблоко простое.
Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.
И Евхаристия, как вечный полдень, длится –
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.
Религиозность этого «полудня» (или «вселенской литургии»?) не только восторженно-христианская, но русская, иконописная религиозность. Удивительно, как сумел проникнуться ею этот выросший в еврейской мелко-мещанской среде юноша, набравшийся многосторонней образованности в Швейцарии и Гейдельберге!

Послушайте, с какой растроганной любовью говорит он о кремлевских церквях:

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.
И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.
Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне – явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой

Мандельштам был одним из столпов провозглашенного Гумилевым акмеизма в «Цехе поэтов». Акмеизма – от акмэ, острие, заострение. Создалась эта «школа» в среде «Аполлона» как противодействие мистическому символизму, возглавляемому Вячеславом Ивановым. Гумилев требовал «заострения» словесной выразительности, независимо от каких бы то ни было туманных идеологий. Но и он, в таких стихотворениях, как «Дракон», например, оставался верен языку символов. Хотя и далекий от В. Иванова, Мандельштам становился символистом чистой воды каждый раз, когда «заострялось» до предельной выразительности его слово-звук и слово-образ. Не надо забывать, что словесную фонетику он называл «служанкой серафима».

В течение восьми лет (вплоть до моего отъезда из Петербурга весной 17 года) я встречался с ним в редакции «Аполлона». Неизменно своим восторженно-задыхающимся голосом читал он мне стихи. Я любил его слушать. Вообще любил его. Но у него на дому ни разу не был. Даже не знал адреса. Да и не помню, чтобы он кого-нибудь звал к себе. Неприветно жилось Осипу Эмильевичу под родительским кровом. С отцом вечные ссоры. Самостоятельная жизнь казалась еще труднее, из меблированных комнат выселили за невзнос платы. Одно время, где-то на Сергиевской, прикармливали его дядя с тетужкой. Беден был, очень беден, безысходно. Но кроме стихов, ни на какую работу он не был годен. Жил впроголодь. Из всех тогдашних поэтов Петербурга ни один не нуждался до такой степени. Вообще все сложилось для него неудачно. И наружность непривлекательная, и здоровье слабое. Весь какой-то вызывавший насмешки, неприспособленный и обойденный на жизненном пиру.

Однако его творчество не отражало ни этой убогости, ни преследовавших его, отчасти и выдуманных им, житейских «катастроф». Ветер вдохновения проносил его поверх личных испытаний. В жизни чаще всего вспоминается мне Мандельштам смеющимся. Смешлив он был чрезвычайно – рассказывает о какой-нибудь своей неудаче и задохнется от неудержимого хохота... А в стихах, благоговей перед «святыней красоты», о себе, о печалях своих, если и говорил, то заглушенно, со стыдливой сдержанностью. Никогда не жаловался на судьбу, не плакал над собой. Самые скорбно-лирические его строфы (может быть, о неудавшейся любви?) звучат отвлеченно-возвышенно, вот – как эти белые стихи о мертвых пчелах:

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.
Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услышать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.
Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.
Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина дремучий лес Тайгета,
Их пища – время, медуница, мята.
Возьми ж на радость дикий мой подарок,
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

Приведу еще одно «молодое» стихотворение Осипа Мандельштама, в котором звучит уже не личная грусть, а грусть как бы закликательной отходной. По форме, не в пример другим, стихотворение – чрезвычайно просто и даже бедно: повторяющиеся глагольные рифмы и целые строки, все тот же похоронный припев в конце каждой строфы, как вздох. Слова-символы неразборчивы, сбивчивы, полузаумны, но поют о самом важном, об отходящей навсегда России, приобщенной гением Петра к великолепию европейских веков, в которых скиталась душа поэта:

На страшной высоте блуждающий огонь,
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь умирает
На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда летает.
О, если ты звезда, – воды и неба брат,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru

Твой брат, Петрополь умирает.
Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет.
Зеленая звезда, в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь умирает.
Прозрачная весна над черною Невою
Сломалась. Воск бессмертья тает.
О, если ты звезда – Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь умирает.

Много лет это стихотворение было последним, оставшимся в моей памяти от «прежнего» Мандельштама. Оно вошло в сборник, выпущенный в 1922 году издательством «Petropolis» (в Берлине) – «Tristia». До того, десятью годами раньше, вышла его маленькая книжка стихов – «Камень». В «Tristia» – 45 стихотворений, большую часть «аполлоновских» еще по духу. Затем, в 1925 году, поэту удалось издать небольшой сборник чрезвычайно ярко написанных мемуарных отрывков «Шум времени», а в 1928 году – поэму ритмической прозой «Египетская Марка» и, наконец, издан был Госиздатом томик поэта, под заглавием «Стихотворения», куда вошли целиком и «Камень» и «Tristia» и стихи, не попавшие в прежние сборники, сочиненные между 21 и 25 годами.

Впервые об этом мало кому известном в эмиграции сборнике я узнал года три назад от профессора Г. П. Струве. Он писал мне: «Сейчас, когда удушающий ждановский пресс выжал из советской литературной атмосферы последние остатки свежего воздуха, трудно поверить, что этот сборник Мандельштама был выпущен в 1928 году под фирмой Госиздата; что советские журналы могли серьезно – хотя и без всякого сочувствия – писать о нем; что Мандельштаму и после этого не был закрыт доступ в „Новый мир“ и „Звезду“...» Еще совсем недавно, уже после ждановских чисток, один советский критик в злосчастной «Звезде» вспоминал и даже цитировал вошедшие в сборник 1928 года стихи Мандельштама и говорил, что некоторые из них звучали как ребусы, были полны зашифрованных образов, и было очевидно, что «поэт не согласен с нашей революционной действительностью». Советский критик называл стихи Мандельштама «набором субъективных произвольных ассоциаций, противопоставленных реальной действительности» и цитировал в доказательство такие строки:

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным, за мельничным шумом...
Несмотря на «несозвучность генеральной линии», Мандельштам и позже, хотя редко, печатался в советских журналах; насколько удалось установить Г. П. Струве – вплоть до 1933 года. О том, что было с поэтом позже, ничего достоверно не известно. «Еще до войны, – сообщал Струве, – в Лондоне я слышал, что был он арестован за какое-то неосторожное высказывание в связи с убийством Кирова. В советской печати имя его перестало упоминаться. Говорили упорно об его исключении из Союза советских писателей (но мы даже не знаем, входил ли он в него – в Союз принимались только писатели, стоявшие на „советской платформе“). Позднее в России получил широкое распространение рассказ об эпиграмме, за которую Мандельштам пострадал, был арестован и сослан. Рассказ этот, проникший и за границу, я слышал от заслуживающего полного доверия лица, которое слышало его, в свою очередь, в Москве, почти из первых рук. Эпиграмма была на „самого“ Сталина... Но об обстоятельствах смерти Мандельштама (в том, что он погиб, почти нет сомнений) мы до сих пор наверное не знаем. Даже год смерти неизвестен. Есть разные версии, разные даты, но можно ли верить хоть одной из этих версий?.. Большой, замечательный поэт погиб безвестной смертью. Где, кроме сталинской России, мыслим такой факт?»

Сейчас известно около сорока пяти стихотворений Осипа Мандельштама после «Tristia». Я прочел их сравнительно недавно, и мое отношение ко многим из них уже не то, что к его раннему творчеству... Конечно, эти «советские» стихи Мандельштама дополняют его поэтический образ (между ними встречаются и совсем замечательные), но все-таки это уже куда менее «бесспорный» Мандельштам. Изменилась лирическая его настроенность и, в связи с этим, изменилась и манера письма. Лучше сказать – не столько изменилась, сколько доведена до предельной «криптограммности», и вовсе не только из соображений эстетического порядка: многое в этом герметизме объясняется причинами, увы, ничего общего с поэзией не имеющими; поздние стихи Мандельштама написаны сплошь да рядом на эзоповском языке – чтобы невдомек было тем власть имущим, в которых метят их отравленные стрелы. Попадают между ними – криптограммы с определенно политическим содержанием (после того как разберешься в словесных нагромождениях, увлекающих

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru
звоном необычных метафор, рифм и ритмических ударений).

Не надо забывать, конечно, и чисто литературных влияний, в частности – модного в те годы имажинизма, поэзии, уступающей первое место эффектно звучащим уподоблениям, описательным парадоксам и неожиданным эпитетам, зачастую никак не оправданным лирической сутью. Имажинизм в значительной степени облегчил Мандельштаму задачу (такую опасную в советских условиях) – говорить о том, о чем говорить не полагается. В самом деле – иначе, как эзоповским стилем, не объяснить строчек вроде:

Жестоких звезд соленые приказы,
или:

...Крутая соль торжественных обид,
или:

Время – царственный подпасок,
или:

Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной... и т. д.
При этом такие «непонятные» строчки звучат у Мандельштама не рассудочно, не обнаруживают хитро-сознательного приема, а выбрасываются им с оглядкой на «врага» из сознания повышено-нервного, страстно-напряженного, отдающего дань «поэтическому безумию» (вероятно, его и опьяняла эта словесная эквилибристика у «мрачной бездны на краю»). Несомненно так. Продолжая говорить правду, свою правду, он прятал обидный для инакомыслящих смысл ее в метафорах, на первый взгляд только парадоксальных, а на самом деле – изобличительных.

Вопрос тут не только в писательской «эволюции», а в глубоко-трагически пережитой поэтом гибели всего, чему он верил прежде, что считал целью и оправданием жизни. Никто, вероятно, из писателей не был потрясен «Октябрем» сильнее, чем Мандельштам, повторяю – может быть, даже до потери умственного равновесия. Недаром ходили слухи в России, что он вовсе не погиб ни от немцев (в годы нашествия), ни от чекистов, а попал, где-то на юго-востоке России, в лечебницу для душевнобольных...

Когда внимательно вчитаешься в позднейшие его стихи, эти слухи не кажутся невероятными. Пугливый от природы, но в свои часы смелый до отчаяния из благородства, Мандельштам действительно обезумел от большевизма. Правда – не сразу. Пробовал сначала «сменить вехи», завязывал дружбу с влиятельными литературными кругами, в качестве писателя-плебея по происхождению и вольнодумца без политических предубеждений. Осип Эмильевич попытался у жизни взять то, в чем она ему отказывала прежде. Даже – как это ни кажется невероятным – женился на молодой актрисе... Словом, всеми силами хотел примириться с реальностью. Но с творческим духом как справиться? В строчках, написанных им в это десятилетие, почти везде одна неотступная мысль об ужасе, об одиночестве, об обреченности и непримиримости по отношению к новой безрелигиозной, бездуховной большевистской ереси... Чтобы иметь возможность печатать такие стихи, нужна была словесная завеса и не только – из страха попасться в контрреволюционности, но также из какого-то опьянения этими словесными фокусами и этой вдохновенной одиночностью. Впрочем, прорываются и строки, довольно прозрачно указывающие на страстный мятеж автора... Выписываю наудачу (курсив – мой).

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит...

..... * * *
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит...

(1921)
...Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,
Как яблоня зимой в рогоже голодать,
Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому
И шарить в пустоте, и терпеливо ждать...

(1922)
...А ведь раньше лучше было
И пожалуй не сравнишь,
Как ты прежде шелестила,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru

Кровь, как нынче шелестишь

...Не своей чешуей шуршим,

Против шерсти мира поем.

Лиру строим словно спешим

Обрасти косматым руном.

Но вот уж совсем «программное» стихотворение (1923 года) – «Век». Начинается совсем недвусмысленно и вообще поддается расшифровке. Сам поэт как будто еще только оглядывается и пытается прозреть будущее:

Век мой, зверь мой, кто сумеет

Заглянуть в твои зрачки,

И свою кровью склеить

Двух столетий позвонки?..

.....

Словно нежный хрящ ребенка

Век младенческой земли –

Снова в жертву, как ягненка,

Темя жизни принесли...

Здесь «темя» я понимаю как высшие духовные ценности. Поэт хочет уверить себя, что задача поэзии увенчать эту жертву:

Чтобы вырвать век из плена,

Чтобы новый мир начать,

Узловатых дней колена

Нужно флейтою связать...

И тем не менее в заключительных строках он опять признается в своей беспомощности:

И с бессмысленной улыбкой,

Вспять глядишь, жесток и слаб,

Словно зверь, когда-то гибкий,

На следы своих же лап.

В следующем длинном стихотворении – какое отчаяние в этом отождествлении мирового процесса с творческим бессилием:

...Все трещит и качается.

Воздух дрожит от сравнений.

Ни одно слово не лучше другого,

Земля гудит метафорой...

.....

Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу.

Спасибо за то, что было:

Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете...

И в заключение:

То, что я сейчас говорю, говорю не я,

А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы.

Одни на монетах изображают льва,

Другие – голову,

Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки

С одинаковой почестью лежат в земле.

Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои зубы.

Время срезает меня, как монету,

И мне уж не хватает меня самого.

(1923)

В стихотворении, озаглавленном «1 января 1924», поэт жалуется на то, что ему отказано в праве на песню, на поэтическое слово, на правду сердца:

Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,

Еще немного – оборвут

Простую песенку о глиняных обидах

И губы оловом зальют.

О, глиняная жизнь! О, умиранье века!

Боюсь, лишь тот поймет тебя,

В ком беспомощная улыбка человека,

Который потерял себя.

.....

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru

Мне хочется бежать от моего порога.

Куда? На улице темно,
И словно сыплют соль мощною дорогой,
Белеет совесть предо мной.

К этому времени относятся, судя по стихам, последние колебания Мандельштама. Он понял, после пяти лет революционного насилия, что с «диалектическим материализмом» ему не по пути:

Нет, никогда, ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.

О как противен мне какой то соплеменник,
То был не я, то был другой

Но, может быть, всего недвусмысленнее выражен этот протест против бездуховного детерминизма в стихотворении, посвященном «пламенному Ламарку»:

...Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень
К кольцецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходим по изломам
Сокращусь, исчезну, как Протей.
Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Наступает глухота паучья,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.
Он сказал: довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.
И от нас природа отступила
Так, как будто ей мы не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу в темные ножны...
(1932)

Как все это, пожалуй, «заумно»! Но никогда не бессмысленно. Надо знать Осипа Эмильевича, как я знал его, чтобы за этим гремящим обличительно иносказанием почувствовать его муку. Большевикский погром нашей духовной культуры так расшатал его обостренную чувствительность, что он с годами и вовсе «потерял себя». Весь его внутренний мир, пронизанный светом мировой гармонии, рухнул в уродливой тьме народного и всемирного бедствия. И пусть прячет поэт мысли и чувства за образы и слова, переходящие сплошь в очень замысловатую «заумь», или логическую бессмыслицу, эта поэзия Мандельштама завораживает словесным мастерством и той подлинностью, которая чувствуется за словами и говорит о его возмущенном отчаянии.

Антисоветскость «советских» стихов Осипа Мандельштама – явление очень исключительное. И сам он, на фоне этих, так часто зашифрованных, стихов против вершителей русских судеб, вырастает, если прислушаться, в яркую фигуру мученика за правду. Власти, видимо, долго не понимали, о чем, собственно, они, эти строфы, такие необычайно звучные и как бы лишённые человеческого смысла. Но в конце концов этот смысл был разъяснен (не в связи ли с той эпиграммой на Сталина, о которой я упомянул?), и поэта «ликвидировали». Как? Это уже подробность. Верно то, что Мандельштам погиб благодаря своей Музе, не пожелавшей смириться перед властью несвободы.

Мне кажется, что это звучит и в том стихотворении Осипа Эмильевича, которое привезла недавно из России одна из его почитательниц. Оно еще не появлялось в печати, насколько я знаю, ни в России, ни по сю сторону железного занавеса. Но в авторстве его сомневаться нельзя. Это – исповедь поэта, вероятно сосланного куда-то в Сибирь – «в ночь, где течет Енисей», и тут в каждом слове звучит драматический стон его голоса:

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья и чести своей.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по шкуре своей.
Запихни меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей, –
Чтоб не видеть ни трусов, ни мелкой грязи,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.
Унеси меня в ночь, где течет Енисей,
Где сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по шкуре своей
И неправдой искривлен мой рот.

Илья Эренбург. Осип Мандельштам

«Мандельштам» – как торжественно звучит орган в величественных нефях собора. «Мандельштам? Ах, не смешите меня», и ручейками бегут веселые рассказы. Не то герой Рабле, не то современный бурсак, не то Франсуа Вильон, не то анекдот в вагоне. «Вы о ком?» «Конечно, о поэте „Камня“» – «А вы?» – «Я об Осипе Эмилиевиче». Некоторое недоразумение. Но разве обязательно сходство художника с его картинами? Разве не был Тютчев, «певец хаоса», аккуратным дипломатом, и разве стыдливый Батюшков не превзошел в фривольности Парни? Что если никак, даже с натяжкой, нельзя доказать общность носа поэта и его пэонов.

Мандельштам очаровательно легкомыслен, так что не он отступает от мысли, но мысль бежит от него. А ведь «Камень» грешит многодумностью, давит грузом, я сказал бы, германского ума. Мандельштам суетлив, он не может говорить о чем-либо более трех минут, он сидит на кончике стула, все время готовый убежать куда-то паровоз под парами. Но стихи его незыблемы, в них такрасота, которой, по словам Бодлера, претит малейшее движение.

Вы помните «пока не требует поэта»?.. Мандельштам бродит по свету, ходит по редакциям, изучает кафе и рестораны. Если верить Пушкину, его душа «вкушает холодный сон». Потом – это бывает очень редко, а посему и торжественно, – разрешается новым стихотворением. Взволнованный, как-будто сам удивленный совершившимся, он читает его всем и всякому. Потом снова бежит и суетится.

Щуплый, маленький, с закинутой назад головкой, на которой волосы встают хохолком, он важно запекает баском свои торжественные оды, похожий на молоденького петушка, но, безусловно, того, что пел не на птичьем дворе, а у стен Акрополя. Легко понять то, чего, собственно говоря, и понимать не требуется, портрет, в котором все цельно и гармонично. Но теперь попытайтесь разгадать язык контрастов.

Мы презираем, привыкли с детства презирать поэзию дифирамбов. Слава Богу, Пушкин раз навсегда покончил с ложноклассическим стилем. Так нас учили в гимназии, а кто потом пересматривал каноны учителя словесности? Нас соблазняет уличная ругань или будуарный шепот, Маяковский и Ахматова. Но мне кажется, что явились бы величайшей революционной вентиляцией постановка трагедии Расина в зале парижской биржи или декламация перед поклонницей Игоря Северянина, нюхающей кокаин, «Размышлений» Ломоносова. Деятнадцатый век – поэры и болтун – смертельно боялся показаться смешным, тщась быть героем. Он создал актеров без шпаги, без румян, даже без огней рампы. Ирония убивала пафос. Но у нас уже, как-никак, двадцатые годы двадцатого века, и, возможно, что патетичность Мандельштама гораздо современнее остроумного снобизма Бурлюка. Великолепен жест, которым он переносит в приемные редакции далеко не портативную бутафорию героических времен. Прекрасен в жужжании каблогграмм, в треске патетических сокращений державный язык оды.

Мандельштам слишком будничен, чтобы позволять себе говорить в поэзии обыкновенным языком. Он с нами живет понятный и доступный, но, как беременная женщина, смотрит не на мир, а в себя. Там, в поэтовой утробе, месяцами зреет благолепное и насыщенное слово, которое отделит его от прочих смертных и позволит с ним снова быть до конца. Этот инстинкт самосохранения породил самое изумительное, противоречивое, прекрасное зрелище. Поэты встретили русскую революцию буйными вскриками, кликушескими слезами, плачем, восторженным беснованием, проклятьями. Но Мандельштам – бедный Мандельштам, который никогда не пьет сырой воды, и, проходя мимо участка комиссариата, переходит на другую сторону, – один понял пафос событий. Мужички голосили, а маленький хлопотун петербургских и других кофеен, постигнув масштаб происходящего, величие истории,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru творимой после Баха и готики, прославил безумие современности: «ну что ж, попробуем огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля».

Надежда Мандельштам. Большая форма
Трагедия

В двадцатых годах Мандельштам пробовал жить литературным трудом. Все статьи и «Шум времени» написаны по заказу, по предварительному сговору, что, впрочем, вовсе не означало, что вещь действительно будет напечатана. Страшная канитель была с «Шумом времени». Заказал книгу Лежнев для журнала «Россия», но, прочитав, почувствовал самое горькое разочарование: он ждал рассказа о другом детстве – своем собственном или Шагала, и поэтому история петербургского мальчика показалась ему пресной. Потом был разговор с Тихоновым (приятелем Горького, ведавшим «Всемирной литературой» и издававшим какой-то частный журнал) и Эфросом. Они вернули рукопись Мандельштаму и сказали, что ждали от него большего. Хорошо, что мы не потеряли рукописи – с нас могло статься. Мы еще не понимали, что существуют архивы и Мандельштаму полагается хранить рукописи. Мы не сохранили, например, рукописей статей. Они шли в типографию написанные от руки, а черновики бросались в печку. Редакции корезили их по своей воле (текстов все же не меняли, а только сокращали), а черновики у нас не оставались. С «Шумом времени» нам повезло. У меня случайно оказался большой конверт, я сунула в него листочки, и они пролежали несколько лет. Второй – чистовой – экземпляр кочевал по редакциям, и все отказывались печатать эту штуку, лишнюю фабулы и сюжета, классового подхода и общественного значения. Заинтересовался Георгий Блок, двоюродный брат поэта, работавший в дышавшем на ладан частном издательстве. К тому времени Мандельштам уже успел махнуть рукой на все это дело... Книга вышла, а рукопись все же пропала, скорее всего у самого Блока, когда его арестовали. Взяли его как бывшего лицеиста. Люди и рукописи были обречены на мытарства и гибель. Удивительно, что хоть что-то сохранилось, но возможен оборот судьбы, когда исчезнет и то, что случайно уцелело.

С каждым годом все труднее становилось и со статьями. К середине двадцатых годов для Мандельштама, поскольку он «не перестроился» (мы это выдумали, а не китайцы, у нас приоритет, нечего его уступать), начисто закрылась вся центральная печать. В перестроившемся мире человек, который не сумел и, страшно сказать, не пожелал перестроиться, оказывался у разбитого корыта (какое там корыто! Откуда такая роскошь – ведь мы не выловили золотой рыбки). Неперестроившихся делили на две группы: одним следовало помочь, других выбросить за борт как безнадежных. В двадцатых годах Мандельштам еще числился в дурачках, нуждающихся в помощи, в тридцатых перешел в категорию, подлежащую уничтожению. Среди перестроившихся безумцев он числился тогда одним из первых номеров. Самые безумные – «религиозники» – в счет не принимались и подлежали искоренению с первых дней. Границы категорий были зыбкими. Они определялись, вероятно, специальными советчиками, часть которых получала зарплату и паек, а другая часть, значительно более многочисленная, работала даром. Менялись границы в соответствии с курсом, а гайки, как известно, завинчивались намертво. Изобретатель гаек тоже бы завинчивал, но до такой степени, пожалуй, не решился бы. Если бы гайки завинчивались в тысячу раз слабее, результат был бы тот же: терпение, молчание, омертвление...

Как ни ясен был исход, Мандельштам жил посвистывая и поплеывая и закрывал глаза на будущее. В Киеве нашелся дурковатый редактор газеты. Он служил чем-то в поезде главного хозяина в годы гражданской войны (тогда еще главный хозяин не был главным) и потому получил целую газету. Ему заморочили голову молодые сотрудники, и он тиснул несколько статей Мандельштама. Должно быть, у него был за это нагоняй, потому что он запомнил статейки. Мне довелось с ним встретиться уже в новое время – он жил в квартире Шкловских, впущенный туда Аркадием Васильевым. Шкловский, уходя из семьи, выделил для себя одну комнату, которую отдал председателю жилищного кооператива Васильеву. Это тот самый писатель, который выступал общественным обвинителем по делу Синявского, бывший чекист, спланировавший в литературу. Бывший киевский редактор жил на его площади на положении временного жильца, имел какое-то отношение к кооперативу и смеялся надо мной, что я до сих пор помню «мандельштамчика». Я так шуганула его (время-то было не хозяйское, а передышка), что он отлетел в свою комнату и больше не хамил. На прощание, переезжая в писательский кооперативный курятник, он подарил Василисе большую синюю чашку – на память о приятной встрече. Василиса с удовольствием пила из нее чай, но я не выдержала и разбила ее. Теперь Василиса пьет чай из моей синей чашки.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru
Я напрасно злилась на ничтожного идиота – их существование все-таки скрашивало жизнь. Не будь он идиотом, Мандельштам не напечатал бы – и не написал – кучки своих газетных статей, а они очень славные. Настоящие клинические идиоты – положительное явление. Какой-нибудь умный Щербаков, Фадеев или Сурков, в головах у которых не меньше мусору, чем у киевского редактора, никогда бы не допустили Мандельштама на страницы советской печати. Умные закрыли страницы журналов начисто. В тридцатых годах Мандельштам окончательно понял, что ни о каких регулярных заработках не может быть и речи, и мы научились жить как придется, на бутылки, например, но это случилось не сразу. К такому способу существования сразу привыкнуть нельзя, и человек долго барахтается, пока не решит сложить ручки и поклониться судьбе.

Среди писателей, объявленных вне закона, – не открыто, а под сурдинку, как у нас было принято, – находился и Шкловский. Он укрылся на кинофабрике, как евреи в оккупированной Венгрии – в католических монастырях. Шкловский усиленно рекомендовал Мандельштаму свой способ спасения и уговаривал что-нибудь написать для кино. На то, что сценарий пройдет и будет напечатан, надеяться нельзя, объяснял Шкловский, но фабрика платит за все, начиная с заявки и либретто на нескольких страничках. Всем, к кому Шкловский хорошо относился, он давал именно этот совет и предлагал вместе написать сценарий. Такое предложение было у него чем-то вроде объяснения в любви и дружбе. Реального же способа существования при кинофабрике он не открывал, и, как я теперь знаю, он был другой. Там подкармливали людей, давая им «внутренние рецензии», то есть отзывы на поступающие со всех сторон либретто и сценарии. Кормушка береглась для своих – кинодеятели тяготели к левовцам. Мандельштама к кормушке бы не допустили. Однажды в Киеве работники кинофабрики попробовали втиснуть в нее Мандельштама в качестве консультанта или редактора, но крепость оказалась неприступной. В кино не было идиотов. Там сидели только умные и деловые люди. А Шкловский, соблазняя Мандельштама, придумал даже сюжет для либретто: дворцовый лакей и его дочь, она уходит в революцию, а он сейчас служит в Екатерининском дворце, который стал музеем. «Вы же живете в Царском, – сказал Шкловский, – обыграйте его. Пойдите в музей и придумайте...» Он вел себя, как сирена-соблазнительница.

Такой сюжет назывался «историческим», хотя историей в нем и не пахло. Он был доступнее, чем «современная тема» с кознями заговорщиков и вредителей против революционных рабочих. «Современная» оплачивалась несравненно лучше, но интеллигентов спасала «история», выполнявшая функции того же католического монастыря. (А ведь нам и католический монастырь бы не помог: не могли ведь они припрятать двух неразлучных разнополых.) Рецепт «обыгрывания» был заранее известен: жандармы, тюрьма, а потом ликующие толпы со знаменами. Главное же – психология папаша, у которого два пути. Один – проклясть дочь, а потом горько раскаяться, другой – перейти на ее сторону и оказать ряд услуг будущим победителям и за это получить награду, то есть очутиться рядом с воскресшей дочкой в толпе счастливых демонстрантов. Есть еще вариант: папаша в гневе рушит дворцы, падают камни, бревна и прочие архитектурно-бутафорские предметы, а потом они собираются вместе, воскресает не дочь, а дворец, но в виде «памятника старины», подлежащего охране, или музея. Все это служило предлогом для показа красот, а что еще прекраснее царскосельских дворцов и парков.

Мы послушались Шкловского и решили идти «на дворцы и морцы», а для начала отправились в музей. Вернувшись домой, Мандельштам заявил, что в три дня напишет либретто, и тут же надиктовал одну или две странички. Выяснилось, что он придумал один-единственный момент: у входа посетителям дают веревочные туфли, чтобы они своей грубой обувью не поцарапали драгоценный паркет. Кадры оказались роскошными. Мандельштам заметил несколько образцов нищенской обуви и рваных брюк и собирался построить начало на игре веревочных сеток, паркетин и ветоши. Мысль работала явно в ложном направлении: хвастаться нищетой у нас не собирались. В фильме Шпиковского «Шпигун», на который Мандельштам написал рецензию, заставили переснять огромные куски, потому что красноармейцы в гражданскую войну были сначала показаны такими, как были, то есть очень оборванными. По требованию идеологов их пришлось приодеть и привести в почти элегантный вид. Мандельштам прочел надиктованную страничку и вздохнул – богатство упорно ускользало из наших рук. Я предложила свой вариант: выбросить обувь и сохранить только паркетины и сетки из веревок, но Мандельштам заявил: «Мы разорены» – и отказался от мысли о кино. А чем плохо были паркетины и веревки? Разнофактурно и красиво. Наши режиссеры охотно отыгрывались на деталях: рябь на воде, колыхающиеся травинки или колосья, перья нахолившейся птицы, рыбачья сеть и многое прочее... Для моих современников, последних уцелевших стариков, кино двадцатых годов, как и театр,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru остаются знаком великого расцвета искусств. О литературе и живописи говорят несколько сдержаннее, но кино связано со знаменитой одесской лестницей, по которой катится детская коляска с младенцем, засухой, овцами, высунувшими от жажды воспаленные языки, яблоками, падающими в рот счастливому хохлу, бесславным концом Санкт-Петербурга, червями, копошащимися в говядине... Будущие поколения удивятся холодной роскоши деталей и нищете мысли в этих фильмах. В кино, может, и не нужно мысли, но пропагандистские фильмы претендовали на нее, и это оттеняет их жестокую сущность. Особенно мне запомнилась садистская коляска на лестнице и шикарный крестный ход во время засухи.

Исторический сюжет, казалось бы, требует исторической концепции, но в литературе все было стандартизировано, как и в кино. Так получалось далеко не только из-за запрета сверху. Если бы действовал один запрет, где-нибудь бы сохранились припрятанные в столах листочки, но этого добра дошло слишком мало, и все, что добралось до наших дней, было в свое время нам известно. Больших неожиданностей и находок как будто не предвидится, и никто еще не задумался, откуда такое оскудение. Ахматова перечислила то, чего она лишилась, когда эпоха загнала реку в другое русло, но она забыла упомянуть про мысль. Мы все, включая Мандельштама и Пастернака, не додумали множества мыслей, вернее, эти мысли даже не приходили нам в голову, а потому не воплотились в слово. Земля действительно стоила нам десяти небес, но земли-то мы получили не больше, чем раскулаченные и раскулачиватели. Горизонт сузился до неузнаваемости. Даже те немногие, кто сохранил внутреннюю свободу, думали лишь о текущем, подsunутом нам эпохой. Мысль попала в плен. В какой-то степени она всегда в плену у своего времени, но самое время расширяет или ограничивает размах мысли, а наше ограничило ее до нищенских пределов. Жестокая действительность и ходячая мудрость наших дней давили на нас с такой силой, что мы не думали, только рассуждали... Эпоха помогла тем людям, у которых начисто ничего не было за душой. Она подsunула им похвалу времени или жалобу на его жестокость. Три поэта, которые имели что сказать, заплатили дань времени тем, что на какой-то период каждый из них был поражен немотой. Это еще не самая страшная дань. Прозаики – проза ведь мысль, мысль и мысль – заплатили куда больше.

Вокруг нас копошились писатели. Мы встречали их только в редакциях, но знали, чем они живут. Тынянов объявил, что настало время прозы, потому что эпоха поэзии кончена, а Мандельштам сказал, что тюремщики больше всех нуждаются в романах. На писателей был спрос, и они после первого подъема, когда им довелось рассказать несколько случаев из гражданской войны и народной революции, ломали голову, что бы изобрести, чтобы подняться наверх и выбиться из нищеты. Деньги оказались отличным стимулом для изобретательства, и все мечтали написать многолистный роман или пьесу. Особенный соблазн представляла собой пьеса: человек, удостоившийся «поспектакльных», расцветал на глазах. Катаев рассказывал басни про счастливых драматургов. Про одного он выдумал, будто тот зафрахтовал машину и она следует за ним в черепашьем темпе, не отставая и не перегоняя. Драматург идет по бульвару, а машина ползет рядом с ним по мостовой на случай, если ему вздумается куда-нибудь поехать. Это было пределом величия, потому что о собственных машинах до конца тридцатых годов никто не мечтал. Счастливцев, у которого пьеса пошла в Художественном, немедленно менял жену. На него набрасывались красотки, бедные девочки, еще не научившиеся зарабатывать свой черствый кусок. Они обычно числились киноактрисами и раз в год участвовали в массовых съемках, а на самом деле искали хоть временных мужей, чтобы подкормиться и купить туфельки. Драматурги ценились не меньше, чем правители. Во втором ранге стояли писатели с уже напечатанным романом, а переводчики, даже энергичные и работающие, как машина – по сто строчек в день (Шенгели доводил до полотораста и очень этим гордился), – числились самым последним сортом. Бедные золушки – сами они были обесцененным товаром...

Мечты о пьесе и романе не целиком объяснялись здоровой жаждой благополучия и денег. В воздухе носилось стремление к «большой форме». Люди повторяли поговорку о корабле, которому подобает большое плаванье. Мера «большого» исчислялась чисто количественно. Для писателя это многолистность, для поэта – количество строк. Действовала своеобразная гигантомания, и даже такие люди, как Пастернак, заразились общим поветрием. Он начал говорить о романе с середины двадцатых годов, а разговор о пьесе завел чуточку позже. Гладков в своих страничках о Пастернаке не врет и не хвастается, когда рассказывает о неслыханном внимании к нему Пастернака. Я узнаю в его рассказе Бориса Леонидовича, который мучительно думал, как бы сочинить пьесу, и присматривался к драматургам, которым повезло... Что же до романа, то он написал в письме Мандельштаму: раз вышел «Шум времени»,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru значит, есть все данные для романа, пора приступать... В Москве, когда мы жили на Фурмановом переулке, Пастернак довольно часто заходил к нам, особенно если гостила Ахматова. Он часто говорил о романе, и это по его поводу Мандельштам сказал: «Для того чтобы написать роман, нужны по крайней мере десятины Толстого или каторга Достоевского...» Ахматова путает, говоря, что это было сказано по поводу Коли Чуковского. На него Мандельштам не отпустил бы такой славной шутки. Для романа Коли Чуковского ничего не нужно, кроме пишущей машинки или автоматического пера. Что еще делать Коле Чуковскому, как не писать солидные романы? А при жизни Мандельштама он и вовсе еще не подавал заявки на роман, а кормился детской литературой и переводами. Впрочем, про Колю я ничего не знаю. Он был у нас один раз в жизни и выдумал, будто я лежала в сундуке. Почему все врут про Мандельштама?

Я страшно удивлялась разговорам Пастернака о романе. У меня слово «роман» отождествлялось с чтивом, а «Войну и мир» или «Идиота» я романами не называла и не называю. Сейчас романом я называю только «Доктора». Но я и сейчас думаю, что мысль, концепция, виденье мира побуждают человека к писанию, к труду, а форма приходит сама – непрошенная, незванная. Пастернак же говорил о литературном жанре, и мне казалось, что не мысль толкает его на какую-то форму, а возделенная форма подстрекает мысль. Его вроде как не удовлетворяло лучшее, что было ему дано, то есть лирическое дарование и трепещущие мокрые ладони. Он стремился преодолеть прекрасное косноязычие поэта и заговорить на всеобщем языке понятий и слов. Впоследствии он назвал это «простотой»... Теперь я лучше понимаю Пастернака – у него была тяга к объективации, необходимость рассмотреть и понять объект. В лирике он весь был во власти ощущений, она по сути своей сливалась с его повседневностью – и в этом его обаяние. Из повседневности он лишь изредка видел объект – историю, страну, и то главным образом с ракурса сегодняшнего дня. Пастернака мучила потребность в анализе, в отдалении, в перспективе, потому что субъект, живущий ощущениями, не сливался у него с объектом. Роман Пастернака – погоня за утраченным временем, чтобы найти свое место в движущемся потоке дней и понять смысл движения.

Достоевский писал в кризисный период, но структура общества еще не рухнула. Это значит, что общественная, философская, религиозная мысль могла еще сгущаться в различных слоях общества, в умах отдельных его представителей. Пастернак задумался о романе, когда движение идей прекратилось и было заменено вопросом о цели и о способах и средствах к ее достижению. Так называемое единомыслие означало распад связи между молекулами, потому что общество сложная структура и превратить его в двупланную – народ, толпа, копошащиеся человечки и вожди, гиганты, гении – можно лишь искусственным способом, тщательно уничтожая все внутренние связи. У нас последовательно проводился принцип депортации, и не только по отношению к целым народам или к крестьянству в период раскулачивания, или к самым различным слоям населения при массовых ссылках в лагеря или на поселение, но и в ежедневной практике без явного насилия. Как правило, человека отправляли на работу – партийную или профессиональную, после окончания учебных заведений, – подальше от родных мест, где он никого не знал и не смел открыть рта, потому что очутился один среди чужих. Шла непрерывная вербовка на работу за тридевять земель, причем рабочих и крестьян соблазняли куском хлеба. Все вместе было механической болтанкой с непрерывным подрубанием корней и ускоряло процесс распада и потери личности. Пастернак жил в центре распада и болел, как все (в той или иной форме), всеми болезнями времени, а поэтому собрать мысль и приступить к анализу ему было бесконечно трудно.

Война на миг сплотила людей, и этот общий порыв подготовил события середины пятидесятых годов и последовавшее за ними брожение умов у новых поколений. Именно поэтому роман Пастернака мог осуществиться только после войны. Мне кажется знаменательным, что центром романа Пастернак сделал поэта с биографией, как бы параллельной его собственной, но в неблагоприятном ключе. Он проверил, как бы сложилась его жизнь, если бы река потекла по другому руслу. Ахматова, разглядывая себя в другом русле, всегда видит благополучную женщину, которой могла бы стать. Пастернак увидел себя скитальцем и трагическим странником, которым стал бы, если б сразу расценил эпоху, как через несколько лет после войны. У Мандельштама параллельной судьбы быть не могло: он на ходу платил дань времени и сразу ощутил себя тем, кто противостоянием борется со всеобщим распадом. Эпоха не поворачивала его в другое русло – он сам пробивал свой путь, и труд был так велик, что многое из того, что он мог сказать, осталось неосуществленным.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru Мандельштам писал не рассказы, повести, очерки или романы, а прозу или стихи. Других определений он не употреблял. Он твердо знал, что всякий жанр непрерывно исчерпывает себя и тот, кто берется за него, начинает с полной перестройки. «Война и мир» для него не просто роман, а эпическое и хроникальное целое, а Достоевский разворачивает действие наподобие трагедии. Как случилось, что подлинная трагедийность воплотилась у нас в форме повествования, а не театрального действия? Мандельштам часто говорил о трагедии, но не как о литературном жанре, а об ее сути. Он рано осознал, что трагедия на театре невозможна, и сказал: «Я не увижу знаменитой Федры». Ему не суждено было услышать, как «расплавленный страданием крепнет голос и достигает скорбного накала негодованием раскаленный слог». Причина конца трагедии в несовместимости трагедийности с теми, к кому обращаются с подмостков; зрители-шакалы, которые готовы растерзать музу. В статье 1922 года Мандельштам пробовал объяснить, почему в наши дни невозможна трагедия. Сказано это по поводу Анненского, который «с достоинством нес свой жребий отказа, отречения». «Дух отказа» в поэзии Анненского «питается сознанием невозможности трагедии в современном русском искусстве благодаря отсутствию синтетического народного сознания – непререкаемого и абсолютного – необходимой предпосылки трагедии; и поэт, рожденный быть русским Еврипидом, бросает в водопад куклу, потому что „сердцу обиды куклы обиды своей жалчей“»...

Синтетическое сознание возможно только в те эпохи и у такого народа, который хранит «светоч, унаследованный от предков», то есть когда народ имеет твердые ценностные понятия и трагедия говорит об их осквернении и защите. Не ведет ли к катарсису, духовному очищению и просветлению, именно победа ценностей, утверждение их непререкаемой мощи? Европейский мир строился на величайшем катарсисе, доступном только религиозному сознанию, – на победе над смертью и искуплении.

Во всем европейско-христианском мире ценности расшатывались в течение многих десятилетий, вернее, столетий, но та степень глумления, которой они подверглись у нас, неведома нигде и никому. Если б собрать наших зрителей-шакалов и показать им осквернение ценностей, его приветствовали бы радостным ревом. На протяжении десятилетий их приучали именно к такой реакции, когда они наблюдали, как оскверняют алтари, домашние очаги и священные права народа. Одни поддерживали осквернителей, другие, лучшие из лучших, равнодушно отворачивались и шли домой сводить концы с концами. Мы заслужили мелодраму вместо трагедии и получили ее со всеми экспрессионистскими и псевдореалистическими штучками, а главное, с вывороченной наизнанку темой и героем – осквернителем ценностей и несправедным судьей, который отстаивает свое право на власть и руководство человеческими толпами. В театр пришла литература, которая «везде и всюду... помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными»...

В Воронеже в 1935 году Мандельштам с несколько иной стороны подошел к трагическому. Редакция местной газеты поручила ему статью о Серафимовиче, и он написал несколько страничек и тут-то понял, что никуда с ними соваться нельзя. Серафимович был объявлен у нас чем-то вроде божка, и посягать на него не полагалось. Мандельштам произнес обычное: «Мы разорены» – почему это, что бы он ни написал, мы всегда бывали «разорены»? – и бросил листочки в чехол, потому что сундук для рукописей остался в Москве. Листочки случайно сохранились. Это автограф, потому что я, понимая безнадежность всей затеи, отказалась писать под диктовку. В них несколько слов о том, что «Трагическое, на каком бы малом участке оно ни возникало, неизбежно складывается в общую картину мира».

Мне думается, что в общую картину мира может складываться только то, что так или иначе связано с ценностями «открытого», а не «закрытого» общества в точном бергсоновском смысле слова, то есть с Духом, который почиет, где хочет. Самый факт смерти, например, входит в картину мира, поскольку человек смертен, но никакая смерть не даст картины мира, кроме той, с которой началась наша эра и возникло «открытое» общество. Мандельштам удивлялся наивно-эгоистическому отношению к смерти благодушных тетушек, выросших в девятнадцатом веке. Одна из них при нем сказала мне: «Твой дядя Миша трагически погиб под ножом хирурга...» Я заметила иное, но тоже не удовлетворяющее меня отношение к трагическому у Ахматовой. Я пришла к ней с хорошеньким мальчиком Перепелкиным, внучатым племянником Василисы Шкловской. Ахматовой очень понравился трехлетний красавчик, и она сказала мне при следующей встрече: «Вот трагедия, если умрет такой Перепелкин». «Горе, а не трагедия, – сказала я, – ужасно жалко детей, когда они больны или страдают». Ахматова настаивала, что именно в гибели или, точнее, в

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru
смерти нерасцветшего заключается сущность трагедии. Я вспомнила стихи: «И ранней смерти так ужасен вид, что не могу на Божий мир глядеть я», – но в стихах печаль и горечь, а не раскрытие трагического. Мне легче понять торжество смерти, которое ощущал Мандельштам, чем ее трагичность.

Передо мной встает еще один вопрос в связи со словами Мандельштама о трагическом, складывающемся в картину мира: почему у нас «отдельное», единичное, никогда не воспринимается как знамение или символ целостной картины мира? Причину я вижу только одну, и притом чисто психологическую, – количественный подход ко всему на свете, свойственный позитивистам. Первоначально проблема имела следующий вид: можно ли убрать одного человека, который стоит на пути к счастью миллионов? А если это не один человек, а несколько? В 1937 году Шагинян, изнывавшая от любви к людям и к Гете, возмущалась интеллигентами: «Посадили несколько человек, а они подняли крик...» (Чего я поминаю эту старуху, от которой останется один прах? Она была характерна для эпохи и выбалтывала то, о чем другие молчали.) Как только появилось неопределенное множество «несколько», дело было сделано: можно говорить, например, о нескольких миллионах, которые составляют ничтожную часть человечества, особенно если учесть длинный ряд будущих поколений, счастливых и беззаботных... Первая массовая операция – раскулачивание крестьян, поднявшихся в нэп, – прошла незамеченной, потому что говорили: в такой-то деревне раскулачили одно, а в такой-то несколько хозяйств. Складывать единицы в конкретную сумму не полагалось. Мы всегда предпочитали конкретным суммам процентные отношения и неопределенные множества: ведь любой миллион состоит из некоторого количества групп по несколько человек. Кстати, о людях речи не шло, говорили о раскулаченном хозяйстве или дворе, что тоже является неопределенным множеством.

На всех службах люди, числившиеся единицами, вели учет и подсчитывали, сколько человеко-часов ушло на выполнение каждой работы и каково отношение человеко-часов к любой несоизмеримой с ними величине. В результате перебирания больших и малых чисел развилось абсолютное равнодушие к каплям, составляющим мировой океан. Весь народ обучился диалектике и умело избегал перехода количества в качество. Этим законом не пользовались даже в тех случаях, когда он мог пригодиться: «несколько» или процент ведь еще не количество, чтобы подумать о качестве. От процентных отношений рябило в глазах, и мы начисто забывали, что каждая ничтожная (может ли она быть ничтожной, если в ней есть внутреннее единство и целостность?) единица есть неповторимая катастрофа и может представлять за все миллионы. Александр Гладков все собирает написать о равнодушии, с которым в литературных и театральных кругах тридцать восьмого года приняли известие об аресте и гибели Мандельштама. Гибель единиц покрывается повышением рождаемости и нарастанием темпов, как твердо знал всякий деятель великой эпохи.

В 1937 году Мандельштам снова вернулся к вопросу о трагедии, на этот раз в стихах. Он уже твердо знал, что трагедийное действие разворачивается не на подмостках, а в повседневной жизни. Он сказал: «Тому не быть – трагедий не вернуть, но эти наступающие губы, но эти губы вводят прямо в суть Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба»...

Европейский мир построил свою культуру на символе креста, напоминающем об одном распятом на этом кресте. В основе этой культуры лежало отношение к личности как к высшей ценности. Нам нужно снова научиться понимать, что каждая отдельная судьба – символ исторического дня, и тогда «отдельное», на каком бы малом участке оно ни разворачивалось, сложится в нашем уме в общую картину мира. Только случится ли это? Не поздно ли? Не упустили ли мы момента, когда можно было опомниться и остановить процесс ворочанья неопределенных множеств и процентных отношений? Не знаю и знать не могу. Скорее всего, зашло слишком далеко, и процесс распада необратим.

Единство потока

Мандельштам говорил, что Есенина сгубили, требуя с него поэму, «большую форму», и этим вызвали перенапряжение, неудовлетворенность, потому что он, лирик, не мог дать полноценной поэмы. Мандельштам проявил абсолютную устойчивость против всех видов современной ему гигантомании. Причину устойчивости я вижу в том, что он на собственном опыте познал подлинную «большую форму» в лирике, то есть книгу, являющую целостность и единство стихов, появившихся в один период. Взаимосцепление стихов, их разворот, единая лирическая мысль и единство мироощущения делают книгу особой формой, обладающей собственным сюжетом и своими

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
закономерностями. Можно сознательно делать композицию книги, располагая стихи по плану, как поступали Анненский и Ахматова. Она даже объединяла группы стихов, разновременных, но связанных общей темой, под одним названием. Но я говорю не о привнесённой в книгу композиции, а об органическом единстве, которое дается общностью поэтического потока и его целостностью.

Настоящая книга разворачивается, как жизнь, во времени. Книга – это рост человека, углубление его связи с миром, но только на одном этапе, пока связующие нити остаются те же, что в начале. Каждое стихотворение раскрывает новую сторону или новый момент роста, и случайности в их последовательности быть не может, потому что рост не произвол, но органическое явление. Смены книг означают разные периоды в жизни поэта – в них обнажается структура его биографии и мышления. Это внутренняя динамика жизни – у одних сопряженная с внешними событиями, у других, например у Батынского, обнажающая духовный рост. Есть темы, проходящие через всю жизнь поэта, но в разных книгах или на разных этапах они обернутся разными сторонами, потому что личность, единая и обладающая единой структурой, претерпевает на протяжении жизни ряд метаморфоз. Есть общее для всех движение от детства к старости, но каждый человек по-своему переживает эти этапы. Умение сохранить единство личности на всех этапах является своего рода победой над смертью, но хорошо, если при этом отдается должное всем возрастам и юное будет юным, а старое – старым.

В любом моменте роста есть свой одухотворенный смысл, и личность только в том случае обладает полнотой существования, когда расширяется на каждом этапе, исчерпывая все возможности, которые дает возраст. Великое счастье, если художник прошел все ступени, сохранив единство личности и не помешав ее росту, но такое дано не всем, вернее, почти никому. Иногда мешают внешние обстоятельства (Мандельштам утверждал, что это отговорка слабых, но «внешним обстоятельством» может быть и насильственная смерть), но чаще у художника не хватает внутренних сил, потому что они растрачиваются в пути. Хорошо, если поэт успевает выжить в юности и в зрелые годы – ведь и это дано далеко не всем.

В газетной статье 22 года, почти никому не известной, куски которой использованы в других статьях, Мандельштам приравнял отношение символистов к Западу к юношеской влюбленности и обмолвился несколькими словами о росте поэтической личности: «Вместо спокойного обладания сокровищами западной мысли... – юношеское увлечение, влюбленность, а главное – неизбежный спутник влюбленности – перерождение чувства личности, гипертрофия творческого „я“, которое смешало свои границы с границами вновь открытого увлекательного мира, потеряло твердые очертания и уже не ощущает ни одной клетки как своей, пораженное водянойкой мировых тем. При таком положении нарушался самый интересный процесс – рост поэтической личности: сразу взяли самую высокую напряженную ноту, оглушили сами себя, а не использовали голоса как органическую способность развития». (В 22-м году Мандельштам, очевидно, еще не полностью осознал разницу между понятиями «рост» и «развитие».) Близкая мысль в стихах: «Не торопиться. Нетерпенье – роскошь, я постепенно скорость разовью...»

В «Камне» Мандельштам напечатал далеко не все стихи первого потока. Кое-что из них сохранилось в архиве. «Камень» – книга ранней юности, первого удивления и осмысления: «Неужели я настоящий и действительно смерть придет?» – вплоть до находки твердого ядра жизни и культуры. Принято было говорить, что молодой Мандельштам не эмоционален (судили люди, испорченные распущенностью и открытыми излияниями десятых годов), холоден, «классичен», что бы ни означало это нелепое слово. Мне думается, его просто плохо прочли (а кого хорошо прочли?) и не заметили юношеской тоски ранних стихов и особого звука в стихах последней трети, начиная с Иосифа, проданного в Египет. В «Камне» жизнь для Мандельштама еще случайность, боль, и он – чужой между чужими – постепенно доискивается до ее смысла, который впервые открывается ему в смерти. В «Камне» уже появляется историософская тема как поиск твердого ядра в жизни общества. Для того периода основное начало – церковь, причем католическая. Отсюда постоянное возвращение к Риму, которое он пронес через всю жизнь, сказав в одном из последних стихотворений: «Медленный Рим-человек». В зрелые годы ядром становится христианство и выросшая на христианских идеях европейская культура, жесточайший кризис которой мы так мучительно переживали. Архитектурная тема во всех книгах связана с задачей человека на земле – строить, оставить осязаемые следы своего существования, то есть побороть время и смерть.

Все книги, кроме двух первых изданий «Камня», собирались при мне, и я видела,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru как Мандельштам вынимал «из кладовой памяти» стихи, по тем или иным причинам не вошедшие в ранние книги. «Триптих» издавался без Мандельштама, и в них напечатана в произвольном порядке кучка стихов разного времени, которые должны занять свое место в настоящих книгах, как и все снятое цензурой. В третий «Камень» Мандельштам вернул несколько стихотворений, которые раньше оставались за бортом, например два стихотворения из римского цикла – «Пусть имена цветущих городов...» и «Природа тот же Рим...». Под одним он поставил дату, другое имеет внутреннюю датировку: строчка «Священники оправдывают войны» могла быть написана только в начале первой мировой войны. Вероятно, между этими двумя стихотворениями есть небольшой промежуток – они были начаты вместе, но закончены в разное время, когда Мандельштам уже начал отходить от римско-католической концепции и склоняться к православию. Сдвиг произошел под влиянием Каблукова, но намечался еще до встречи с ним. Впоследствии он будет говорить о христианстве в целом: «Я христианства пью холодный горный воздух».

Не знаю, не подвергались ли стихи, долго хранившиеся в памяти, каким-либо изменениям. Вспоминая стихи тридцатых годов, Мандельштам в Воронеже иногда нечаянно, иногда сознательно что-то менял, но память у него слегка ослабела, и в ней не стало былой цепкости и точности. Память поэта всегда невероятно загружена – даже в тех случаях, когда он сразу записывает стихи и сохраняет черновики. До черновика, то есть до начала работы над уже становящимся, а может, почти ставшим стихотворением, есть длительный период накопления и подготовки, всегда происходящий только в уме и на бумагу не попадающий. Это накапливание слов, словосочетаний, бродячих строчек и даже строф, в которых мысли еще нет, а есть только ядро мысли, а чаще – ее зачаток. Строки и строфы иногда входят во вновь возникающее стихотворение, иногда же они служат стимулом к появлению стихов. Сами по себе это только заготовки, и они могут жить годами, чтобы потом внезапно вынырнуть и соединиться с новым материалом. Поэт даже в периоды молчания и отдыха продолжает работать, потому что заготовки тоже работа.

Использование заготовок связано с их осмыслением. Они подвергаются воздействию как бы пучка лучей, который и есть поэтическая мысль. Пока то, что я сравниваю с пучком лучей, не вспыхнет, стихи не возникают и материал, то есть заготовки, погружен в тьму. Иногда они случайно попадают на бумагу, и можно проследить, как поэтическая мысль потом вырывает их из мрака, встряхивает и наделяет жизнью. В 1932 году я лежала в Боткинской больнице, и Мандельштам, навещая меня, почуял запах карболки. Это повлекло обострение обонятельных ощущений, и в записной книжке появились строчки о запахах. Записная книжка лежала в Москве в сундучке с черновиками «Путешествия в Армению», а Мандельштам жил в Воронеже, когда в 1936 году использовал заготовку с запахом карболки в стихотворении о собственной смерти в «бесполом пространстве». «Бесполое» для Мандельштама – бесстрастный, равнодушный, не способный к нравственному суждению и выбору, лишенный жизни и смерти, а только пассивно существующий и самоуничтожающийся. В мире людей, «мужей», верных в дружбе и готовых «на рукопожатие в минуту опасности», и «жен», гадальщиц, плакальщиц, собирающих «легкий пепел» после гибели мужей, доброе и создающее начало обладает полом, а мертвое, губительное оказывается бесполом («бесполая владеет вами злоба»). У Мандельштама была уверенность, что в близости двоих и в дружбе «мужей» (после Гумилева уже не было настоящего друга) – основа жизни, истоки добра и высшей просветляющей любви. Я думаю, что в двадцатых годах заглохла вера в церковное начало – после «Исаакия» он не возвращался к церкви, но успел сказать: «Сюда влачатся по ступеням широкопασмурным несчастья волчий след» и назвал соборы: «Зернохранилища вселенского добра и риги Нового Завета» (1921). Отход от церкви, по-моему, объясняется не только общей глухотой тех лет, но и событиями в самой церкви, диспутами Луначарского и Введенского, пропагандой так называемой «живой церкви». Мы видели много тяжелого, и хотя Мандельштам знал, что священника не выбирают, как не выбирают отца, а то, что делается внутри ограды, не умаляет значения церкви, и, наконец, до нас доходили слухи о священниках в лагерях, об их мученичестве и героизме, – все же он не мог не заметить, как ослабела связующая сила церкви, тоже переживавшей тяжкий кризис наравне со всей страной. Все связи рухнули, и люди, «разбрызганы, разъяты», хватались за руки, по двое, по трое, крошечными объединениями, чтобы было на кого посмотреть в последнюю минуту. Но в эту самую последнюю минуту человек, погибавший от истощения в лагере, оставался безнадежно один, доходяга, уже не волочивший ног. Разве что врач из заключенных мог поймать последний осмысленный взгляд. Мне говорили, что врачи иногда сохраняли человечность и в том аду.

Миру людей у Мандельштама противостоит равнодушное, слепое небо, «клетка птичья» – «Кровь-строительница хлещет горлом из земных вещей...» и с высокой клетки

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru птичьей, от лазурных влажных глыб, льется, льется безразличье на смертельный твой ушиб». Безразличье – свойство мертвой, а потому бесполой природы.

Импульсом к стихотворению о гибели в «бесполом пространстве» («Нет, не мигрень, но подай карандаш ментоловый»), в котором осмыслился запах болезни и смерти – карболка, послужили похороны летчиков. Два стихотворения, связанные с похоронами, были первым подступом к «Стихам о неизвестном солдате», где речь идет уже не о со-умирании, то есть об упражнении в смерти, о подготовке к ней, а о гибели «с гурьбой и гуртом», о том, что названо «оптовыми смертями», косившими людей в лагерях и на войнах двадцатого века.

Сопереживание смерти предшествует этой фазе «оптовых смертей» и характерно для зрелого Мандельштама. На сопереживании построен весь цикл Андрею Белому, в центре которого стоит стихотворение «10 января 1934 года», куда вошли элементы (заплачка) из давным-давно потерянного и забытого плача по святому Алексею. Даже забытые, эти строчки сохранялись в темной памяти и выплыли, когда на них попал луч поэтической мысли. Работа над циклом А. Белому продолжалась до лета 35 года, когда сочинялось стихотворение о летчиках и «Нет, не мигрень...». Только тогда Мандельштаму стала совершенно ясна тема соумирания, сочувствия смерти другого как подготовки к собственному концу. Вот тогда-то я и говорила ему: «Чего ты себя сам хоронишь?» – а он отвечал, что надо самому себя похоронить, пока не поздно, потому что неизвестно, что еще предстоит.

В стихотворении «10 января» никак не мог отстояться конец. От него сначала отслоились маленькое стихотворение об умирании («Он, кажется, дичился умиранья...») и три восьмистишия. Одно из них («Преодолев затверженность природы...») сразу было перенесено в восьмистишия, единственную группу стихов, где нарушен хронологический принцип, и не столько осколком из цикла Белому, который писался одновременно с восьмистишиями (неразумные редакторы не подозревают, сколько вещей может одновременно находиться в работе, не попадая на бумагу), сколько стишком «Шестого чувства крошечный придаток...», связанному с Ламарком. В Воронеже Мандельштам окончательно утвердил конец «10 января» с соучастием в смерти: «Как будто я повис на собственных ресницах и созревающий и тянущийся весь, покуда не сорвусь, разыгрываю в лицах единственное, что мы знаем днесь». До этого он подумывал о почти декоративной концовке о мастере, художнике и гравировальщике. Тогда-то возник вопрос, что делать с восьмистишиями и другими стихами, возникшими вокруг основного стихотворения. Они ни в коей мере не были вариантами, хотя и обладали общими строчками. Скорее, их следует назвать вариациями, а тема с вариациями такая же законная форма для поэзии, как для музыки, и недаром Пастернак так назвал одну из своих книг. Тем самым он обнажил характер поэтического труда, но никто не пожелал в это вникать. Композиторы сделали это гораздо раньше, но у музыки есть теория и контрапункт, поэтому в ней все проходит легче.

Мандельштам, обдумывая, что сделать с «темой и вариациями», попросил меня записать все как одно стихотворение (листок сохранился), но вскоре прервал запись – куски не срастались. Он сам разложил листочки – на каждом был записан один стишок – и вдруг сказал: «Да ведь это опять, как „Армения“, – смотри...» Это значило, что семь стихотворений составляют цикл наподобие двенадцати, входящих в «Армению»... Последнее стихотворение «Откуда привезли? Кого? Который умер?..» не имеет конца. После обыска я дала листок с этим стихотворением Эмме Герштейн – он, незамеченный обыскивающими, остался на полу. Пока мы путешествовали в Чердынь, она в испуге его сожгла. Мне почему-то противно, что она его не бросила в печь, а поднесла бумажку к свечке. Прошло несколько лет, и она написала книгу, где учит современников Лермонтова, как следовало с ним обращаться, но почему-то про свой опыт со свечкой не упоминает. Ни я, ни Мандельштам не могли полностью припомнить сожженное лермонтоведкой стихотворение. Мандельштам все же определил ему место – оно последнее в цикле – и сказал: «Будем печатать, доделаю». Ему не пришлось ни доделывать, ни печатать.

Все стихи Белому – семь штук – я записала по порядку в «Ватиканский список», как мы шутя называли тетрадочку, куда я записывала стихи 30–34 годов. Нам пришлось их восстанавливать, потому что после потрясений (обыск, арест, ссылка, болезни) многое выпало из памяти. Я привезла из Москвы спасенные рукописи – они во время обыска лежали в кастрюле на кухне и в серых ботиках. Как надо мной все смеялись, что я все прячу и раздаю на хранение! Не все хранители оказались грязными трусами и жуликами. Большинство честно хранило и спасло кучку рукописей.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
В «Ватиканский список» попала и «первая воронежская тетрадь»... Записывая цикл Белому, я спросила у Мандельштама, как быть с двумя восьмистишиями, у которых полностью совпадала вторая строфа. Он велел записать оба: это и есть вариации, а раз первые строфы имеют различия, значит, это два стихотворения. Точно так он отнесся к циклу «Кама», где решил печатать цензурный вариант на третьем месте – наравне с основными двумя, хотя они различались только последними строчками, а несколько позже, и, пожалуй, с большими основаниями, он применил тот же принцип к двум стихотворениям с одинаковым началом («Заблудился я в небе...»): «Надо печатать рядом, как два стихотворения – одна тема и два развития...» В цикле Белому два восьмистишия слишком близки друг к другу, и я боюсь, что Мандельштам не хотел расставаться со своим любимым числом семь и потому сохранил двух близнецов. Неизвестно, как бы он поступил, если бы дело дошло до печатания, но книги ни при его, ни при моей жизни не будет, и дело решат текстологи.

Справка для будущих текстологов: в «Ватиканском списке» нет цикла Белому, потому что его вырезал и уничтожил Харджиев, первый «старатель», занимавшийся Мандельштамом. Мне пришлось дать ему рукописи, так как меня в Москву не пускали, а он делал книжку для «Библиотеки поэта», которая так и не вышла. Он использовал мое бесправное положение – я была чем-то вроде ссыльной, а ссыльных всегда грабят (только ли в России?), отнимают оставленные на хранение вещи, перехватывают наследства, выдают научные работы лагерников за свои, что у нас случалось особенно часто, особенно с диссертациями, когда за звания и степени стали много платить и защиты вошли в моду... Политические притеснения разворачивают всех, кто дышит отравленным воздухом. Харджиев к тому же человек больной, с большими физическими и психическими дефектами, но я поверила, что любовь к Мандельштаму и дружба со мной, а также трагичность этих чудом спасенных бумажек будут сдерживать его, но этого не случилось. Все же большую часть рукописей он вернул, кое-что придержал для «коллекции» и уничтожил то, где хотел изменить дату или навсегда утвердить не тот текст, который Мандельштам считал окончательным, как в случае «10 января». Он даже объяснял мне, что поэт часто не понимает, что у него хорошо, что плохо, и также, что надо будет «почистить архив», убрав записи с неуютными ему вариантами: «чтобы навсегда осталось, как я сделал...»

Виновата, конечно, я сама, раз доверила бумаги душевнобольному, но кто, кроме безумцев, занимается запрещенными поэтами? К тому же от Харджиева я пострадала меньше, чем от Рудакова, вдова которого не вернула ничего. Больше всего я пострадала о тех, кто убил Мандельштама, больше тридцати лет держит его под запретом, сорок лет (уже больше сорока) не допускает выхода книг и все эти годы гоняет меня из города в город. Лишь четыре года назад мне разрешили – по недосмотру, разумеется, – осесть в Москве и обрести кров. С них-то и надо спрашивать. Если б не они, и Харджиев и Рудаков были бы чисты и благородны, а архив лежал бы нетронутым у меня в шкафу вместе с книгами, фотографиями, корректурами, копиями, записями голоса и всем, что причитается поэту в обыкновенном государстве, где правительство не покровительствует литературе.

Подобно тому как Мандельштам тщательно делал порядок в циклах, точно так он всегда сам составлял книги, точно определял место каждого стихотворения. Если он не помнил года (особенно в зимних стихах часто путается до или после января написаны стихи), то всегда помнил, в какой последовательности появлялись стихи – одно за другим. В этой последовательности есть логика и закономерность, которую иногда трудно выразить словами, но она существует вполне объективно. Я только видела, как возникают стихи, но точно помню порядок возникновения и понимаю их взаимосвязь. Забыть этого нельзя и свидетелю, тем более поэту, как немисливо переставить одну из частей симфонии или сонаты. Иногда стихотворение долго созревало в уме, не записанное на бумагу. Мандельштам, когда я ставила нумерацию, порой говорил, чтобы я в определенном месте пропустила номер: «Там будет, но я прочту потом...» В иных случаях он не предупреждал меня, а просто вставлял «доспевшее» стихотворение на нужное место, так что мне приходилось менять нумерацию. Так было с «нищенкой», которую он почему-то долго прятал от меня. Может, его огорчало, что я нищенка? Все же нищенкой быть естественнее, чем богачкой, особенно в нашей стране, где благополучие почти всегда пахло кровью или предательством. К тому же нищие у нас все, кроме правителей и челяди, а я предпочитаю быть со всеми, чем ловить крохи с барского стола.

Я знаю лишь один случай, когда стихотворение, доделавшись и переосмыслившись, стало не на прежнее место, а в новый ряд. Я бы и не подозревала, что стихотворение «О как мы любим лицемерить и забываем без труда о том, что в

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru детстве мы ближе к смерти, чем в наши зрелые года» выросло на основе старых стихов, не попавших при отборе в «Камень», если бы об этом не сказала Ахматова. У нее на стихи Мандельштама память была не хуже, чем на свои. Она сразу опознала источник и напомнила его Мандельштаму. Рукописи первоначального стихотворения нет – оно хранилось в памяти больше четверти века и в нужную минуту выплыло. Я не знаю первого стихотворения, но ясно, что тема зрелости, отдаляющей смерть, принадлежит тридцатым годам. В этих словах есть вызов тем, кто рыл яму Мандельштаму – ведь он уже знал, что над ним нависла смертельная опасность и гибель не за горами. Она могла прийти в любой момент, и я вспоминаю дружеское предупреждение представителя «Известий» в Ленинграде. Мандельштам прочел ему «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» и в ответ услышал: «Осторожнее, не то к вам ночью придут и натопают сапогами...» Смысл стихотворения о смерти в детстве и в зрелые годы в том, что Мандельштам должен жить, игнорируя убийцу, и довести свое дело до конца – увы, до конца ничего довести нельзя, потому что неизвестно, где он, – ведь он «один на всех путях». Этим стихотворением он открыл вторую тетрадь «Новых стихов». В ней политическая тема прикрыта, как в «Ламарке», например. Она прорвется во всей прямоте лишь после поездки в Крым, где мы насмотрелись на голодных беглецов с Украины и с Кубани.

В каждой книге – «Камень», «Тристи», «21–25 годы», «Новые стихи», «Воронежские тетради» – есть своя ведущая мысль, свой поэтический луч. Ранние стихи («Камень») – юношеская тревога и поиски места в жизни; «Тристи» – возмужание, предчувствие катастрофы, погибающая культура (Петербург) и поиски спасения («Исаакий»); оборванная и задушенная книга 21–25 годов – в чужом мире, усыхающий довесок; «Новые стихи» – утверждение самоценности жизни, отщепенство в мире, где отказались от прошлого и от всех ценностей, накопленных веками, новое понимание своего одиночества как противостояния злым силам; «Воронежские стихи» – жизнь принимается, как она есть, во всей ее суете и прелести, потому что это порог, конец, эпоха «оптовых смертей», «начало грозных дел». Уже назван «народов будущих Иуда». В последний год жизни были две стихотворные вспышки и кучка стихов, которые все пропали. В них иной взгляд на Россию, которая продолжает жить медлительной жизнью, вопреки всему и ничего не замечая. В погибших стихах страна противостоит губительным силам – своим молчанием и тишиной, своим пассивным сопротивлением, укладом, жертвенной готовностью к любым испытаниям. На него произвела впечатление «веером разложенная дранка непобедимых скатных крыш». Книга только начиналась, и, во что бы она развилась, гадать не приходится – она была круто оборвана. Это невероятно, что Мандельштам мог хоть немного работать в условиях проклятого последнего года. «Всегда успеем умереть», – утешал он меня. Я пережила тогда смерть и небытие, чтобы потом вступить в посмертное существование здесь – на той же само земле.

Понимание «книги», периода, цикла как единого целого спасло Мандельштама от болезни времени, чего-то вроде кори или собачьей чумки, – жажды «большой формы» в виде романа в прозе а в поэзии – на худой конец поэмы, а в идеале – эпоса. «Большой формы» требовало государство, но не оно выдумало ее, а только приняло подсказку литературных кругов. Я знала выкорыша футуристов, толстое животное с подозрительными страстями, которое сейчас вещает в сферах Музея Маяковского. Выкорыш утверждает, что Хлебников выше Пушкина, потому что дал эпос, до которого Пушкину как до звезды небесной. Что он понимает под эпосом? Этого не понять, но ясно одно – эти несчастные теоретики не подозревают, что существует мысль, и не верят, что вся ценность поэзии именно в качестве поэтической мысли, в миропонимании поэта, а не во внешних признаках. Ведь гармония стихов лишь сконцентрированная сущность поэтической мысли, а то новое, что приносит поэт, вовсе не рваная строчка, не рифма, не «классицизм» или футуризм, а познание жизни и смерти, слияние жизненного пути и поэтического труда, игра детей с Отцом и поиски соотношения минуты с ходом исторического времени. Какова личность поэта, таков и поэтический труд. Какой дивный человек сказал, что творец всегда лучше творения?

Другой деятель футуристического толка, человек наивный и чистый, Сергей Бобров, ругаясь, требовал Пушкина, непременно Пушкина, которого жаждал до слез. Что бы делал Пушкин в нашу эпоху? Что такое Пушкин после конца петербургского периода русской истории? Где место Пушкина в московском царстве советских вождей? Все же лучше тосковать по новому и несбыточному Пушкину, чем декретами отменять все виды искусства, как делал ЛЕФ, или распределять заказы на сочинение романов с заранее данным содержанием наподобие РАППа и Союза писателей.

В двадцатых годах все понемногу учили Мандельштама, в тридцатых на него

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru показывали пальцами, а он жил, поплеванная, в окружении дикарей и делал свое дело. Его не влекла искусственная «большая форма». О ней он даже не задумывался, потому что знал, что есть «книга», «цикл», а иногда возникают цепочки с большим, чем в цикле, сцеплением частей и с общей темой. Про них он говорил: «Это вроде оратории», предпочитая музыкальную терминологию, как более конкретную, расплывчатым литературоведческим названиям. Ораториями он считал «Стихи о неизвестном солдате» и группу стихов на смерть Андрею Белому. Двенадцать стихотворений об Армении он к ораториям не причислял, и я думаю потому, что тематически оратория связывалась у него с основным моментом жизни отдельного человека и всего человечества – со смертью. Умирание, смерть, оптовые смерти и общая гибель – вот темы двух ораторий Мандельштама.

Начало и конец

Мандельштам всегда – всю свою жизнь – стремился на юг, на берега Черного моря, в средиземноморский бассейн. Сначала он узнал Крым и полюбил восточный берег, потом, в двадцатом году, побывал на Кавказе, пробираясь окольными путями из Феодосии в Петербург. В двадцать первом году он уже со мной провел с полгода в Грузии, а в тридцатом мы с мая по ноябрь прожили в Армении и в Тифлисе, где после долгого молчания к нему вернулись стихи. Я говорю о настоящих путешествиях, а не о курортных поездках, которых было гораздо больше.

Средиземноморский бассейн, Крым, Кавказ были для Мандельштама историческим миром, книгой, «по которой учились первые люди». Исторический мир Мандельштама ограничивался народами, исповедующими христианство, и Армению он понимал как форпост «на окраине мира» («Все утро дней на окраине мира ты простояла, глотая слезы. И отвернулась со стыдом и болью от городов бородатых Востока»). В те годы мы на каждом шагу видели следы мусаватистских погромов (одна Шуша чего стоила!), и это углубляло ощущение окраинности, окруженности чуждыми людьми и странами. Неожиданно в стихах об Армении проскользнула тема конца, гибели, завершенности: «И с тебя снимают посмертную маску».

Уезжая, Мандельштам навсегда простился с Арменией: «я тебя никогда не увижу, близорукое армянское небо, и уже не взгляну, прищурясь, на дорожный шатер Арарата», а в Москве не переставал вспоминать ее и мечтать о новом путешествии. Армения полностью вытеснила Крым, и в стихах московского периода (1930–34) тяга на юг связывалась с Арменией. Крым назван только в «Разговоре о Данте», в рассказе о том, как Мандельштам, думая о структуре «Божественной комедии», открыто советовался с коктейльскими камушками, а незадолго до этого в Старом Крыму появилось стихотворение «Холодная весна. Голодный Старый Крым...». Это стихотворение принадлежит не к историософскому, а к актуально политическому разряду. Тот Крым, который мы видели, наводил на мысли не о возникновении культуры, а о конце и гибели.

Маленький городок был переполнен беглецами и бродягами с Украины, где в начале тридцатых годов был невероятный крестьянский голод, связанный с раскулачиванием и коллективизацией. По силе и ужасу он был равен только голоду в начале двадцатых годов в Поволжье. Мне думается, что татарские набеги и Тамерлан не привели к таким последствиям, как раскулачивание. Убегая или спасаясь от набегов, люди держались вместе для обороны или освоения новых земель, а раскулачивание вызвало настоящее рассеяние: каждый спасался в одиночку, в крайнем случае – с женой и детьми. Родителей бросали где попало – старикам все равно умирать. Вокруг городов возникли землянки, где ютились сорванные с мест крестьянские сыновья. Постепенно они вращались в жизнь города, но обычно не сами беглецы, силы которых были исчерпаны, а их дети. Мне случалось бывать в землянках, когда меня в Ульяновске как преподавателя посылали переписывать избирателей к выборам. Меня поражала чистота и скученность, в которой жили в землянках. Родители еще не утратили традиционной крестьянской приветливости. Это обычно были люди за сорок лет. Стариков среди них я не видела ни разу, ни одного... Подростки и юноши, испытавшие в раннем детстве голод раскулачивания, а потом войны, принадлежали к далеко не худшему разряду городских детей. В землянках жили бедственно, но о пьянках не слышали, чужим не доверяли, «компаний не водили», напрягая все силы, пытались спастись и вылезть из-под земли на поверхность. Я пила у них жидкий чай или заварку с земляничным листом, мы осторожно прощупывали друг друга. Большинство выбралось из деревни во время войны, некоторые в тридцатых годах. Расспрашивать подробно не полагалось: и я и они научились держаться начеку. Тем не менее мы молча сочувствовали друг другу, и это выразилось в том, что все мои избиратели приходили голосовать рано утром, чтобы не задерживать меня на участке. Агитатор отвечает за своих избирателей и

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru торчит около урн, пока все не проголосуют. Уходя с участка, многие из моих избирателей спрашивали: «Скоро тебе домой? Кто там отстал?» – и, вернувшись, торопили отставших. И они и я выполняли подневольную церемонию и старались облегчить ее друг другу, но сказать откровенно хоть слово не смели. Никто на участке не понимал, почему у меня, сомнительной гражданки и, наверное, плохого агитатора, дело идет как по маслу, так что к десяти утра я отправляюсь домой, а звезды пединститута – мы работали на «подшефном участке» – сидят до ночи и мечутся по городу в поисках загулявших избирателей. Ни разу ни один избиратель не спросил меня, куда и кого избирают. Такие вопросы задавались только «звездам» в надежде, что они напутают и можно будет сделать им пакость. Мы действовали по простому правилу: раз требуют, надо сделать, иначе «они» не отстанут. Шли последние сталинские годы и первое десятилетие со смерти Мандельштама.

С жителями землянок и сараев мы сталкивались всю жизнь. В 33 году в Коктебеле Мандельштам привел к нам в комнату маленького мальчика, побиравшегося по пансионатам и домам отдыха. Он напоил мальчика молоком, а на следующий день мальчик привел брата и сестру – еще меньше. Мандельштам утром бежал за молоком, зная, что к нему явятся дети получать паек. Через несколько дней пришел и отец, молодой украинец, бежавший с голоду из родной деревни. Мы жили в писательском доме отдыха, но писателей там не было – сезон еще не наступил. (Мандельштам и Андрея Белого писателями считать нельзя – я говорю про настоящих, советских.) Жили весной одни мелкие служащие издательств Ленинграда и дочь Римского-Корсакова с сыном. Московский дом отдыха находился в доме Волошина, и в досезонный период там жили служащие московских издательств. В писательский Коктебель мы бы не поехали – страшно... Служащие, народ добросердечный и простой, бухгалтеры, счетоводы, канцеляристы, познакомились с детьми и стали откладывать куски с обеда, чтобы подкормить голодную стайку. Вскоре они собрали денег и отправили всю семью домой, где голод уже пошел на убыль.

Семья эта даже не принадлежала к раскулаченным. Они поддались общей тяге – бежать куда глаза глядят. На Украине и на Кубани голод свирепствовал всюду, и люди вымирали целыми селами, но и беглецы погибали на всех путях и дорогах. Спасения не было и нет нигде. В этом сейчас убедились и не бегут больше никуда – да и жить стало легче. Эра метаний кончилась. Сейчас из деревни убегают только отслужившие военную службу юноши. Они женятся на ком угодно, лишь бы попасть хоть в районный городок. Впрочем, это сведения десятилетней давности, начала шестидесятых годов. Сейчас могло измениться – деревня, говорят, сыта.

Последний в жизни Мандельштама Крым был наводнен беглецами: «Тени страшные Украины, Кубани...» По утрам мы выслушивали рассказы, где ночью разломали саманную стенку, чтобы завладеть мешочком с пайковой мукой или крупой. В Старом Крыму мы месяц ели сухари, высушенные из московского хлеба, но на базаре продавали мясо и масло. Магазины исчезли. Карточки еле отоваривались, и беглецам, чтобы не умереть с голоду, только оставалось, что ходить с протянутой рукой – только никто не подавал, потому что и горожане были нищими – или грабить. Самое удивительное, что не все вымерли, а как-то перебились, вырыли землянки, осели, спаслись. Сейчас же в маленьких городках можно купить в магазинах крупу, масло и сахар. Такой рай длится уже лет десять.

В Коктебеле все собирали приморские камушки. Больше всего ценились сердолики. За обедом показывали друг другу находки, и я собирала то, что все. Мандельштам был молчаливый, ходил по берегу со мной и упорно подбирал какие-то особые камни, совсем не драгоценный сердолик и прочие сокровища коктебельского берега. «Брось, – говорила я. – Зачем тебе такой?» Он не обращал на меня внимания... Вскоре мы раздобыли бумаги – хозяйка дома отдыха и заведующий магазином «закрытого типа» дали нам кучу серых бланков. Бумаги у нас никогда не было и не будет, Мандельштам начал диктовать «Разговор о Данте». Когда дошло до слов о том, как он советовался с коктебельскими камушками, чтобы понять структуру «Комедии», Мандельштам упрекнул меня: «А ты говорила, выбрось... Теперь поняла, зачем они мне?» Летом 35 года я привезла в Воронеж горсточку коктебельских камушков моего набора, а среди них несколько дикарей, поднятых Мандельштамом. Они сразу воскресили в памяти Крым, и в непрерывающейся тоске по морю впервые вырвалась крымская тема с явно коктебельскими чертами. Воронеж расположен на границе леса и степи. Там Петр строил корабли для азовского похода. Мандельштам остро чувствовал ландшафт и даже любил его, но, потрогав пальцами крымские камни, написал стихи, в которых впервые простился с любимым побережьем: «В опале предо мной лежат чужого лета земляники – двуискренние сердолики и муравьиный брат – агат...» В этих стихах отголоски старого спора, стоит ли поднимать простой камень:

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru
«...Но мне милей простой солдат морской пучины, серый, дикий, которому никто не рад...» Крымское лето в этих стихах названо чужим.

Мандельштам готовился к уходу из жизни, прощаясь со всем, что любил: с Арменией, Крымом, с вещами и людьми. Он не простился только со мной, потому что не представлял себе, что я останусь жить без него. Он был абсолютно убежден, что я уйду вслед за ним. Поймет ли он, что я задержалась ради него? После его смерти я ни разу не была ни в Крыму, ни на Кавказе: раз он простился с ними, мне туда дороги нет. Не видела я и моря, потому что он простился и с морем («Разрывы круглых бухт»). Нельзя же считать морем пресный светло-серый залив недалеко от Комарова в советской Финляндии, где мы на минутку остановились с Ахматовой! Она тоже успела проститься с морем: «Последняя с морем разорвана связь». Искусственно, вернее, насильственно и противоестественно оторванные от всего, что нам было близко, мы только и делали, что поминали и прощались. Все оказалось запрещенным – даже хлеб: «И запрещенный хлеб безгрешен» (вариант). И все же мы были привилегированной частью населения, раз нам хватало на хлеб и мы получали карточки не самой последней категории. Мы не взламывали саманные стенки кладовок и не занимались ни лесоповалом, ни лесосплавом. Когда Мандельштам оказался в самой низшей группе, он, к счастью, умер. Плохое здоровье, в частности сердечная недостаточность, – отличный козырь для человека, потому что обеспечивает своевременную смерть.

Лето 35 года было полно событий. Вскоре после моего возвращения из Москвы мы увидели из окна своей комнаты – наемной, впрочем, не своей, с хозяином из раскулачивателей и хозяйкой из раскулаченной семьи, – похороны жертв летной катастрофы, военных летчиков, которых хоронили с воинскими почестями. Такое случалось редко: природные бедствия и катастрофы, как правило, замалчивались. Вместе со стихами о похоронах погибших летчиков, в одном с ними цикле, возникло маленькое стихотворение в двух вариантах: «Нет, не мигрень, но подай карандаш ментоловый». В одном из них Мандельштам просит, чтобы я положила ему под голову пучок коктейбельского чобру, степной душистой травки, и в чобре – ниточка, связывающая эту группу стихов с коктейбельскими камушками. Во втором варианте (он и должен стоять в основном тексте) Мандельштам, сопереживая смерти летчиков, погибает той же смертью и в миг летной катастрофы видит начало жизни – младенчество, детство, «краски пространства веселого», – но все обрывается падением с высоты, где «холод пространства бесполого», то есть бесчеловечного, пустого, а земля с высоты кажется огромной рыжей плешинной (степной пейзаж), словно смотришь на нее сквозь цветное стекло. В описании вида земли с большой высоты сказались и горные путешествия, и рассказ Бори Лапина о полетах, а в цветных стеклышках – реминисценция детства. В бумагах найдется отрывок более подробный, чем тот, что вошел в «Египетскую марку», о шестигранных коронационных фонариках с цветными стеклами. Мандельштам ребенком разломал фонарик и поразился, как выглядит мир сквозь цветные – красное, синее, желтое – стеклышки. (Кто из нас умеет смотреть на мир прямо и открыто, а не через цветные стеклышки обычаев, готовых представлений, культуры, общества и эпохи? Возможен ли прямой взгляд и что мы тогда увидим? Во всяком случае, не случайность и бессмыслицу, рассусоленную двадцатым веком.) Чтобы войти в мир Мандельштама, надо понять, как остры у него были ощущения (я не устану это повторять) – зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и даже осязательные – и как они запоминались на целые годы. Человек удесятеренной чувственности, он никогда не забывал ни одного сильного ощущения. Он видел то, чего я не могла разглядеть, слышал звуки, которые еле мерещились мне, и чувствовал запахи и привкусы, к которым я оставалась равнодушной. Он служил мне как бы добавочным органом чувств – я привыкла смотреть его глазами и слышать его ушами. Когда я осталась одна, мне не хватало моих глаз и моих ушей, и я не хотела ни на что смотреть и затыкала уши, чтобы ничего не слышать. Зачем стала бы я смотреть на то, чего он уже не видит или ощущает совсем не так, как я, еще живая... Надо остерегаться такой близости, какая была у нас с ним, потому что один всегда умирает раньше, а второй при жизни теряет все ощущения, которые свойственны живущим. Он тоже становится мертвецом, хотя и продолжает механически жить. Такая жизнь ни к чему. Это тень жизни...

В обоих вариантах стихотворения о ментоловом карандашике резкие обонятельные ощущения. Мандельштам часто, гуляя, искал пахучие травки и растирал их в руках, в частности чобр. На этом мы сошлись, гуляя еще в киевских парках и даря друг другу любимые листья и травки. Какие духи сравнятся с запахом грецкого ореха, который все знают и любят! Мне жалко Бердяева, обожавшего духи, в которых всегда пронюхивается что-то постороннее, грубое и вульгарное. В Сухуме была маленькая

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
фабрика, выжимавшая из герани масло для духов. Вокруг нее стоял тяжелый запах аммиака, и мы поняли, что нам портит любимые духи: в их состав входит нечто, то есть душистое масло, чья аммиачная грубость, явная при больших дозах, ощущается и в крохотных, которые потребляются в духах. О химикалиях в нынешних духах и говорить нечего – они непереносимы.

Во втором варианте стихотворения (основном) пахнет тухлой ворванью – это запах тления – и больницей («рокот гитары карболовой», запах карболки всегда воспринимается как волна – то наступает, то отходит). Запах карболки ударил в ноздри еще в Москве – поздней осенью 1931 года, когда меня положили в Боткинскую больницу, и среди черновиков «Путешествия в Армению» записаны бродячие строчки о карболке. Тогда стихотворение о запахах не могло осуществиться по многим причинам. Главное – на него должен был упасть луч поэтической мысли. Из одного ощущения без мысли стихов у Мандельштама нет. (Есть ли они у кого-нибудь? Пастернак – поэт ощущений, но и у него всегда ведет мысль, через ощущение и сквозь него.) Поэтическая мысль в тот период не могла возникнуть, потому что Мандельштам писал прозу. Два процесса – писание стихов и прозы – никогда не происходили одновременно. У других поэтов проза иногда перебивает стихи или стихи прозу. У Мандельштама этого не бывало, если не считать «Юности Гете», которая в настоящую и настоящую прозу не входит. Это честная заказная работа, где лишь случайно пробивается голос.

Я знаю, почему в стихотворении о внезапной смерти Мандельштам, переживая последнюю минуту, вдруг видит всю свою жизнь. Она пронесется перед ним в одно мгновение. Когда-то Мандельштам прочел перевод испанского рассказа – это было как будто еще в дни, когда мы в первый раз жили на Тверском бульваре (1922/23). Он мне тут же сказал, что в рассказе человек, падая с моста в реку, в одно мгновение успевает вспомнить и пережить всю свою жизнь. Рассказ, вероятно, был рядовой, иначе я бы запомнила автора, но он как-то совпал с мыслью Мандельштама об умирании, или эта мысль зародилась от чтения рассказа: в момент смерти жизнь вспыхивает в сознании умирающего, и он отдает себе отчет, зачем жил и что видел. Пока мы жили вместе, я не понимала, как смерть и умирание всегда присутствуют и не отходят от нас. Пока Мандельштам был жив, я не понимала смерти, но, оставшись одна, только ею и жила. Я думала о ней, и прежде всего возник вопрос: неужели на койке лагерной больницы, умирая от невозможности жить и от истощения, человек может что-нибудь вспомнить? Такая смерть, думается мне, похожа на медленное затухание, когда постепенно отмирает связь с прошлым и с жизнью. (Нас лишили не только жизни, но еще и смерти.) Настоящее настолько нереально и непредставимо, что в нем разрываются все связи с жизнью, с самим собой, с прошлым, с людьми, с законами их общежития, с представлениями о добре и зле. Мысленно умирая смертью Мандельштама, я забывала все – даже надежду на будущее. Живя в нечеловеческих условиях прошлой эпохи, я часто убеждалась, что ничего не помню. Оставалась лишь одна светящаяся точка и физически осязаемое ощущение лагеря – груды тел в вонючих телогрейках, свалка человеческих тел, еще живых, еще шевелящихся, или такие же тела, но уже замерзшие и окостеневшие, яма, куда они сброшены «гурьбой и гуртом». Вот что я видела и чем я жила.

Я могла собрать силы и перенести эти ощущения, потому что отказалась от мысли о смысле жизни и жила одной целью. В мучительные эпохи, когда бедствие, нечеловеческое и чудовищное, затягивается на слишком долгий срок, нужно забывать про смысл – его не найти – и жить целью. Это результат моего опыта, и я не советую пренебрегать им: может, еще пригодится и у нас и не у нас. Упражняйтесь в уничтожении смысла и в заготовке целей.

Н. Е. Штемпель. Мандельштам в Воронеже

...Хорошо помню лето 1937 года, белый высокий дом в тенистом саду, где жила тогда Эмма Григорьевна Герштейн (ее отец был врач, и квартира находилась при больнице), удлиненную комнату, направо от двери обеденный стол, в глубине письменный.

Меня привел сюда Осип Эмильевич Мандельштам. Мы стояли у стола и почему-то стоя пили сухое вино, закусывая сыром. Осип Эмильевич был оживлен. Это были первые месяцы его «свободы».

В мае 1937 года Мандельштаму разрешили покинуть Воронеж. В Москве жить было негде, да и прописки уже не было. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна на лето поселились в Савелове. Во время летних каникул я поехала к ним. Оставив мужа в Москве у своей тетки, я отправилась одна в Савелово. Нашла нужную улицу и дом; в

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru
окне увидела Осипа Эмильевича. Он таинственно поднес палец к губам, молча вышел ко мне, поцеловал и ввел в дом. Надежда Яковлевна тоже мне обрадовалась.

В бревенчатом доме они снимали полупустую комнату, но в этом была какая-то дачная прелесть, казалось, больше воздуха.

День промелькнул необыкновенно быстро, вечером я обещала мужу вернуться в Москву. Мандельштамы запротестовали. Мне и самой не хотелось уезжать, но обещала – Борис будет ждать. «Дадим ему телеграмму, что приедете утром», – весело сказал Осип Эмильевич. Так и сделали.

Полночи мы с Осипом Эмильевичем бродили по лесу вдоль берега Волги. Надежда Яковлевна с нами не пошла. Осип Эмильевич рассказывал мне, как они жили эти два месяца после отъезда из Воронежа, прочитал все новые стихи. Мне кажется, их было десять или одиннадцать[70]. Стихи пропали при последнем обыске и аресте. Надежда Яковлевна не знала их наизусть, как знала воронежские. Списков ни у кого не было. Можно надеяться только на чудо, на то, что они сохранились где-нибудь в архиве НКВД, – но бывает ли такое?

Когда мы вернулись среди ночи домой, Надежда Яковлевна уже постелила на полу постель, отдельно каждому стлать было нечего, и мы все легли, как говорится, вповалку. Было жестко, неудобно, но это никого не огорчало.

Утром Мандельштамы проводили меня на вокзал, а затем более поздним поездом тоже приехали в Москву.

Мы условились встретиться вечером на концерте Яхонтова. Я была страстной его поклонницей. Яхонтов не раз приезжал в Воронеж. Я не пропускала ни одного концерта. Помню прекрасную композицию «Чиновники» («Медный всадник» Пушкина, «Шинель» Гоголя, «Белые ночи» Достоевского); огромное впечатление произвела на меня и вторая композиция «Поэты путешествуют» – Пушкин и Маяковский: стихи, письма, документы, факты из биографий. И третий концерт: Владимир Николаевич читал отдельные произведения, среди них был отрывок из «Идиота», когда Рогожин приезжает за Настасьей Филипповной и она бросает деньги в камин: рассказы Зощенко, Есенин: «Собаке Качалова», «Черный человек», – тут же «Моцарт и Сальери» Пушкина и восхитительный «Граф Нулин».

Прекрасный голос, исключительное внешнее обаяние, предельно скупые и выразительные жесты – все это слагалось в неповторимый облик актера. Мы много раз говорили с Осипом Эмильевичем о Яхонтове. Мандельштам хорошо его знал и любил, вернее, они взаимно любили друг друга.

Владимир Николаевич считал Осипа Эмильевича своим учителем. Мне это было непонятно. Манера чтения была у них совершенно разная. Осип Эмильевич читал стихи превосходно. У него был очень красивый тембр голоса. Читал он энергично, без тени слащавости или подвывания, подчеркивая ритмическую сторону стихотворения. И все-таки Яхонтов читал по-другому, оставляя огромное впечатление.

Концерт был посвящен столетию со дня гибели Пушкина. Мы с мужем немного опоздали. Нас все же пустили в зал, мы сели на свои места. Мандельштамов не было. И вдруг, когда кончилось первое отделение, Осип Эмильевич, увидев нас, спрыгнул со сцены прямо в партер. Он был за кулисами. После концерта мы вчетвером, зайдя в гастроном и купив, кажется, ветчину и сухое вино, отправились на квартиру Наппельбаума, где остановились Мандельштамы (хозяйева, очевидно, были на даче).

* * *

Осипу Эмильевичу хотелось познакомить меня со своими друзьями, ведь в Воронеже он был лишен этой возможности.

Прежде всего Мандельштамы повели меня к Шкловским. По словам Надежды Яковлевны, это была едва ли не единственная семья, которая не боялась принимать ее во время воронежской ссылки Осипа Эмильевича. Шкловские жили в Лаврушинском переулке, в доме № 17, одном из первых писательских домов. Квартира огромная, да и семья состояла из шести человек. Виктор Шкловский встретил нас в трусах, что меня несколько шокировало. Но действительно жара стояла невыносимая. Первое впечатление от Виктора Борисовича: веселый круглый человечек, круглая, очень

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru круглая голова, круглые глаза, а веселость так и брызжет, искрится. Он все время острил. Я почувствовала себя у них сразу хорошо. Мне очень понравилась Василиса Георгиевна, жена Шкловского. От нее веяло мудростью, спокойствием, грустные большие серые глаза смотрели на вас с сочувственным вниманием, а главное, меня поразила какая-то высокая простота и естественность. И – сияющая Варя, дочь Шкловских; таких сияющих глаз, кажется, я ни у кого не видела, они освещали все лицо. Так бы и смотрел на нее и невольно улыбался сам.

Это первое впечатление сохранилось навсегда. Шкловские были в лучшем смысле слова интеллигентные люди.

Впоследствии, после смерти Осипа Эмильевича, я часто бывала у них. Там всегда, как в своей родной семье, останавливалась Надежда Яковлевна.

В то далекое и счастливое лето я зашла как-то к Шкловским за Осипом Эмильевичем, и мы пошли в Третьяковскую галерею, она была напротив дома. Но осмотр оказался, к моему удивлению, очень коротким. Осип Эмильевич, не останавливаясь, пробежал через ряд залов, пока не разыскал Рублева, около икон которого остановился. За этим он и шел.

Зная мое восхищение стихами Пастернака, Осип Эмильевич решил повести меня к Борису Леонидовичу (которого очень любил). Но Пастернака в Москве не оказалось. Тогда пошли к Николаю Ивановичу Харджиеву. Он жил в деревянном двухэтажном доме барачного типа, не помню, на какой улице (кажется, в Марьиной Роще). У него была одна комната на первом этаже. Целую стену от пола до потолка занимал огромный стеллаж. Это было замечательное собрание поэтов начала XX века. Кого тут только не было: и символисты, и акмеисты, и футуристы, и имажинисты. Кроме того, было много журналов: «Аполлон», «Весы», «Золотое руно» и еще какие-то, не помню. Я оторваться не могла от книг. Обращал внимание комод, набитый рукописями, фотографиями, письмами Хлебникова. Николай Иванович в это время готовил к изданию его стихи и огорченно сравнивал некоторые из них с напечатанными ранее и искаженными редакторами почти до неузнаваемости, так как, по словам Харджиева, читать рукописи Хлебникова невероятно трудно. Во время нашего разговора и чтения Осип Эмильевич, казалось, был занят своими мыслями.

Николай Иванович произвел на меня несколько странное впечатление, прежде всего заядлого холостяка. Насколько я могла заметить, к Осипу Эмильевичу он относился с большой теплотой.

Познакомил меня Осип Эмильевич и с известной пианисткой Марией Вениаминовной Юдиной, об этой встрече у меня осталось смутное воспоминание, помню только, что Осип Эмильевич очень любил ее исполнение классической музыки [71]. Восторженно говорил он о Михоэлсе. Мы собирались к нему в еврейский театр, но театр в это время, как оказалось, не работал, и Михоэлса тоже не было в Москве.

Мне было очень интересно посещать с Осипом Эмильевичем и Надеждой Яковлевной их друзей и знакомых или просто бродить по Москве, но отсутствие у них здесь своей крыши над головой, постоянного пристанища создавало ощущение неприкаянности, какой-то ненастоящей, временной жизни. В Воронеже хоть было жилье, а тут ни жилья, ни работы. И все-таки радостная, с вихором впечатлений я вернулась домой, в Воронеж.

* * *

На зимние каникулы я снова на несколько дней поехала к Мандельштамам. Они жили в Калининне на окраине города.

Вспоминаю занесенные снегом улицы, большие сугробы, опять почти пустую холодноватую комнату без намека на уют. У обитателей этой комнаты, очевидно, не было ощущения оседлости. Жилье и местожительство воспринимались как временные, случайные. Не было и денег – ни на что, кроме еды. А главное – равнодушие к вещам, одежде, отсутствие которых, мне кажется, не портило настроения.

Помню, в этот мой приезд на Осипе Эмильевиче был серый костюм совершенно не по росту, кто-то ему его подарил, вернее отдал, кажется, Катаев. Беспокойство доставляли брюки: они оказались очень длинны. Осип Эмильевич вынужден был их несколько раз подвернуть, они все время разворачивались, так что приходилось время от времени останавливаться и снова их подвертывать. Но это не раздражало и делалось автоматически. Почему-то никому и в голову не приходило, что можно их

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru подрезать и подшить. Мой приезд, как мне казалось, радовал Мандельштамов. Здесь они жили так же уединенно, как и в Воронеже.

Надежда Яковлевна послала нас на рынок купить мяса. Идея эта была довольно фантастической. В те времена я совершенно не занималась хозяйством, мяса никогда не покупала, сырое мясо вызывало у меня отвращение, Осип Эмильевич в этом вопросе был умудрен не более.

Мы довольно долго ходили по рынку вдоль прилавков, на которых кусками лежало мясо, в полной растерянности, не зная, что купить. Осипу Эмильевичу, по-видимому, это занятие надоело, я не заметила, как он исчез. Оглядываюсь по сторонам. «Наташа, Наташа, идите скорее сюда!» – закричал он. Подхожу, он стоит сияющий около какой-то женщины, которая продает восковых утят: красных, зеленых, желтых. «Давайте купим всех утят». Проблема с мясом решена. Денег больше нет, и мы, счастливые, веселые и гордые своей покупкой, отправились домой.

Надежда Яковлевна нас не ругала и не омрачила нашей радости. Понравились ли ей утята, не помню.

К вечеру захотелось есть. Тут уж нам не доверили денег, и мы втроем пошли в ближайший гастроном или просто лавку. Что-то купили на ужин и сварили кофе.

Из Калинина поехали на день в Москву. И, вероятно, желая доставить мне удовольствие, Осип Эмильевич повел меня к Яхонтову.

Он снимал меблированную комнату на втором этаже в старинном красивом особняке в центре Москвы (кажется, в Столешниковом переулке). Когда мы вошли, Владимир Николаевич стоял между двух больших зеркал, на нем был голубой джемпер, который так шел к его золотым волосам, светло-серые брюки и лакированные черные туфли. Очевидно, он репетировал. Яхонтов кинулся к Осипу Эмильевичу, не дав ему раздеться, обхватил его и начал с ним кружиться. Так смешно было на них смотреть. Один изящный, элегантный, а другой в нелепой, с чужого плеча меховой куртке мехом наружу, высокой шапке и галошах.

Комната, очень светлая, была обставлена старинной красивой мебелью, но в то же время не было ощущения обжитости, и она, конечно, не отражала индивидуальности своего хозяина. На маленьком столике стоял какой-то комнатный цветок почти без листьев. Он, очевидно, изображал елку, потому что был обвешан бумажными лентами и игрушками. По комнате летали два попугая: голубой и зеленый. Клетки не было, и они сидели, где им хотелось.

Владимир Николаевич был очень любезен, расспрашивал меня о Воронеже, показывал нам, как он работает над своими композициями. Мне запомнились очень длинные, в несколько метров, ленты, состоящие из склеенных листов бумаги разной величины. Мы пробыли у Владимира Николаевича почти целый день, что-то ели. Стол накрывала Лиля, жена Яхонтова. Очень красивая женщина, строго одетая, тихая, молчаливая, совершенно лишенная кокетства. Она даже не включилась в общую беседу. Ее поведение чем-то удивляло меня, и в то же время я любовалась ею.

Несмотря на оживленный разговор, у меня было ощущение, что все мы здесь случайные люди, как в гостинице, и от этого становилось грустно.

* * *

Я сообщила Осипу Эмильевичу, что разошлась с Борисом, он очень расстроился. Упрекал меня, что я не сказала об этом сразу, изъявлял желание поговорить с ним (непонятно, о чем в таких случаях можно говорить?!), потом успокоился и сказал, что ему ясно, почему мы разошлись: «Борис не способен на праздник, который вы несете».

Но, очевидно, Осип Эмильевич успокоился не совсем. Позже, оказавшись дома, я начала получать почти каждый день телеграммы; содержания их не помню, кажется, Мандельштамы предлагали приехать в Воронеж. Какая-то телеграмма была подписана, помимо Мандельштамов, Ахматовой и Рудаковым.

Продолжалось это до тех пор, пока не взмолилась мама и не попросила меня прекратить все это: ведь телеграммы приносили чуть ли не в пять утра (тогда телеграммы носили и ночью). Осип Эмильевич отправлял их, наверное, в одно и то же время, поздно вечером.

* * *

...Из Москвы мы вернулись опять в Калинин. Не думала я, что это моя последняя встреча с Осипом Эмильевичем. Мы много гуляли, несмотря на большие морозы. Осип Эмильевич сказал мне: знайте, если вам будет плохо, достаточно телеграммы, и где бы мы ни были, мы сейчас же приедем.

Так на всю жизнь запомнилась зима 1938 года, занесенный снегом Калинин, совершенно необыкновенный поэт и человек и верная его подруга Надежда Яковлевна. В мой калининский приезд она была особенно грустна – такой она не была и в Воронеже, как будто чувствовала близость трагической развязки.

* * *

1 мая 1938 года в Саматихе, в доме отдыха, куда получили путевки Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна, Мандельштам был вторично арестован.

Надо сказать, что по Советскому Союзу в это время не один Осип Эмильевич был взят повторно.

Как выяснилось позднее, 9 сентября (то есть через четыре месяца) Осип Эмильевич был отправлен в лагерь. На этот раз Надежда Яковлевна уже не предполагала его сопровождать. Через Шуру, брата Мандельштама она получила письмо от Осипа Эмильевича из пересылочного лагеря под Владивостоком с просьбой выслать посылку. Она сделала это сейчас же, но Осип Эмильевич ничего получить не успел. Деньги и посылка вернулись с пометой «За смертью адресата».

Надежда Яковлевна сообщила мне об этом в письме. Боже мой, как я плакала! Я никогда не плакала так горько. Тогда я оплакивала его как человека. Я не думала о нем как о поэте, жизнь которого насильственно оборвали в тот период, когда он так много писал и многое еще было незавершено... Я не могла вообще представить себе Осипа Эмильевича без Надежды Яковлевны. Он был так беспомощен в жизни. Сердце у меня сжималось от горя и жалости. Я поняла, что потеряла друга, бесконечно преданного, – даже независимо от того, стали бы мы встречаться или нет и как бы долго не виделись. Во мне неосознанно жило ощущение, что он есть. Достаточно было знать лишь это: он есть и живет. А вот теперь его нет и никогда, никогда не будет, и некого позвать...

В письме, где Надежда Яковлевна сообщала мне о смерти Осипа Эмильевича, некоторые слова как-то бессмысленно были подчеркнуты красными чернилами, это делалось и в последующих письмах.

* * *

Я поехала к Надежде Яковлевне в Калинин. Она жила уже в крошечной комнате, в которой умещались только кровать и небольшой стол. В углу была гора выточенных из дерева небольших круглых коробочек. Надежда Яковлевна их расписывала в русском стиле (она работала надомницей на какой-то фабрике); в комнате сильно пахло красками.

Времени в моем распоряжении было очень немного: я отпросилась в середине учебного года. Я пришла к директору техникума и сказала, что должна на несколько дней уехать: у моей близкой приятельницы большое несчастье, если вы не отпустите, я все равно уеду, – и он отпустил.

Всю ночь напролет мы проговорили, подкрепляя силы черным кофе. Надежда Яковлевна попросила меня съездить в Ленинград к Анне Андреевне Ахматовой (писать ей она боялась) и рассказать все, а на обратном пути опять заехать в Калинин, что я и сделала. С Анной Андреевной я не была знакома и никогда раньше ее не видела. Стихи Ахматовой я знала и очень любила, у меня были «Четки», «Белая стая», «Анно Domini».

Я пришла в «фонтанный дом», каменный, длинный четырехэтажный, он стоял в глубине сада, мне запомнились старые липы, но дом мне показался мрачным. С волнением поднялась на четвертый этаж, позвонила. Мне открыла дверь немолодая некрасивая женщина, напомнившая классную даму из романов Чарской. Позднее я узнала, что это была бывшая жена Пунина, в то время мужа Ахматовой. Я спросила Анну Андреевну. Не сказав в ответ ни единого слова, женщина удалилась. Я стояла в коридоре довольно растерянно, не зная, что мне делать. Но через несколько минут появилась Анна Андреевна. Я не могла оторвать от нее глаз. Высокая, стройная, длинноногая,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru с небольшой гордой головой, с русалочьими грустными глазами, а челка и заложенные сзади косы придавали ей девичий вид. Черный атласный халат с огромным серебряным драконом плотно облегал ее прекрасную фигуру.

Она провела меня в какую-то узкую, загроможденную старой мягкой мебелью комнату. Комната казалась нежилой, я сама она как будто тоже была здесь случайной гостьей. Мы просидели несколько часов. О стихах не было речи, слишком трагические были обстоятельства и у нее и у меня как вестницы Надежды Яковлевны. Ахматова просила меня прийти на другой день, но вечером я должна была уехать.

* * *

И опять Воронеж, мой родной город, привычный и неощутимый как воздух. Но так больно теперь его прикосновение; без Мандельштама он стал для меня мертвым.

Единственное утешение – вечером встретиться с милым, чудным Павлом Леонидовичем[72], бродить по темным пустынным улицам и без конца говорить об Осипе Эмильевиче, вспоминая все до мелочей.

Павел Леонидович, мне кажется, все понимает и сам чувствует потребность в том же, поэтому с ним легче.

Как же, как все началось?

* * *

В начале февраля 1936 года моя давнишняя приятельница Люся попросила меня как-нибудь вечером зайти к ней. Она хотела познакомить меня «с очень интересным молодым человеком». Это был Сергей Борисович Рудаков, вместе с которым Люся лежала в инфекционной больнице, – ленинградец, высланный в Воронеж (ссылных в то время в Воронеже было много). Выслали его за социальное происхождение: его отец, генерал царской армии, близкий друг К. Р.[73], и его старший брат были расстреляны во время революции.

Сергей Борисович, филолог по образованию, превосходно знал и самозабвенно любил поэзию, помнил наизусть сотни стихов, даже поэтов XVIII века. Писал и сам стихи.

Высокий, с огромными темными глазами, несколько крупными чертами лица: резко очерченный рот, черные брови с изломом, длинные ресницы и какие-то особенные тени у глаз – он был очень красив. Недаром Ахматова говорила о «рудаковских глазах». Человек он был эмоциональный, горящий. Сразу, с первого вечера нашего знакомства, мы подружились, захлебываясь, говорили о любимых поэтах и композиторах. Вкусы сходились. От Сергея Борисовича я впервые услышала воронежские стихи Мандельштама. Он читал мне их очень часто[74]. Об Осипе Эмильевиче Рудаков говорил с восторгом. Когда я как-то спросила, какой он, Сергей Борисович воскликнул: «Ну, чудный!».

И вот в осенний яркий день (это было в начале сентября 1936 года), страшно волнуясь, я поднялась по лестнице большого каменного дома на углу улицы Фридриха Энгельса и Итээровского переулка[75] (ныне улицы Чайковского) и позвонила. Мне открыла дверь хозяйка квартиры и сказала, что Мандельштамы в Задонске, но на днях возвратятся.

Не знаю, как хватило у меня смелости пойти второй раз. Надежда Яковлевна встретила меня несколько удивленно – очевидно, к посетителям Мандельштамы не привыкли – и ввела в комнату. Осип Эмильевич стоял посреди комнаты и с любопытством смотрел на меня. Очень смущаясь я пролепетала что-то невнятное о Сергее Борисовиче. «Ах, вот кого он прятал!» – лукаво и весело воскликнул Мандельштам. И сразу стало легко и непринужденно. Помню, я с увлечением рассказала о своих летних впечатлениях, о Хреновском конесовхозе, где гостила у знакомых, о чудных орловских рысаках и былинных белых першеронах, которые жили на воле в степи, о потомственных конюхах, ведущих свою родословную от крепостных графа Орлова; о своеобразных традициях и легендах; об очень симпатичном москвиче директоре совхоза, который каждый год собирается возвратиться в Москву, но с грустью говорит, что от лошадей уйти невозможно. Осип Эмильевич слушал меня с большим интересом. Потом рассматривали осенние акварели Надежды Яковлевны, разложив их в два ряда вдоль всей комнаты прямо по полу. Запомнилось золото деревьев и синева Дона. Осип Эмильевич спросил меня, знаю ли я наизусть какие-нибудь его стихи. Я ответила утвердительно. «Прочитайте пожалуйста, я так давно не слышал своих стихов» – сказал он с грустью и сразу стал серьезным. Не

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru знаю, почему я прочитала из «Камня»: «Я потеряла нежную камешку, не знаю где, на берегу Невы...». Боже мой, что началось. Осип Эмильевич негодовал. Он весь был воплощением гнева. Меня поразила такая бурная реакция, такая неожиданная перемена настроения. Я растерялась. Единственное, что мне запомнилось из этого крика: «Вы прочитали самое плохое мое стихотворение!». Сквозь слезы я сказала в свое оправдание: «Не виновата же я, что вы его написали». Это как-то сразу его успокоило, мне даже показалось, что он пожалел о своей вспышке. Тут вмешалась Надежда Яковлевна и сказала: «Ося, не смей обижать Наташу».

Она усадила меня на свою кровать, стала гладить, как маленькую, по голове и подарила альбом французских импрессионистов. Перед этим мы разговаривали о них, и оказалось, что и я и она их очень любим.

Мандельштамы настойчиво приглашали меня приходить к ним. Но, как ни странно, на второй визит у меня не хватило смелости. Я думала что меня зовут из вежливости. Тогда я еще не знала Осипа Эмильевича и не понимала, что он никогда не станет что-то делать или говорить из вежливости. Это был человек предельной искренности, и он мог быть очень резким, если это соответствовало его внутреннему состоянию. Мандельштам часто забывал о своем положении ссыльного и поднадзорного. Помню, в пушкинские дни мы с Осипом Эмильевичем пришли на выставку в университетскую фундаментальную библиотеку. И Осип Эмильевич заметил, что из стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» выброшены организаторами выставки строчки: «Но есть, есть божий суд, наперсники разврата, есть грозный судия: он ждет; он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед». Осип Эмильевич устроил настоящий скандал и успокоился только тогда, когда директорша библиотеки обещала восстановить пропущенный текст.

И еще случай. Осип Эмильевич написал новые стихи, состояние у него было возбужденное. Он кинулся через дорогу от дома к городскому автомату, набрал какой-то номер и начал читать стихи, затем кому-то гневно закричал: «Нет, слушайте, мне больше некому читать!». Я стояла рядом, ничего не понимая. Оказывается, он читал следователю НКВД, к которому был прикреплен. Осип Эмильевич всегда оставался самим собой, его бескомпромиссность была абсолютной. Об этом пишет и Анна Андреевна: «В Воронеже его с не очень чистыми побуждениями заставили прочесть доклад об акмеизме. Не должно быть забыто что он сказал в 1937 году: „Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых“. (Говоря о мертвых, Осип Эмильевич имел в виду Гумилева – Н. Ш.). На вопрос, что такое акмеизм, Мандельштам ответил: «Тоска по мировой культуре».

Так вот, недели через две после первого свидания с Мандельштамами я случайно встретила их в Первомайском саду во время антракта на гастролях московского театра, кажется, имени Немировича-Данченко. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна подошли ко мне, и мы тут же условились, когда мне прийти. Я начала бывать у Мандельштамов очень часто и вскоре мы стали видеться почти ежедневно. Дома я восторженно говорила об Осипе Эмильевиче и его стихах.

И вот однажды мама сказала: «Наташа, ты очень часто бываешь у Мандельштамов. Ты хорошо представляешь, какие могут быть последствия?». Я промолчала. Все это было очень грустно. Аресты действительно принимали массовый характер и мы с мамой не раз прислушивались ночью, где остановилась машина [76]. На душе было смутно, я очень любила мать, она всегда была для меня другом, нет, она была для меня всем, а главное – мысль о брате, не подведу ли его?! Но не бывать у Мандельштамов я не могла, мне даже стыдно было об этом подумать. Испугаться!!

Ту Люсю которая познакомила меня с Рудаковым, тоже постигла общая беда: арестовали ее мужа, агронома Сахаротреста, человека, интересовавшегося только своей специальностью и работой, через несколько дней взяли ее брата и невестку, а маленького ребенка отправили в детский дом, отказавшись отдать родственникам. Люсю со старушкой матерью и сынишкой в январе в страшные морозы выгнали из квартиры, выкинули во двор все вещи. Я видела, как они валялись в снегу. Люся была безучастна, больше волновалась я, деваться ей было некуда, она пришла к нам.

И вот второй случай.

У моей сослуживицы Маруси, преподавательницы, активной комсомолки, из пролетарской семьи, в течение недели произошло сразу три несчастья. Муж ее старшей сестры Николай Иванович был начальником политотдела в Хреновском

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru конесовхозе. Он отправил под каким-то предлогом жену и маленькую дочку в Воронеж к бабушке и повесился, написав письмо на имя Сталина.

Через несколько дней приехал брат Маруси Виктор (он был секретарем райкома, кажется, в Борисоглебске), остановился у своего друга, секретаря парткома завода имени Дзержинского. А на другое утро, когда хозяева ушли, застрелился, оставив записку: «Извините за беспокойство». А еще через несколько дней арестовали ее старшего брата Андрея. Во время империалистической войны он был в плену у немцев.

Я была единственным человеком, кому Маруся все рассказала. Боясь лишиться работы, она вынуждена была скрывать свое горе. От этих трех разбитых семей остались дети примерно одного возраста, они ходили в детский сад, жили у бабушки, Марусиной матери. Однажды со слезами на глазах Маруся рассказала мне, как они хором повторяли: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство».

И я продолжала ходить к ним, но дома ничего не говорила. Меня не спрашивали, лгать не приходилось. Через некоторое время мама говорит: «Девочка, я знаю, что ты бываешь у Мандельштамов, ты напрасно молчишь и мучаешься, я поступила бы точно так же на твоём месте. Я просто считала своим долгом тебя предупредить, зови их к нам».

С этого времени Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна начали бывать у нас. Больше этот вопрос никогда не возникал и никого не волновал. Маме всегда хотелось угостить их, она вообще была необыкновенно гостеприимна, любила людей. В доме у нас бывало всегда много народу. Помимо моих старых друзей, товарищей и просто знакомых, к нам как-то случайно попадали и ссыльные: Андрей Азанчевский из Киева, Евгений Оттонович Пиотрковский, Хаим Соломонович Лифшиц из Москвы и другие. Все они были люди незаурядные, интересные. Они получали минус шесть, девять или двенадцать [77] и выбирали Воронеж.

Осип Эмильевич неоднократно говорил: «Наташа владеет искусством дружбы». Я же думаю, дело было не во мне, а в маме: трудно сказать, к кому приходили люди, даже мои сверстники, и с кем они больше дружили, со мной или с мамой.

Мандельштамам мама очень сочувствовала, понимая хорошо их положение. Но накормить Осипа Эмильевича было трудно, он был равнодушен к еде, точно так же как и к вещам. Отсутствие их, скудость не портили ему настроения. Ел он очень мало, я не помню, чтобы Осип Эмильевич спокойно сидел за обеденным столом. Что-то схватит на ходу, как мне казалось, автоматически, не замечая что, или со стаканом чая бегаёт вокруг стола, читает стихи и спрашивает маму: «Вам нравится, Мария Ивановна?». Так же он ел и дома. Обязательно одновременно чем-то занимался. Но любил, когда появлялись деньги, пойти в лучший магазин, конечно, вместе с Надеждой Яковлевной и купить всяких вкусных вещей, а потом мы устраивали «пир».

* * *

Вскоре Мандельштамы перешли на другую квартиру. В маленьком одноэтажном каменном домике они снимали комнату у театральной портнихи, которая жила вместе со старушкой матерью и сыном Вадей, учеником второго класса. Удобств никаких не было, отопление печное. Но расположен дом был очень живописно. Он находился в тупике на улице 27 февраля, в трех минутах ходьбы от проспекта Революции [78]. Перед домом была большая площадка с огромным тополем, разбросавшим во все стороны свои могучие ветви, а за домом был спуск (начиналась Неёловская улица), открывался вид на речную даль. И вблизи никаких домов не было. Даже не верилось, что это центр города. Через площадку и дорогу в угловом здании бывшей женской гимназии в то время находились междугородная телефонная станция и городской автомат. Тогда их в Воронеже было очень мало. Мы не раз часами, чаще всего поздно вечером, просиживали на станции в ожидании Москвы. Утешало то, что мы почти всегда были единственными посетителями: можно разговаривать, читать стихи, думать – никто не мешал.

Теперь на месте домика, где жили Мандельштамы, большой дом и сад работников обкома партии. Все заасфальтировано, тополь, конечно, уничтожен: слишком он привольно жил.

В комнату Мандельштамов можно было попасть через маленькую покосившуюся переднюю. Налево вела дверь к ним, а прямо – к хозяевам. Комната была

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru темноватая, два небольших окна в глубоких нишах освещали ее плохо, а тут еще затенял тополь. Одно окно выходило на площадку, другое во двор, и Осипа Эмильевича по утрам изводил петух, который с ранней зари начинал кукарекать прямо в окно (окна были на полметра от земли). Петух настолько надоедал Осипу Эмильевичу, что он даже об этом писал Надежде Яковлевне, уехавшей по делам в Москву: «Я тебе петуха-красавца покажу, который восклицает триста раз от четырех до шести утра. И котенок Пушок всюду бегают. И вербочки зеленые...»

Во втором письме, написанном через несколько дней, – опять петух: «Дней десять назад я поссорился с хозяйкой (я кричал о петухе в пространство: она приняла на свой счет. Очень деликатно, но все же говорила кислые слова) из-за петуха. Все это забыто. Деликатность удивительная. Денег не брали. Терпенье сверх меры. По поводу нападения курицы на маму. Никакой царапины нет. Шрам заживает. Черт знает какой вздор пишу! Гоголь такого не выдумает!..»

Убранством комната мало отличалась от прежней: две кровати, стол, какой-то нелепый длинный черный шкаф, очевидно, книжный, и старая, обитая дерматином кушетка, которая стояла почему-то почти посередине комнаты. На ней всегда было холодно и неуютно. Так как стол был единственный, то на нем лежали и книги и бумаги, стояли дымковские игрушки (их любила Надежда Яковлевна) и кое-какая посуда. В шкафу действительно хранились те многие книги, с которыми Осип Эмильевич не расставался. Помню старинное издание на итальянском языке его любимой «Божественной комедии» Данте в кожаном переплете с застежками, сонеты Петрарки, тоже в подлиннике; на немецком языке Клейст, о котором написано замечательное стихотворение «К немецкой речи» [79], стихи Новалиса, альбомы живописи и архитектуры и еще какие-то книги.

Я вспоминаю немца-офицера:
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера.
Мы рассматривали с Осипом Эмильевичем эти альбомы, и как-то под впечатлением готических соборов Реймса и Лиона Мандельштам написал стихотворение:

Я видел озеро, стоявшее отвесно.
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный,
Лиса и лев боролись в челноке..
Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна пришли ко мне в лабораторию, где я работала, и Мандельштам прочитал его мне. Читать мне (больше и некому было) только что написанное стихотворение стало для Осипа Эмильевича привычкой. Если не приходила я, они приходили сами ко мне домой или на работу. Помимо своих стихов, Осип Эмильевич часто читал мне стихи любимых поэтов: Данте, Петрарку, Клейста. Я не знала языка, но впечатление было непередаваемое: изумительный голос поэта, его манера чтения и музыка стихов создавали иллюзию полного понимания текста. Одним из любимых русских поэтов Осипа Эмильевича был Батюшков. Нередко он читал мне его стихи. В чудном стихотворении «Батюшков», написанном Мандельштамом еще в 1932 году, он говорит о нем как о своем современнике, ощущая его присутствие:

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.
Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему.
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму..
Это и понятно, учителями Батюшкова были Торквато Тассо, Петрарка. Пластика, скульптурность и в особенности неслыханное у нас до него благозвучие, «итальянская гармония» стиха, – все это, конечно, очень близко Осипу Эмильевичу.

В этом же стихотворении он так характеризует «русского Тассо»:

Ни у кого – этих звуков изгибы..
И никогда – этот говор валов!..
Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Как-то попался Осипу Эмильевичу томик Никитина в серии библиотечки поэта. Он с удовольствием читал его лирические пейзажные стихи и восторгался отдельными строфами.

Из своих современников Мандельштам больше всех ценил Пастернака, которого постоянно вспоминал. Надежде Яковлевне он говорил, что так много о нем думает, что даже устал.

В новогоднем письме Осип Эмильевич писал Пастернаку:

«Дорогой Борис Леонидович. Когда вспоминаешь весь великий объем вашей жизненной работы, весь ее несравненный жизненный охват – для благодарности не найдешь слов. Я хочу, чтобы ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены, – рвалась дальше к миру, к народу, к детям...

Хоть раз в жизни позвольте сказать вам: спасибо за все и за то, что это „все“ – еще не „все“.

Простите, что я пишу вам, как будто юбилей. Я сам знаю, что совсем не юбилей: просто вы нянчите жизнь и в ней меня, недостойного вас, бесконечно вас любящего»[80].

В одну из поездок в Москву Надежда Яковлевна показала Пастернаку вторую «Воронежскую тетрадь» Мандельштама. Новые стихи понравились Борису Леонидовичу. Он подробно говорил о них Надежде Яковлевне и написал записку Осипу Эмильевичу:

«Дорогой Осип Эмильевич! Ваша новая книга замечательна. Горячо Вас с ней поздравляю. Мы с Надеждой Яковлевной отметили и выделили то, что меня больше всего поразило. Она расскажет Вам о принципе разбора. Я рад за Вас и страшно Вам завидую. В самых счастливых вещах (а их немало) внутренняя мелодия предельно материализована в словаре и метафорике и редкой чистоты и благородства. „Где я, что со мной дурного...“ в этом смысле головокружительно по подлинности и выражению.

Пусть Надежда Яковлевна расскажет Вам все, что говорилось нами о теме и традиции. Пусть временная судьба этих вещей Вас не смущает. Тем поразительнее будет их скорое торжество. Как это будет, никто предсказать не может...

Но говорить только хочется об „Осах“, „Ягненке гневном“ и других Ваших перлах, и на словах (с Надеждой Яковлевной) это вышло лучше и проще, на бумаге же ложится таким Саводником, что лучше бросить»[81].

* * *

Я хорошо помню первое впечатление, которое произвел на меня Осип Эмильевич. Лицо нервное, выражение часто самоуглубленное, внутренне сосредоточенное, голова несколько закинута назад, очень прямой, почти с военной выправкой, и это настолько бросалось в глаза, что как-то мальчишки крикнули: «Генерал идет!». Среднего роста, в руках неизменная палка, на которую он никогда не опирался, она просто висела на руке и почему-то шла ему, и старый, редко глаженный костюм, выглядевший на нем элегантно. Вид независимый и непринужденный. Он, безусловно, останавливал на себе внимание – он был рожден поэтом, другого о нем ничего нельзя было сказать. Казался он значительно старше своих лет. У меня всегда было ощущение, точнее, убеждение, что таких людей, как он, нет. Он и сам писал: «Не сравнивай: живущий несравним...». Я смотрела на него всегда с удивлением, и острота новизны не исчезала. Осип Эмильевич никогда не жаловался на обстоятельства, условия жизни. Прекрасно он сказал об этом:

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.
В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен. –
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен...
15–16 января 1937.

* * *

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru
Как-то сочувственно я рассказала о жалобах Сергея Борисовича на то, что так неудачно сложилась у него жизнь, что при других условиях он много мог бы написать. Неожиданно для меня Осип Эмильевич взорвался «Ерунда, – резко сказал он, – если вам есть что сказать, скажете при всех обстоятельствах и вместо десяти нудных томов напишете один».

У него не было мелких повседневных желаний, какие бывают у всех. Мандельштам и, допустим, машина, дача или полированный гарнитур – совершенно неправдоподобно, несовместимо.

Но он был богат, богат, как сказочный король: и «равнины дышащее чудо», и чернозем «в апрельском провороте», и земля, «мать подснежников, кленов, дубков», – все принадлежало ему.

Где больше неба мне – там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов –
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.
Он мог остановиться зачарованный перед корзиной весенних лиловых ирисов и с мольбой в голосе попросить: «Надюша, купи!» А когда Надежда Яковлевна начинала отбирать отдельные цветы, с горечью воскликнуть: «Все или ничего!» «Но у нас ведь нет денег, Ося», – напоминала она.

Так и не были куплены ирисы. Что-то детски-трогательное и грустное было в этом эпизоде.

Мне так хотелось подарить Осипу Эмильевичу все цветы, но у меня тоже не было денег.

* * *

Жили Мандельштамы в абсолютной изоляции, кроме меня, у них никто не бывал, так же как и они бывали только у нас. Позднее я привела к ним Павла Леонидовича Загоровского, профессора Воронежского пединститута [82], по специальности психолога, человека широко образованного, страстно любящего и превосходно знающего поэзию. Он был кумиром воронежской поэтической молодежи и всегда окружен ею. Павел Леонидович был человек необыкновенный и по внешнему облику, и по манерам, и по характеру. Его движения, походка отличались изяществом. Очень быстрый взгляд и вдруг – опущенные ресницы, какая-то удивительная живость, внезапный смех, как бы вызванный своими мыслями, высокий звук голоса, а главное, удивительная деликатность, безукоризненная воспитанность, столь редкая сейчас, – все это поражало, приковывало к нему людей. Недаром Осип Эмильевич называл его «бархатный профессор». Тонкий, остроумный и в то же время очень мягкий, удивительно скромный, он никогда не подчеркивал своей буквально энциклопедической образованности. Память у него была феноменальная. Это был безупречно порядочный человек, по-настоящему мужественный, не побоявшийся поставить под удар и себя, и семью я свое положение (он был не только профессором и завкафедрой, но и проректором).

Как-то я предложила Павлу Леонидовичу познакомиться с Осипом Эмильевичем. Он согласился.

В условленный час мы пошли к Мандельштамам и уже почти дошли до дома, как вдруг Павел Леонидович говорит, что сегодня не пойдет. Я возмутилась: «Боитесь?» «Нет, просто я не в форме», – ответил он. Я не поверила и пошла одна, решив, что больше, конечно, навязывать ему это знакомство не буду. Через несколько дней Павел Леонидович сам попросил меня пойти с ним к Осипу Эмильевичу. Симпатия между ними возникла сразу, как будто они были давно знакомы. Наконец-то Осип Эмильевич обрел равного себе собеседника. Я сидела на кушетке, вжавшись в угол, и тихо радовалась, молча слушая их оживленный разговор, – они буквально дорвались друг до друга и, казалось, забыли обо всем на свете.

С этого времени Павел Леонидович не очень часто, но систематически бывал у Мандельштамов. Заходили и они к нему на несколько минут, обычно днем, чтобы не бросалось в глаза. Павел Леонидович по возможности помогал опальному поэту: страшно смущаясь, он совал в руку Надежде Яковлевне деньги.

Решив расширить круг знакомых Осипа Эмильевича, я хотела привести к нему профессора Бернадина (философа, или, как он сам себя тогда называл,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru (диаматчика). Он был еще молодым человеком, интересовался литературой, стихами, часто бывал у нас. Но мое предложение резко отверг. На тот же вопрос: «Боитесь?» – «Да, боюсь», – ответил он прямо.

* * *

Как-то ранней весной в самых первых числах марта, когда везде еще лежал снег (в том году его было очень много), Осип Эмильевич зашел к нам, и мы пошли гулять. Были уже сумерки. Мы дошли до конца улицы Каляева, на которой я жила и остановились на крутой горе; улица спускалась вниз, на Степана Разина, а напротив поднималась тоже крутая и высокая гора, так начиналась Логовая.

В синих сумерках на горе и внизу загорались огоньки окон.
На доске малиновой, червонной,
На кону горы крутопоклонной,
В тридорога снегом занесенной.
Высоко занесся санный, сонный
Полугород, полуберег конный.
В сбрую красных углей запряженный...

.....
Не ищи в нем зимних масел рая,
Конькобежного фламандского уклана..
Так запечатлел Осип Эмильевич кусочек моего города в стихотворении, которое он прочитал на другой день.

* * *

Я приходила к Мандельштамам чаще всего из техникума, днем или вечером, и почти всегда заставляла их обоих на кроватях.

Надежда Яковлевна лежа читала или писала. Она превосходно знала английский язык и переводила, конечно, под чужим именем, чтобы хоть сколько-нибудь заработать. Ведь жить было совсем не на что. Осип Эмильевич сидел в обычной для него позе около спинки своей кровати, часто с потухшей папиросой. Мой приход вносил оживление. Я рассказывала техникумовские новости, а однажды пришла в полном смятении, надеясь получить от Осипа Эмильевича совет.

На уроке русского языка во время диктанта на вопрос учащихся, как пишется «в полдень», я ответила: «Вместе», имея в виду существительное «полдень». Все тридцать человек написали «полдень» слитно с предлогом «в». Что делать? Эта ошибка меняла оценку, я в отчаянии (был первый год моей педагогической работы). Осип Эмильевич рассмеялся и вместо совета взял карандаш и написал две эпиграммы:

Если бы проведал бог,
Что Наташа педагог.
Он сказал бы, ради бога,
Уберите педагога.
И вторая:

Наташа, как писать «балда»,
Когда идти на бал, то «да»,
А «в полдень», если день, то вместе,
А если ночь, то не скажу по чести.
Иногда я укладывалась рядом с Надеждой Яковлевной, и мы тихонько разговаривали, чтобы не мешать своей болтовней Осипу Эмильевичу, ведь комната была одна. Мне всегда было у них хорошо, все мои тревоги, заботы куда-то уходили. Иногда втроем мы шли гулять, но были случаи, когда с порога вынуждены были возвратиться домой. Первые месяцы моего знакомства с Мандельштамами Осип Эмильевич не мог выйти из дома один, без Надежды Яковлевны, а часто и ее присутствие не помогало. У него начиналось удушье, рука инстинктивно тянулась к воротнику рубашки, ему хотелось его разорвать, расстегнуть, он задышался; не знаю, возникало ли у него ощущение страха, но видеть это было очень тяжело.

Несколько позднее Осип Эмильевич мог ходить уже со мной и однажды, когда я была в техникуме, пришел один, я даже глазам своим не поверила, он сиял.

* * *

Мы много гуляли, особенно когда ненадолго уезжала в Москву Надежда Яковлевна. Осип Эмильевич очень тосковал без нее и писал ей замечательные письма. Вот одно из них:

«Надик, дитенок мой!

Что письмо это тебе скажет? Его утром принесут, или вечером найдешь? Так доброго утра, ангел мой, и покойной ночи и целую тебя – сонную, уставшую или вымытую, свеженькую, деловитую, вдохновенно убегающую по таким хитрым, умным, хорошим делам.

Я завидую всем, кто тебя видит. Ты моя Москва, и Рим, и маленький Давид. Я тебя наизусть знаю. И ты всегда новая, и всегда слышу тебя, радость. Ау, Наденька!» (28 апреля 1937 года)

Как-то на время ее отъезда приехала мать Надежды Яковлевны Вера Яковлевна. Об этом в письме просил сам Мандельштам:

«Дорогая Вера Яковлевна!

Обращаюсь к Вам с просьбой: приезжайте, поживите со мной. Дайте Наденьке спокойно съездить в Москву по неотложным делам. Ехать ей придется на этот раз надолго. Почему я Вас об этом прошу? Сейчас объясню. Как только уезжает Надя, у меня начинается мучительное нервно-физическое заболевание. Оно сводится к следующему: за последние годы у меня развилось астматическое состояние. Дыхание всегда затруднено. Но при Наде это протекает мирно. Стоит ей уехать – я начинаю буквально задыхаться. Субъективно это невыносимо: ощущение конца. Каждая минута тянется вечностью. Один не могу сделать шага. Привыкнуть нельзя...

Бытовые условия будут хорошие. Уютная комната. Славная хозяйка. Лестницы нет. Все близко. Телефон рядом. Центр. Весна в Воронеже чудесная. Мы даже за город с Вами поедem».

Вера Яковлевна – маленькая, худенькая старушка, очень живая и остроумная. Мне казалось, что она относилась к Осипу Эмильевичу как к большому ребенку. Он тоже платил ей хорошим отношением. И когда в ресторане мы ели испанские апельсины, один из них он принес своей теще и положил тихонько ей под подушку. Она уже, конечно, спала.

В письме из Воронежа Вера Яковлевна писала дочери, как она живет со своим зятем:

«Дорогая Наденька! Особенных событий за день не было. Мы гуляем, делаем покупки – у нас вооруженный нейтралитет. В хозяйственных взглядах мы не сходимся. Ося уверен, что он такой же хороший хозяйственник, как и поэт. Он любит все более дорогое, я тоже, но я заглядываю в кошелек и даю обет воздержания... Он не сдается, но бывает покорен, когда увидит дно кошелька».

В конце апреля мы пошли в парк культуры, который воронежцы по старой привычке называли Ботаническим садом. Было пустынно, ни одного человека, только в озерах радостное кваканье лягушек, и весеннее небо, и деревья почти без листьев, и чуть зеленеющие бугры. Так возникло замечательное стихотворение:

Я к губам подношу эту зелень –
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвopреступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков...

А еще позднее, в середине мая, мы гуляли по проспекту Революции. Осип Эмильевич читал стихи, небо было высоким и синим, все благоухало. Мы сели на мраморные ступеньки нового, помпезного здания обкома партии, потом пошли вдоль Кольцовского сквера. У меня было непередаваемое ощущение какой-то внутренней свободы: все повседневные обязанности, заботы, огорчения и радости отступили, их не существовало. Мне казалось, что мы в Италии, и ослепительный весенний день усиливал это ощущение. Да, так можно себя чувствовать только в совсем чужом, но прекрасном городе, где ты ни с кем и ни с чем не связан.

Я робко сказала об этом Осипу Эмильевичу. К моему удивлению, он ответил, что у него такое же ощущение.

На другой день он прочитал мне прекрасное стихотворение, которое сразу уничтожил. «Оно слишком автобиографично», – сказал он, Я до сих пор жалею, что не решилась защитить это стихотворение.

* * *

Не раз мы втроем посещали наш музей изобразительных искусств. Приятно было бродить по чуть холодноватым пустынным залам, хотя вряд ли что-нибудь особенно пленяло Осипа Эмильевича. Помню, он останавливался перед маленькой картиной Дюрера (она и сейчас там висит); вообще зал западноевропейской живописи его интересовал больше. И всегда с удовольствием рассматривал превосходную коллекцию греческих ваз. Может быть, под этим впечатлением написаны стихи:

Длинной жажды должник виноватый,
Мудрый сводник вина и воды –
На боках твоих пляшут козлята
И под музыку зреют плоды.
Флейты свищут, клевещут и злятся.
Что беда на твоём ободу.
Черно-красном, и некому взяться
За тебя, чтоб поправить беду.
И второе:

Гончарами велик остров синий...
И наконец чудное третье стихотворение – «Флейты греческой мята и йота...». Последнее стихотворение было связано не только с вазами, а и с арестом замечательного музыканта Карла Карловича Шваба, с которым Мандельштам был лично знаком. Карл Карлович играл на нескольких инструментах. В музыкальном училище он преподавал по классу фортепиано, а в воронежском симфоническом оркестре играл на флейте. Не раз он играл специально для Осипа Эмильевича.

Очень любил Осип Эмильевич и живопись, об этом говорят его стихи – «Импрессионизм» (1932) и воронежские: «Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста...» или «Как светотени мученик Рембрандт...». Надежда Яковлеана считала, что в «Рембрандте» Мандельштам говорит о себе («резкость моего горящего ребра») и о своей голгофе, лишенной всякого величия.

Стихотворение «Улыбнись, ягненок гневный...» Пастернак назвал перлом. Что послужило поводом к его созданию, какие именно реалии, сказать трудно. В воронежском музее картин Рафаэля нет. Быть может, по какой-то ассоциации Осип Эмильевич вспомнил репродукцию с картины Рафаэля «Мадонна с ягненком». Там есть и ягненок, и «складки бурного покоя» на коленях преклоненной мадонны, и пейзаж, и какой-то удивительной голубизны общий фон картины. Как правило, Мандельштам в своих стихах был точен.

Восторгался Осип Эмильевич иллюстрациями Делакруа к гётевскому «Фаусту» (как-то, будучи у меня, он внимательно их рассматривал).

Бывали мы также и на симфонических концертах нашего воронежского оркестра и особенно на сольных, когда кто-нибудь из известных скрипачей или пианистов приезжал из Москвы и Ленинграда. Музыка Мандельштам, пожалуй, любил больше всего. Не случайно после концерта скрипачки Галины Бариновой он написал и послал ей стихотворение «За Паганини длинопалым...». Во второй строфе Осип Эмильевич непосредственно обращается к ней:

Девчонка, выскочка, гордячка.
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей, –
На голове твоей, полячка.
Марины Мнишек холм кудрей.
Смычок твой мнителен, скрипачка...

Помимо концертов Осип Эмильевич с удовольствием бывал и в кино. Оно привлекало его и раньше. Он написал несколько интересных кинокритик. В одной из них («Шпигун» [83], 1929) Мандельштам писал: «Чем совершеннее киноязык, чем ближе он к тому еще не осуществленному мышлению будущего, которое мы называем кино-прозой с ее могучим синтаксисом, – тем большее значение получает в фильме работа оператора».

Сильное впечатление, которое произвела на Осипа Эмильевича одна из первых звуковых картин – «Чапаев», отразилось в стихотворении «От сырой простыни говорящая...».

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
С большим интересом мы смотрели картину Чарли Чаплина «Огни большого города». Мандельштам очень любил и высоко ценил Чаплина и созданные им кинофильмы. Так появилось стихотворение:

Я молю, как жалости и милости.
Франция, твоей земли и жимолости...

И дальше о Чаплине:

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле

Государит добрый Чаплин Чарли.–

В океанском котелке с растерянною точностью

На шарнирах он куражится с цветочницею...

Очень высокую оценку этому стихотворению дал И. Г. Эренбург. «Я много лет прожил во Франции, – пишет он, – лучше, точнее этого не скажешь...» («Люди, годы, жизнь»).

* * *

Писал Осип Эмильевич много, и никакие превратности его личной судьбы не являлись препятствием для напряженной творческой работы, он буквально горел и, как это ни парадоксально, был по-настоящему счастлив. Мне тогда казалось, что Осип Эмильевич создавал свои стихи легко, они шли потоком, появлялись варианты, а отдельные строчки, образы неожиданно возникали совсем в другом стихотворении, даже в эпиграмме. Но над «Неизвестным солдатом» Осип Эмильевич работал долго и мучительно. Он не давал ему покоя, напряжение было страшное. Я не любила это стихотворение, пожалуй, боялась его, толком не понимая, но интуитивно чувствуя его страшный пророческий смысл.

Отношение к «Неизвестному солдату» у меня, к стыду моему, осталось юношеское, хотя я прекрасно понимаю его значение, глубину и то, что, очевидно, это одно из сильнейших произведений Мандельштама. По крайней мере несомненно, что Осип Эмильевич придавал ему большое значение. Мне кажется, в какой-то степени оно явилось итогом целого периода – воронежского – творчества поэта.

* * *

Мы (Надежда Яковлевна и я) были захвачены в орбиту внутренней напряженной жизни Осипа Эмильевича и жили им, его стихами. Новые стихи были праздником, победой, радостью.

Наверное, нечасто выпадает такое счастье – быть свидетелем (нет, это не то слово) такого торжества духа надо всем. Воронежский период – это новое слово, сказанное Мандельштамом в русской поэзии XX века, подобного еще не было. Об этом же говорила и Анна Андреевна Ахматова: «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем несвободен: „И в голосе моем после удушья звучит земля – последнее оружие“». Да он и сам прекрасно понимал это и прямо выразил в письме, написанном из воронежской ссылки Юрию Тынянову, на которое, кстати, не получил ответа. С этого письма я тогда сняла копию по просьбе Осипа Эмильевича. Она сохранилась в бумагах Надежды Яковлевны. Вот это письмо:

«21 января 1937 года.

Дорогой Юрий Николаевич!

Хочу Вас видеть. Что делать? Желание законное. Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе.

Не отвечать мне легко. Обосновать воздержание от письма или записки невозможно. Вы поступите, как захотите.

Ваш Осип Мандельштам».

Это письмо интересно и как самооценка.

* * *

Очень много Осип Эмильевич читал. Он брал книги в университетской фундаментальной библиотеке, доступ к которой получил еще до нашего знакомства.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Мандельштам высоко ценил эту библиотеку и не раз говорил, что в ней можно найти редчайшие книги, которые не всегда увидишь в библиотеках столичных. Вот и еще была радость в его жизни – общение с книгами.

Несмотря на изоляцию, подневольное положение и полное неведение, чем обернется будущее, Осип Эмильевич жил в духовном отношении активной, деятельной жизнью, его интересовало все. Помню, как волновали его испанские события. Он начал даже изучать испанский язык и очень быстро на моих глазах в какой-то мере овладел им. Может быть, под впечатлением этих событий одно из стихотворений Мандельштама («Когда щегол в воздушной сдобе...») заканчивалось строками:

И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц!
* * *

Апатия была не свойственна характеру Осипа Эмильевича, чуждо было ему и желчное раздражение, но в гнев он впадал не раз. Он мог быть озабочен, сосредоточен, самоуглублен, но даже в тех условиях умел быть и беззаботно веселым, лукавым, умел шутить.

Как-то Мандельштамы пришли к нам. Осип Эмильевич подошел к письменному столу, выдвинул ящик (там лежали особенно любимые книги) и увидел листки розовой бумаги со стихами, написанными тушью. Почерк ему показался знакомым. Осип Эмильевич без разрешения прочитал их. Сергей Борисович, уезжая, переписал для меня свои стихи, среди них было одно, посвященное мне. Не знаю, по каким признакам Осип Эмильевич об этом догадался. Называлось оно «Баллада о движении» (в разлив, ранней весной мы сидели с Сергеем Борисовичем на плоту). В стихотворении были слова «источник слез». Осип Эмильевич ничего не сказал, лукаво улыбнулся и написал эпиграмму:

Источник слез замерз, и весят пуд оковы
Обдуманных баллад Сергея Рудакова.
Бедный Сергей Борисович, наверное, и не узнал этой эпиграммы, так как погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.

Часто по вечерам от Мандельштамов я спешила к своему дяде, который болел и которого я очень любила. Так возникла шуточная надпись, приложенная к книжке «Стихотворения» издания 1928 года, подаренной мне Осипом Эмильевичем:

Эта книжка украдена Трошею в СХИ[84].
И резинкою Вадиной для Наташи она омоложена
И ей дадена в день посещения дядина.
Надпись была сделана на маленьком дамском конвертике с лиловым обрезом (эти конвертики лежали в коробке, стоявшей у Надежды Яковлевны на столе).

На книге была совсем другая надпись «Милой Наташе, – не знаю, что и надписать: так мне приятно, что нашлась книжка подарить, хоть и плохая. Обещаю никогда больше таких книг не писать и во всем слушаться – при условии, что и меня будут слушаться».

История подаренной книги такова. Троша, соквартирант Сергея Борисовича, получил путевку в местный дом отдыха имени Максима Горького, и там в библиотеке ему попала книжка стихов Мандельштама, о котором он постоянно слышал от Рудакова. Недолго думая Троша украл книжку и передал Осипу Эмильевичу для получения автографа. Между тем, пока Осип Эмильевич собирался это сделать, Трошу направили на постоянную работу в район. О книжке все забыли. Как-то случайно она попала на глаза, Осип Эмильевич очень обрадовался: действительно, Вадиной резинкой (это был мальчик хозяйки) по возможности стер надписи и просто грязь, просмотрел все стихи, помню, одно вычеркнул, два дописал, что-то исправил. Везде поставил букву «В» (Воронеж), дату и инициалы О. М. и подарил мне. После войны я отдала ее Надежде Яковлевне. У меня остался только «Шум времени» с короткой надписью: «Милой, хорошей Наташе от автора. В 16/V-37 г.»

Возвращаясь к конвертикам, на них были написаны и другие эпиграммы. Писал их Осип Эмильевич весело, часто за чаем, когда я собиралась уходить.

Пришла Наташа. Где была?
Небось не ела, не пила,
И чует мать, черна как ночь,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru

Вином и луком пахнет дочь.

Особенно потешала Осипа Эмильевича последняя строчка, так как лук я терпеть не могла да и к вину была совершенно равнодушна. Он читал ее с особым ударением. Были и другие экспромты, тоже за вечерним чаем, на конвертиках с лиловым обрезом. И еще шутка, записанная Осипом Эмильевичем на двух отдельных листках, с заголовками «Подражание новогреческому»:

Девочку в деве щадя, с объяснением юноша медлил

И через семьдесят лет молвит старухе: «Люблю!»

А на втором листке:

Мальчика в муже щадя, негодуя, медлила дева

И через семьдесят лет плюнула старцу в лицо!

Осип Эмильевич даже вычислил и на каждом листке написал, сколько лет было «деве» и «старцу». Шутка была связана со мной и Павлом Леонидовичем.

* * *

Часто бывали мы и в книжных магазинах. Это доставляло и мне и Осипу Эмильевичу большое удовольствие. Привычка заходить почти ежедневно в книжный магазин возникла у меня давно, до знакомства с Мандельштамом. Я собирала книги, главным образом стихи, и у меня была уже порядочная библиотека. Книги я покупала везде, где бывала: и в Москве, и в Ленинграде, и в других городах. Помню еще букинистов у Китайской стены – книги были разложены на подстилках прямо на земле или на раскладных матерчатых столиках. Чего тут только не было, и цены были нормальные, тогда книги не являлись еще предметом спекуляции. Да и на старичков букинистов было приятно и интересно посмотреть.

В Воронеже на проспекте Революции находилось четыре книжных магазина (теперь и в одном продавать нечего). Особенно мы любили заходить в два из них. Один размещался в доме рядом со строительно-монтажным техникумом (теперь там булочная), второй – на первом этаже здания кинотеатра «Пролетарий» (сейчас там бар). Эти магазины казались нам необычными, и делали их необычными люди, работавшие в них. Первый назывался «Магазин индивидуальной книги». Доступ к книжным стеллажам был свободный, вместо прилавков стояли небольшие столики и стулья. Заведовал магазином Яков Романович Милой, чудный человек, влюбленный в книги, хорошо знавший вкусы своих покупателей. Кроме него была только одна продавщица, Мария Александровна, милая, красивая, обаятельная женщина. Магазин являлся своеобразным клубом, где встречались любители книг, делились впечатлениями по поводу прочитанного, спорили, радовались новой хорошей книге. Иногда Яков Романович даже звонил по телефону своим постоянным посетителям: приходите, есть такая-то книга. Прибегаешь, еще помучает: «У меня только одна книга, а вы пришли вдвоем». Стоим и думаем: кто же окажется счастливым? А Яков Романович с заговорщическим видом идет за перегородку в так называемый свой кабинет и торжественно выносит вторую книгу.

Яков Романович уцелел на фронте, но совершенно потерял здоровье/ Грустно и больно было на него смотреть. Он умер в первый суровый и голодный послевоенный год в растерзанном немцами Воронеже, где даже кров над головой найти было трудно.

Второй магазин – букинистический, заведовал им Яков Андреевич Чернышев, он же был и продавцом. Яков Андреевич, человек немолодой, когда-то работал у Сытина; это был прекрасный знаток книги и вообще очень хороший человек. У него можно было купить самые редкие книги. Я купила там «Снежную маску» А. Блока издания 1907 года, первое издание «Вечерних огней» Фета 1883 года, «Форель разбивает лед» М. Кузмина, «Четки» Ахматовой, «Кипарисовый ларец» Анненского 1923 года издания и многое другое. Ведь Воронеж до революции был дворянским городом, кругом было много имений с богатыми личными библиотеками, так что источник существовал. Если Яков Романович звонил своим покупателям, когда появлялась интересная книга, то Яков Андреевич, хитро улыбаясь, говорил: «Платите столько-то». Значит, сюрприз. Так были куплены мной «Камень» Мандельштама, его «Стихотворения» 1928 года, роскошный «Фауст» Гёте 1848 года издания. Осип Эмильевич книг не покупал, но особенно часто заходил в этот магазин, с большим интересом рассматривал книги и очень любил поговорить с Яковом Андреевичем. Как я могла заметить, это доставляло большое удовольствие и тому и другому. А когда возникало критическое положение с деньгами, Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна несли в магазин к Якову Андреевичу продавать свои драгоценные книги. И, конечно, не случайно книги эти всегда оказывались непроданными; получив откуда-нибудь деньги, Осип Эмильевич, к своей великой радости, выручал их.

* * *

В конце декабря 1936 года я заболела и слегла надолго. Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич приходили каждый день. Мандельштамы старались развлечь меня, но у самого Осипа Эмильевича, я чувствовала, настроение было плохое.

Мы разговаривали, читали, иногда Осип Эмильевич грустно играл с моим котом, хотя играть с ним было мудрено. Кот был злой, дикий, и характер у него, надо сказать, был дьявольский. Он царапался, кусался, даже преследовал осмелившегося его погладить, чтобы вцепиться. Любил он, пожалуй, только меня, остальных, кто бывал у нас, кое-как терпел. Внешность его вполне соответствовала повадкам. Кот был совершенно черный, без единого пятнышка, с огромными изумрудными глазами. Смотрел он на человека всегда пристально, и в глазах был вопрос с оттенком презрения. Мне казалось, что он все понимает, и я не удивилась бы, если бы он заговорил. Было в нем нечто злое, ведьмовское, таинственное. Кот очень занимал Осипа Эмильевича, и однажды, придя к нам, Мандельштам прочитал мне стихотворение:

Оттого все неудачи.
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий –
Внук он зелени стоячей
И купец травы морской.
Там, где огненными щами
Угощается Кашей, –
С говорящими камнями
Он на счастье ждет гостей, –
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.
У него в покоях спящих
Кот живет не для игры –
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы.
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих
Шароватых искр пиры.

Видя настроение Осипа Эмильевича, я не восприняла это стихотворение как шуточное, было в нем какое-то тоскливое предчувствие беды, беспокойство.

В письме Н. С. Тихонову от 31 декабря 1936 года Мандельштам сам дает оценку «Кашееву коту»:

«В этой вещи я очень скромными средствами при помощи буквы „щ“ и еще кое-чего сделал (материальный) кусок золота.

Язык русский на чудеса способен, лишь бы ему стих повиновался. Как любой язык чтит борьбу с ним поэта и каким холодом платит он за равнодушие и ничтожное ему подчинение...

Стишок мой в числе других когда-нибудь напечатается, и он будет принадлежать народу Советской Страны, перед которым я в бесконечном долгу»[85].

В январе 1937 года Осип Эмильевич чувствовал себя особенно тревожно, он задыхался... И все-таки в эти январские дни им было написано много замечательных стихотворений. Как узнавала я в них нашу зиму, морозную, солнечную, яркую:

В лицо морозу я гляжу один, –
Он – никуда, я – ниоткуда,
И все утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.
А солнце шуруется в крахмальной нищете,
Его прищур спокоен и утешен.
Десятизначные леса – почти что те...
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб,
безгрешен.

Но тревога нарастала, и уже в следующем стихотворении Мандельштам пишет:

О, этот медленный, одышливый простор –

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Я им пресыщен до отказа!
И отдышавшийся распахнут кругозор –
Повязку бы на оба глаза!
И все разрешается замечательным и страшным стихотворением:

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок.
От замкнутых я, что ли, пьян дверей?
И хочется мычать от всех замков и скрепок...
Если Осипа Эмильевича не особенно угнетало отсутствие средств к существованию,
то та изоляция, в которой он оказался в Воронеже, при его деятельной, активной
натуре порой для него была непереносима, он метался, не находил себе места. Вот
в один из таких острых приступов тоски Осип Эмильевич и написал это трагическое
стихотворение.

Как-то утром пришли Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна, и Мандельштам прочитал
его, меня оно потрясло. Как ужасно чувство бессилия! Вот, на твоих глазах
задыхается человек, ему не хватает воздуха, а ты только смотришь и страдаешь за
него и вместе с ним, не имея права подать даже виду. В этом стихотворении я
узнавала внешние приметы моего города. Мандельштамы иногда шли к нам не по
проспекту Революции, а низом, по Поднабережной, и там на стыке нескольких улиц –
Мясной Горы, Дубницкой и Семинарской Горы – действительно стояла водокачка
(маленький кирпичный домик с одним окошком и дверью), был и деревянный короб для
стока воды, и все равно люди расплескивали ее, кругом все обледенело.

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке,
А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб...
Все это правда. Да, да, и «переулков лающих чулки, и улиц перекошенных чуланы» –
Суконовки (Левая и Правая, узкие, кривые), Венецкая, Мало-Чернавская... как много
их в этом узле. Запутаешься, закружат... Как не замечала раньше!

* * *

В эти же дни я как-то пришла к Мандельштамам. Мой приход не вызвал обычного
оживления. Не помню кто, Надежда Яковлевна или Осип Эмильевич, сказал: «Мы
решили объявить голодовку». Мне стало страшно. Возможно, видя мое отчаяние, Осип
Эмильевич начал читать стихи. Сначала свои, потом Данте. И через полчаса уже не
существовало ничего в мире, кроме всеильной гармонии стихов. Кажется, никогда
не было так хорошо! Я запомнила это на всю жизнь, очевидно, по резкому контрасту
двух противоположных чувств.

Только такой чародей, как Осип Эмильевич, умел увести в другой мир. Нет ни
ссылки, ни Воронежа, ни этой убогой комнаты с низким потолком, ни судьбы
отдельного человека. Необъятный мир чувства, мысли, божественной, всеильной
музыки слов захватывал тебя целиком, и кроме ничего не существовало. Читал стихи
Осип Эмильевич, как я уже говорила, неповторимо, у него был очень красивый
голос, грудной, волнующий, с поразительным богатством интонаций и удивительным
чувством ритма. Читал он часто с какой-то нарастающей интонацией. И кажется, это
непереносимо, невозможно выдержать этого подъема, взлета, ты задыхаешься, у тебя
перехватывает дыхание, и вдруг на самом предельном подъеме голос разливается
широкой, свободной волной.

Трудно представить человека, который умел бы так уходить от своей судьбы,
становясь духовно свободным. Эта свобода духа поднимала его над всеми
обстоятельствами жизни, и это чувство передавалось другим.

Голодовка не была объявлена, и больше никогда на эту тему разговора не
возникло. Может, меня пожалели, не знаю, я, кажется, этого не пережила бы.

И, несмотря ни на что, было хорошо. Я обрадовалась, узнав, что не только я так
чувствовала. Когда через сорок лет вышла книга Осипа Эмильевича «Разговор о
Данте», Надежда Яковлевна, подписывая ее мне, назвала зиму 1936/37 года страшной
и счастливой.

Анна Андреевна Ахматова, которая навестила поэта в изгнании в феврале 1936 года,
Страница 181

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru так передала свое впечатление от его жизни в известном стихотворении «Воронеж», посвященном Осипу Эмильевичу:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет.

Которая не ведает рассвета.

А ведь она побывала здесь тогда, когда еще существовали какие-то связи с писательскими организациями, когда была какая-то работа или видимость ее – в театре, радиоцентре, даже командировки в совхоз.

Осип Эмильевич, рассказывая мне о приезде Анны Андреевны, смеясь, говорил: «Анна Андреевна обиделась, что я не умер». Он, оказывается, дал ей телеграмму, что при смерти. И она приехала, осталась верна старой дружбе, не побоялась приехать, несмотря на свое тоже неблагоприятное положение.

Позднее, уже в период моей дружбы с Мандельштамами, все было обрублено – ни людей, ни связей, ни работы.

«Наше благополучие кончилось осенью 1936 года, когда мы вернулись из Задонска. Радиокомитет упразднили, централизовав все передачи, не оказалось работы и в театре, газетная работа тоже отпала. Рухнуло все сразу», – писала Надежда Яковлевна.

Мандельштамы оказались в полной изоляции.

В апреле 1937 года Осип Эмильевич писал Корнею Ивановичу Чуковскому: «Я поставлен в положение собаки, пса. Меня нет. Я – тень. У меня только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство... Нового приговора к ссылке я не вынесу. Не могу».

Такое настроение, очевидно, усугублялось приближением конца высылки и полным неведением будущего, а также выпадами против поэта в местной печати.

В апреле в областной газете «Коммуна» появилась статья, направленная против Мандельштама. Несколько позднее, в том же 1937 году, в первом номере альманаха «Литературный Воронеж», выпад против Мандельштама был еще более резким. В обзорной статье «Воронежские писатели за 20 лет» Н. Романовский и М. Булавин писали:

«Пользовавшиеся поддержкой врагов народа, прибывшие в 1934 году в Воронеж троцкисты Стефен, Айч, Мандельштам, Калецкий пытались создать сильное оцепление писательского коллектива, внося дух маразма и аполитичности. Попытка эта была разбита. Эта группа была разоблачена и отсечена, несмотря на явно либеральное отношение к ней бывших работников обкома (Генкин и др.), которые предлагали „перевоспитывать“ эту банду».

Там же местный поэт Григорий Рыжманов опубликовал памфлет на Мандельштама.

Лицом к лицу

Пышной поступью поэта,
Недоступный, словно жрец,
Он проходит без привета
И... без отклика сердец.
Подняв голову надменно.
Свысока глядит на люд –
Не его проходит смена.
Не его стихи поют.
Буржуазен, он не признан.
Нелюдимый, он – чужак,
И побед социализма
Не воспеть ему никак.
И глядит он вдохновенно:
Неземной – пророк на вид.
Но какую в сердце тленном
К нам он ненависть таит!
И когда увижу мэтра

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Замолчавших вражьих лир.
Напрягаюсь, как от ветра,
Четче, глубже вижу мир.
Презирай, гляди надменно –
Не согнусь под взглядом я.
Не тебе иду на смену,
И не ты мой судия!
декабрь 1936[86].

В ответ на все это Мандельштам написал письмо в секретариат Союза советские писателей:

«Уважаемый тов. Ставский,

прошу Союз советских писателей расследовать и проверить позорящие меня высказывания Воронежского областного отделения Союза.

Вопреки утверждениям областного отделения Союза моя воронежская деятельность НИКОГДА не была разоблачена областным отделением, но лишь голословно опорочена задним числом.

Называя три фамилии (Стефен, Айч, Мандельштам), автор статьи от имени Союза представляет читателю и заинтересованным организациям самим разбираться: кто из трех троцкист. Три человека не дифференцированы, но названы: „троцкисты и другие классово враждебные элементы“.

Я считаю такой метод разоблачения недопустимым».

* * *

Я сказала Осипу Эмильевичу, что выхожу замуж. На другой день Осип Эмильевич прочитал мне стихотворение «Наташа», свадебное стихотворение. Собственно говоря, оно не имело названия. Мы его назвали «Наташа» условно, начиналось оно так:

Клейкой клятвой пахнут почки,
Вот звезда скатилась, –
Это мать сказала дочке.
Чтоб не торопилась...

Был и первый вариант, который мне нравился больше, но Осип Эмильевич изменил его, «потому что он автобиографичен». Так он сказал мне. К сожалению, я его совсем не помню.

Осип Эмильевич просил меня привести и показать Бориса. Борис почему-то оттягивал эту встречу, хотя очень любил стихи, был страстным поклонником Пастернака. Наконец я обещала Осипу Эмильевичу вечером прийти с Борисом. Борис заупрямился, ему понадобилось непременно идти в кино. После споров решили этот вопрос компромиссно: отправиться к Мандельштамам из кино. Был одиннадцатый час, когда мы подошли к окну комнаты Осипа Эмильевича. Свет был погашен, и Осип Эмильевич стоял у открытой форточки, ожидая нас. Я окликнула его, он сейчас же вышел. «Так вот вы какой!» – произнес он, внимательно разглядывая Бориса. Мы вышли на проспект, почему-то мужчины решили выпить вина (ни тот, ни другой к нему пристрастия не имели) и начали водить меня по погребкам. Их на проспекте было много. Не успевали мы туда спуститься, как я бежала назад: нет стульев, неудобно, мрачно. Тогда они повели меня в погребок, где были столы и стулья. Это была какая-то преисподняя. Темно от табачного дыма, дышать нечем, и в этом табачном тумане пьяные физиономии. Наконец сообразили пойти в лучший воронежский ресторан «Бристоль»[87]. Отдельных кабинетов не существовало, а в общем зале были отгорожены желтым шелком кабины. Одну из них мы заняли. Создавалась иллюзия, что мы одни. Ели испанские апельсины. Осип Эмильевич много читал стихов, был очень оживлен. Борису он сказал, что завидует Пастернаку, что у него такие почитатели. Мы проводили Осипа Эмильевича домой. Я шла впереди, они сзади, увлеченно о чем-то разговаривая. Я вспоминаю этот эпизод, чтобы рассказать, как возникло стихотворение «К пустой земле неволью припадая...». Но этому предшествовал еще один разговор.

Незадолго до нашего «путешествия» по кабачкам я зашла к Осипу Эмильевичу и сказала, что мне по делу надо побывать у Туси, моей приятельницы и сослуживицы. Осип Эмильевич пошел со мной. На обратном пути он меня спросил: «Туса не видит одним глазом?» Я ответила, что не знаю, что никогда на эту тему с ней не

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru говорила, очевидно, не видит. «Да, – сказал Осип Эмильевич, – люди, имеющие физический недостаток, не любят об этом говорить». Я возразила, сказав, что не замечала этого и легко говорю о своей хромоте. «Что вы, у вас прекрасная походка, я не представляю вас иначе!» – горячо воскликнул Осип Эмильевич.

На другой день после ночной прогулки я зашла из техникума к Мандельштаму. Надежда Яковлевна была в Москве. Осип Эмильевич сидел на кровати в своей обычной позе, поджав под себя ноги по-турецки и опираясь локтем на спинку. Я села на кушетку. Он был серьезен и сосредоточен. «Я написал вчера стихи», – сказал он. И прочитал их. Я молчала. «Что это?» Я не поняла вопроса и продолжала молчать. «Это любовная лирика, – ответил он за меня. – Это лучшее, что я написал». И протянул мне листок.

1

К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой,
Она идет, чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка.
И кажется, что ясная догадка
В ее походке хочет задержаться, –
О том, что эта вешняя погода
Для нас – праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.

2

Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождают воскресших и впервые
Приветствовать умерших – их призванье,
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня – ангел, завтра – червь могильный,
А послезавтра – только очертанье.
Что было поступь – станет недоступно.
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И то, что будет, – только обещанье.
4 мая 1937.

И я сразу вспомнила нашу прогулку втроем холодной майской ночью, разговор с Осипом Эмильевичем о Тусе и моей хромоте.

Стихи были написаны тушью на суперобложке к Баратынскому. Осип Эмильевич продолжал: «Надюша знает, что я написал эти стихи, но ей я читать их не буду. Когда умру, отправьте их как завещание в Пушкинский Дом». И после небольшой паузы добавил: «Поцелуйте меня». Я подошла к нему и прикоснулась губами к его лбу – он сидел как изваяние. Почему-то было очень грустно. Упоминание о смерти, а я должна пережить?! Неужели это прощальные стихи? На другой день мы зашли в Петровский сквер. Осип Эмильевич был весел, я сказала, что не могу разобрать во вчерашнем стихотворении ни единого слова. Он написал мне тут же эти стихи по памяти разборчиво карандашом на листке из ученической тетради[88].

В своих воспоминаниях Надежда Яковлевна так писала об этом стихотворении: «Прекрасные стихи Наташе Штемпель стоят особняком во всей любовной лирике Мандельштама. Любовь всегда связана с мыслью о смерти, но в стихах Наташе высокое и просветленное чувство будущей жизни. Он просит Наташу оплакать его мертвым и приветствовать воскресшего».

...Возвратившись из Москвы, Надежда Яковлевна прочитала мне другое стихотворение: «На меня нацелилась груша да черемуха...» – и, улыбаясь, сказала. «Это о нас с вами, Наташа».

* * *

Завещания поэта я не выполнила. Уже после войны, когда Надежда Яковлевна приехала ко мне в Воронеж, я отдала ей оба экземпляра стихотворения. Вообще я отдала все, что у меня было: блокноты со стихами, стихи на отдельных листках и

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru
полосках ватмана, эпиграммы на конвертиках, фотографии, книжку стихотворений
1928 года, правленную Осипом Эмильевичем, а главное – все письма (подлинники,
копии тогда с них не было) Осипа Эмильевича Надежде Яковлевне. Она передала их
мне на хранение после смерти Осипа Эмильевича, когда мы встретились с ней в
Москве точно не помню где: у ее брата Евгения Яковлевича или у Шуры, брата Осипа
Эмильевича. Письма были в железном сундучке от чая. В эту же встречу Надежда
Яковлевна подарила мне одну из любимых книг Осипа Эмильевича – томик Клейста.
Это было старое издание: готический шрифт, желтоватая бумага, кожаный корешок.
Своей рукой Надежда Яковлевна написала: «Из библиотеки Осипа Мандельштама».
(Книга пропала в занятом немцами Воронеже.)

* * *

Я очень привязалась к Мандельштамам. Для меня Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич
были совершенно неразделимы. Я не могла их представить отдельно и кого из них
любила больше – не знаю.

Редко, наверное, в жизни встречаются такие браки, такое понимание, такая
духовная близость. Надежда Яковлевна была вровень своему мужу по уму,
образованности, огромной душевной силе. Я никогда не слышала от нее жалоб, не
видела ее раздраженной или удрученной. Она всегда была ровна, внешне спокойна.
Она безусловно являлась моральной опорой для Осипа Эмильевича. На ней держалась
жизнь. Тяжелая, трагическая его судьба стала и ее судьбой. Этот крест она сама
взяла на себя и несла его так, что, казалось, иначе и не могло быть.

А могло быть иначе, ведь ее никто не высылал, она поехала за мужем добровольно,
и добровольно разделила с ним его участь. До сих пор вижу ее большие, ясные
серо-голубые глаза, улыбку, которой она всегда встречала меня, ровный, спокойный
тон. Женская говорливость не была ей свойственна, скорее она была молчалива. Мне
всегда казалось, что Осип Эмильевич без нее не мог бы существовать. Поэтому так
стало страшно, когда его оторвали от нее и сослали за Владивосток в пересылочный
лагерь, где он и умер.

* * *

Не раз я присутствовала при таинстве создания стихов. Осип Эмильевич обычно
сидел на кровати в своей характерной позе и что-то невнятно бормотал, пока это
бормотанье не превращалось в членораздельную речь. Он не писал и не записывал
свои стихи, а если и записывал, то в виде редчайшего исключения. Лучше всего об
этом сказал он сам: «У меня нет рукописей. Нет записных книжек, нет архивов. У
меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с
голоса». Да, действительно он создавал стихи на слух, он работал «с голоса», а
потом диктовал их Надежде Яковлевне. «Стихи, записанные Надеждой, – говорил Осип
Эмильевич, – могут идти в порядке рукописи». Внимательно прочитав записанное
стихотворение (почему-то всегда стоя, наклонившись над столом), он ставил букву
«В» (Воронеж) и дату. К дате Мандельштам относился очень щепетильно, но
совершенно был безразличен к знакам препинания, и тот, кто писал под его
диктовку, ставил их по своему усмотрению. Помню, одно время стихи записывались
на узкие листочки, нарезанные из ватмана, они не раз переписывались тонким,
мелким и очень разборчивым почерком Надежды Яковлевны. Многие из этих листков
потом попадали ко мне, как и конвертики с эпиграммами. Незадолго до отъезда из
Воронежа Осип Эмильевич попросил Надежду Яковлевну переписать для меня все
стихи. Получилось три толстых голубых блокнота. На первом из них печатными
буквами было написано «Наташина книга». Осип Эмильевич отдал их мне, также
поставив под каждым стихотворением дату и букву «В». Он ничего не сказал, вручая
мне это сокровище. Что он думал – не знаю. Я тогда ничего не думала, просто была
счастлива. Я так привыкла к его стихам, он уезжал, мне трудно было бы жить без
них, а их ведь ни у кого больше не было, да и не знал их почти никто.

Подарил он мне и свою воронежскую фотографию. Накануне отъезда по его желанию мы
все пошли в пятиминутную фотографию на рынке. Как и следовало ожидать, карточка
получилась ужасная. К великому сожалению, Осип Эмильевич отказался идти в
хорошую фотографию, сказав, что не хочет меня подводить. Подводить? Почему
именно теперь пришло ему это в голову? Ведь встречались почти каждый день, а вот
теперь, когда его освободили, у него возникло такое опасение. Каким же непрочным
было ощущение этой «свободы»!

Был и еще один подарок, фарфоровая обезьянка, на обратной стороне Осип Эмильевич
написал: «Наташа, Ося». Я забыла обезьянку, покидая занимаемый немцами Воронеж.
Ведь все было оставлено, мы уходили налегке, в последние минуты. Но если бы я

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru вспомнила, обязательно взяла бы ее, как взяла стихи, листочки, книжку, фотографии и письма, которые, как я уже говорила, отдала мне Надежда Яковлевна после гибели Осипа Эмильевича. Тут я уже понимала, что нужно сохранить все во что бы то ни стало.

И мне удалось это сделать: я не расставалась с небольшим свертком ни в товарных поездах, ни на станциях, ни в деревне, куда мы попали на некоторое время; короче говоря, он был всегда со мной во всех мытарствах, пока мы не оказались в Куйбышеве, в эвакуации.

Для большей гарантии, чтобы сохранить все, что было создано Осипом Эмильевичем, Надежда Яковлевна еще до знакомства со мной стала запоминать наизусть написанные им стихи.

* * *

Я часто думаю, как повезло Воронежу. Вот и еще одно имя навсегда соединилось с этим городом, с этой землей, которая подарила нам в прошлом веке Кольцова и Никитина. Теперь, в XX веке, с ней связано имя Осипа Мандельштама. Здесь поэт обрел новую силу, хоть и писал:

Я около Кольцова,
Как сокол, закольцован,
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца.
К ноге моей привязан
Сосновый синий бор,
Как вестник без указа,
Распахнут кругозор...

И в другом небольшом стихотворении, где шутка смешалась с трагическими нотами:

Пусти меня, отдай меня, Воронеж,
Уронишь ты меня или проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь –
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож!

Город не стал для поэта ни «вороном», ни «ножом», он вернул его. Но вернул для новых страданий и гибели.

* * *

Может быть, здесь впервые Осип Мандельштам почувствовал всю силу земли, несущую жизнь, и приветствовал эту землю:

Ну, здравствуй, чернозем, будь мужествен, глазаст,
Черноречивое молчание в работе.
Стихотворение «Чернозем» [89] было написано под впечатлением распаханых опытных полей СХИ, где Осип Эмильевич нередко гулял ранней весной.

Вплотную к полям подходил Ботанический сад, а напротив была Архиерейская роща. Там в 1879 году собрался съезд «Земли и воли», на котором присутствовали Плеханов, Софья Перовская, Вера Фигнер, Желябов и другие. Не отсюда ли в стихах Мандельштама «комочки влажные моей земли и воли»?

Переуважена, перечерна, вся в холе.
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор.
Вся рассыпаючись, вся образуя хор, –
Комочки влажные моей земли и воли.
В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа, –
Тысячехолмие распахнутой молвы;
Знать, безокружное в окружности есть что-то...
«Чернозем» – точное описание местности, где поэт был «закольцован». И, возможно, один из лучших в русской поэзии гимнов земле.

Мне очень нравилось это стихотворение, и Осип Эмильевич переписал мне его разборчиво тушью на листе хорошей бумаги.

Непосредственно навеяно городом, написано под свежим впечатлением от него – многое.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
Приехав в Воронеж, Мандельштамы поселились в Привокзальном поселке. Эти места связаны и с Андреем Платоновым. Одноэтажные дома с палисадниками, сады, огороды, немощные улицы, заросшие травой, бурьяном. По улицам бродят куры, и за забором нередко раздаётся лай собаки. Трудно представить, что стоит только перейти деревянный мостик через железнодорожную линию – очутишься на проспекте Революции, главной улице города, и что город совсем не маленький. Очевидно, под впечатлением своего нового жилья Осип Эмильевич писал:

Я живу на важных огородах, –
Ванька-ключник мог бы здесь гулять,
Ветер служит даром на заводах,
И далёко убегает гать.
Поэт, конечно, имеет в виду Придаченскую гать, являющуюся продолжением Чернавского моста и соединяющую город с Придачей, тогда еще пригородом. Гать шла через заливной луг.

Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Холит-бродит в русских сапогах.
И богато искривилась половица –
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится,
И своя-то жизнь мне не близка.
Посмею сказать, что Осип Эмильевич полюбил эту землю. В первый год своей жизни в Воронеже он имел возможность побывать в различных районных центрах Черноземья, некоторых совхозах. Был даже в декабре 1935 года в тамбовской санатории, откуда писал Надежде Яковлевне: «Здесь... зимний рай, красота неописанная. Живем на высоком берегу реки Цны. Она широка или кажется широкой, как Волга. Переходит в чернильные леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляют глубокое наслаждение. Очень настоящие места...»

Эта область в темноводье –
Хляби хлеба, гроз ведро,
Не дворянское угодье –
Океанское ядро...
Я люблю ее рисунок,
Он на Африку похож –
Дайте свет, – прозрачных лунок
На фанере не сочтешь...[90]
Анна Россошь и Гремячье, –
Я твержу их имена. –
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна.
Я кружил в полях совхозных,
Полон воздуха был рот.
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот.
Въехал ночью в рукавичный,
Снегом пышущий Тамбов,
Видел Цны – реки обычной –
Белый, белый, бел-покров.

.....
Где я? Что со мной дурного?
Степь беззимняя гола.
Это мачеха Кольцова.
Шутишь – родина щегла!..

Это стихотворение было написано под впечатлением командировок в Воробьевский район, куда Осип Эмильевич ездил с группой воронежских писателей и журналистов.

И отсюда совершенно изумительные стихи о щегле. Я помню, с какой любовью писал их Осип Эмильевич, как радовался им:

Мой щегол, я голову закину,
Поглядим на мир вдвоем.
Зимний день колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке моем?
Хвостик лодкой, перья черно-желты,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru

Ниже клюва в краску влит.

Сознаешь ли, до чего щегол ты,

До чего ты щегловит?

О щегле было не одно стихотворение, были и варианты. «Щеглиный цикл, – пишет Надежда Яковлевна, – развился на обостренной жажде жизни, на ее утверждении, но предчувствие беды пробивалось в нем с первых минут». Осип Эмильевич видел щеглов не только на воле, но и у Вади, хозяйского мальчика, были щеглы. Надежда Яковлевна вспоминает, как работал Осип Эмильевич над этим циклом, и передает его слова: «Щегла запрятали в клетку, не выпустили в лесную Саламанку... А меня нельзя удержать на месте».

Мне кажется, никогда Мандельштам не сливался душой так тесно с природой, никогда не писал таких задушевных стихов, какие писал в Воронеже:

Вехи дальние обоза

Сквозь стекло особняка.

От тепла и от мороза

Близкой кажется река.

И какой там лес – еловый? –

Не еловый, а лиловый,

И какая там береза,

Не скажу наверняка, –

Лишь чернил воздушных проза

Неразборчива, легка...

В Воронеже поэт полюбил русскую зиму, многоснежную, ясную, морозную. До воронежского периода в его стихах почти не было зимних пейзажей. Здесь мне хочется вспомнить еще одно зимнее стихотворение, написанное под впечатлением чудесных картин природы в тамбовском санатории:

Как подарок запоздалый

Ощутима мной зима.

Я люблю ее сначала

Неуверенный размах.

Хороша она испугом,

Как начало грозных дел.

Перед всем безлесным кругом

Даже ворон оробел...

Благодаря «Воронежским тетрадам» Осип Эмильевич навсегда прописан в старом русском городе. Жена поэта писала: «Воронеж был чудом, и чудо нас туда привело».

В полушуточном стихотворении Мандельштам писал:

Эта, какая улица?

Улица Мандельштама.

Что за фамилия чертова! –

Как ее ни вывертывай.

Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного.

Нрава он был не лилейного.

И потому эта улица.

Или, верней, эта яма, –

Так и зовется по имени

Этого Мандельштама.

Это стихотворение связано с реальным адресом одной из квартир поэта в бывшей Троицкой слободе на улице Линеинной.

Чтобы попасть к Мандельштамам, надо было войти в ворота двухэтажного дома, пересечь двор и спуститься по дорожке вниз, в до сих пор существующую «яму». У стихотворения буквальная топография. А название улицы дало повод для поэтической самохарактеристики поэта.

На этой квартире Осипа Эмильевича с Надеждой Яковлевной навещали В. Н. Яхонтов и М. В. Юдина.

Думаю, настанет время, когда в Воронеже действительно будет улица Мандельштама. Жаль, что мы привыкли чтить только мертвых, и то через десятки лет.

Литературно-исторический комментарий

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru
Настоящее издание автобиографической прозы, писем, записных книжек и записей разных лет – первый опыт системного освещения особой биографии – самосозидания – крупнейшего русского поэта XX столетия Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938). Драматизм этого процесса сотворения поэтической личности – точнее импровизации судьбы – был обусловлен многими обстоятельствами. «Полупровинциал, еврей, разночинец, он не получил достояния русской и европейской культуры по естественному наследству, – писал о Мандельштаме М. Л. Гаспаров. – Выбор культуры был для него актом личной воли, память об этом навсегда осталась в нем основой ощущения собственной личности с ее внутренней свободой».

Главными вдохновителями этого процесса, подвижничества поэта, как заметил еще Н. С. Гумилев «были только русский язык... да вечно бессонная мысль».

Автобиографическая и эпистолярная проза Осипа Мандельштама, его «портреты» городов – Петербурга, Москвы, Киева, Феодосии – Надежда Яковлевна Мандельштам назовет эти очерки «городолюбием», «городоистрастием» поэта! – отличаются замечательной особенностью: он запечатлевает себя в предельно критических, конфликтных, переломных состояниях, в движении мысли и чувства, подчеркивает драматизм любого факта и впечатления. Поэтическое «я» Мандельштама везде включено в движение истории, нередко в спор с «веком-волкодавом». Отсюда – редкое богатство жизнеощущений, нравственно-эстетических самонаблюдений и оценок.

Данное издание стало возможным благодаря бескорыстным усилиям многих людей, которым дорога была судьба наследия поэта. Им, прежде всего ученым, подготовившим первое зарубежное издание сочинений О. Э. Мандельштама в 4-х томах (1967), Г. П. Струве, Б. А. Филиппову, откуда и взяты вошедшие в настоящее издание произведения, письма, фрагменты незавершенных творений, а также собирателям наследия поэта и мемуаристики Э. Г. Герштейн, Е. П. Зенкевичу, П. М. Нерлеру, ныне покойным И. М. Семенко, Н. Е. Штемпель, и, безусловно, Н. Я. Мандельштам – искренняя благодарность от составителя данной книги и, надеюсь, от читателей.

«Шум времени»

Печатается по: Мандельштам О. Шум времени. Издательство «Время» Л., 1925. Тираж 3000 экз.

Основная работа над этой книгой – историей петербургского мальчика из еврейской семьи, без фабулы и сюжета – протекала осенью 1923 года в Гаспре в Крыму и, вероятно, в 1924 году в Ленинграде. Рекламируя предстоящее издание, хозяева «Времени», подчеркнули: «Это беллетристика, но вместе с тем и больше, чем сама действительность... Она исчерпывает эпоху».

Среди первых оценок этой автобиографии Мандельштама любопытно мнение А. Лжелева: «Его фраза (Мандельштама-повествователя – В. Ч.) сгибается под тяжестью литературной культуры и традиции. Вместе с тем образы его своеобразны и контрастны, а сравнения неожиданно – верны. Он сшибает эпитеты лбами, как это советует делать Анатолий Франс... Как верно и метко уловлено им многое в этой эпохе общественного упадка, вырождающегося народничества, обреченности, нытья, бессилья „сочувственно тлеющей“ интеллигенции» («Печать и революция», 1929, № 4, с. 151–153). Для Г. Фиша «Шум времени» – документ «мироощущения литературного направления „акмеизма“» («Красная газета», вечерний выпуск, Ленинград, 1925, 30 июня).

Правда, весьма немногие заметили в «Шуме времени» главную психологическую драму повествователя – его уход из «хаоса иудейского», то есть устоявшегося быта, системы ценностей и ориентации, в царство русской культуры, христианства и возникшее в связи с этим состояние, как заметил Н. Лернер, «двойной безбытности», «временное состояние „ни в тех, ни в их“, „шемящей тоски“ и по уже оставленному и по еще не обретенному» («Былое». 1929, № 6). Точнее всех оценил драму утрат и неполных еще обретений Мандельштама эмигрантский критик В. Вейдле: он увидел, что и петербургская Россия и «хаос иудейский» «сродни Мандельштаму, но они сродни ему по-разному: „Он безошибочно передает самый запах и вкус еврейства, и воздух Петербурга, и звук петербургских мостовых. Вторая родина ему важней и дороже первой“» («Дни». Париж, 1925, 15 ноября).

Воспоминания Мандельштама как образец культурно-исторической, дневниковой прозы, полные «энергии мысли» глубины и верности исторической интуиции, стали и темой

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru переписки с Б. Пастернаком. Он напишет автору «Шума времени»: «Полный звук этой книжки, нашедшей счастье для многих неувеличностей... так приковывал к себе, нес так уверенно и хорошо, что любо было читать и перечитывать ее» («Литературное обозрение». 1990, № 2). Для А. Ахматовой «Шум времени» – урок письма об истории, образец для её «Бега времени» (1915), предмет восхищения нагрузкой на слово, на подробность. «Богат Осип, богат», – вспоминала Э. Герштейн ее оценку мира культурных ценностей Мандельштама, фокуса утонченной культуры.

Музыка в Павловске. Описывается концертный зал в здании Павловского железнодорожного вокзала в 1890-е годы, когда семья Мандельштамов жила в Павловске. «Разговоры о. Дрейфусе»; «Имена полковников Эстергази и Пикара» – предмет газетных статей о процессе офицера французского Гентшаба А. Дрейфуса: (1859–1935), обвиненного в шпионаже в пользу Германии в 1894 г.; «Крейцера соната» (1891) – повесть Л. Н. Толстого; «Фигнер терял голос» – речь идет о певце Н. Н. Фигнере, солисте Мариинского театра; «костел Екатерины» – католический храм на Невском проспекте.

«Ребяческий империализм». Конный памятник Николаю I – сооружен в 1856–1895 гг. на Исаакиевской площади; «Крюков канал, голландский Петербург» – так называемая «Новая Голландия» – небольшой остров, образованный речкой Мойкой и каналами; «спуск броненосца „Ослябя“» – эскадренный броненосец «Ослябя» спущен на воду в 1898 году; «Лайки и опойки» – сорта кож.

«Бунты и француженки». Похороны Александра III – состоялись 8 ноября 1894 г.; «кальвинистка» – последовательница Жана Кальвина (1509–1564), одного из реформаторов католицизма; вейки – финские извозчики.

Книжный шкаф. Говорится о родстве отца и матери с Венгеровыми, Копелянскими, Слонимскими, Касирерами, о бабушке и дедушке поэта – сортировщике кож Вениамине Зунделовиче Мандельштаме и Мере Абрамовне, жившими в Риге; Надсон Семен Яковлевич (1862–1887) русский поэт; львиный Антон – А. Г. Рубинштейн (1829–1894) – пианист и композитор; Софья Перовская и Желябов – народовольцы-цареубийцы.

Хаос иудейский. Шавли – местечко под Шауляем, фамильная родина Мандельштама в Курляндии; барон Гинцбург – Гинцбург Гораций Осипович (Нафтали Геру) – банкир, строитель синагоги в Петербурге; Дерпт – ныне г. Тарту; черно-желтый шелковый платок – талес, специальная накидка, которую евреи надевают во время молитвы; «Смерть и просветление» Штрауса – симфоническая поэма Рихарда Штрауса.

Концерты Гофмана и Кубелика. Польский пианист и композитор Иосиф Гофман и чешский скрипач Ян Кубелик часто гастролировали в России в конце XIX века.

Тенишевское училище. О. Э. Мандельштам поступил в Тенишевское коммерческое училище 1 сентября 1900 г. Для училища на Моховой улице было построено замечательное здание – на средства кн. В. М. Тенишева. Среди преподавателей были крупнейшие ученые, педагоги. Позднее в Тенишевском училище обучались писатели В. В. Набоков, О. В. Волков.

Эрфуртская программа. Эрфуртская программа – программа Германской социал-демократической партии, принятая на партсъезде в окт. 1891 г. в г. Эрфурте; Каутский Карл (1854–1938) – один из лидеров II Интернационала, порвал с марксизмом после начала первой мировой войны; Павленковское издание – массовая серия «Жизнь замечательных людей», издававшаяся Ф. Ф. Павленковым в 1880–1890 гг.

Семья Синаки. Речь идет о семье гимназического друга Мандельштама Бориса Синаки (1889–1910).

Комиссаржевская. Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910) – выдающаяся русская актриса; Брак и Гедда – персонажи пьесы Г. Ибсена «Гедда Габлер» (1890); Комиссаржевская, сыграв «Балаганчик»... – премьера «Балаганчика» А. Блока состоялась в театре В. Ф. Комиссаржевской 30 декабря 1906 г.

«В не по чину барственной шубе.» Леонтьев К. Н. (1831–1891) – писатель, философ, незадолго до смерти постригся в монахи; Гиппиус Владимир Васильевич (1876–1941) – поэт и литературовед, в Тенишевском училище преподавал русский язык и литературу.

Феодосия

Впервые эти очерки-эссе опубликованы в составе книги «Шум времени» (Л., 1925).

В основе их – впечатления от пребывания поэта (вместе с братом Александром) в сентябре 1919 года в Крыму (Феодосии и Коктебеле), отъезда в Батуми (в сентябре 1920).

Своеобразие взгляда Мандельштама – сквозь призму культуры, античной мифологии, сквозь игольное ушко своего «эллинизма» – выразилось в очерках в том, что он... как-то не «заметил» ни Врангеля, ни Деникина. «Мы должны быть благодарны Врангелю за то, что он дал нам подышать чистейшим воздухом разбойничьей средиземноморской республики шестнадцатого века», – пишет Мандельштам, совершенно произвольно оценивая и «эвакуацию», то есть горестный исход десятков тысяч русских людей из Крыма в 1920 году, как «радостный атлантический перелет». Безусловно, в реальности все недолгое существование Крыма при Врангеле непрерывно омрачалось тем фактом, отмеченным В. В. Шульгиным, что «там, за горлышком Перекопа, лежит море нищеты», что «этому пленительному полуострову нельзя разнеживаться» (В. В. Шульгин. «Дни. 1920». М., 1989, с. 469).

Известная «разнеженность» Мандельштама – а проще говоря, чисто поэтическое, игровое восприятие суровейших ситуаций, людей, самой «улицы», картинных слободок Феодосии! – часть его душевного уклада, позиции «над схваткой». Современный читатель обязан этой «разнеженности» и прекрасными пейзажами Керчи и Феодосии: «от Митридата (горы в центре Керчи и на окраине Феодосии – В. Ч.), то есть древнеперсидского кремля на горе театрально-картонного камня», и не менее яркими историософскими «пейзажами», сомнамбулическими ландшафтами. Сейчас можно только удивляться явному бесстрашию поэта, создавшему такой мысленный пейзаж истории:

«Самое главное в этом ландшафте был провал, образовавшийся на месте России. Черное море надвинулось до самой Невы; густые, как деготь, волны его лизали плиты Исаакия, с траурной пеной разбивались о ступени Сената».

В сущности такое мировосприятие – вся Россия как Китеж-град, как Атлантида погрузилась на дно потопа! – ничем не отличается ни от галлюцинаций И. С. Шмелева в «Солнце мертвых» (1923), ни от печальной лирики М. Цветаевой («После России» и др.). Демонстративная «беззаботность» Мандельштама, его выбор героев для обозрения, описания – таков Мазеса (Моисей) да Винчи, художник и ремесленник, строивший отношения с людьми «на неопределенности и сладкой недоговоренности» – плохо скрывают его тревоги, предчувствия конца всей артистичной эпохи.

Путешествие в Армению

Явный автобиографизм этой путевой прозы («полуповести»), созданной поэтом в 1931–1932 гг., опубликованной в журнале «Звезда» (1933, № 5), отметили прежде всего недруги поэта из числа тех «канцелярских птичек», что писали в эти годы свои обвинительные доносы, «рапортчики». «О. Мандельштам интересуется не познание страны и ее людей, а прихотливая словесная вязь, позволяющая окунуться в самого себя, соизмерить свой внутренний литературный багаж со случайными ассоциациями... Писатель бронируется литературными предками», – писал Н. Оружейников («Литературная газета», 1933, № 28). Обвинение – «старый петербургский поэт-акмеист О. Мандельштам (ему в 1933 году было 42 года! – В. Ч.) прошел мимо цветущей и радостно строящей социализм Армении» – имело роковые последствия: печатанье «Путешествия» было приостановлено.

В предыстории «полуповести», а скорее путешествия к библейским, средиземноморским истокам культуры – именно такова и Армения, «страна Наири» для Мандельштама – не только перевод стихотворения, «Пляска на горах» армянского поэта-футуриста Кара-Дарвиша в начале 20-х годов и просьба Н. И. Бухарина от 12 июня 1929 г. к С. М. Тер-Габриэлян, председателю Совнаркома Армянской ССР, принять поэта, «готового учиться армянскому языку», написать работу об Армении. В данном случае нет возможности перечислять людей из номенклатурных рядов, наркомов, директоров институтов, санаториев, педучилищ, историков, краеведов, помогавших поэту осуществить поездку, увидеть Севан, Эчмиадзин, многие древнейшие исторические памятники. Отметим лишь фигуру биолога Б. С. Кузина (1903–1973), встреченного Мандельштамом в чайхане во дворе мечети в Ереване, ставшего близким другом поэта, собеседником по многим проблемам естествознания. Знакомство с Б. С. Кузиным во многом помогло Мандельштаму создать одно из лучших

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelstamjoseph.ru
его стихотворений «Ламарк» (1932) о своеобразном «нисхождении» сознания по
лестнице эволюции до последней ступени.

Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.
Он сказал: довольно полнозвучья, –
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.
Этот «он», спутник в нисхождении к «кольчезам» и «уконогим», в расставании с
Моцартом, – конечно, Б. С. Кузин.

Вероятно, важнее всего в «Путешествии» и в дневниковом цикле стихов «Армения», в
котором возникает образ армянского языка («оружий камней государство», «дикая
кошка армянская речь» и т. п.), – скрытая, может быть, бессознательная, но
вполне понятная армянским друзьям, поддержка их усилий по сбережению святынь
своей культуры. Нельзя забывать о том, что все 20–30-е годы под лозунгом
строительства интернациональной культуры в Армении, как и в России, часто
осуществлялась явная денационализация. Лучшие поэты и прозаики Армении (Аксель
Бакунц, Егише Чаренц и др.) обязаны были бичевать как «химеры национальной
ограниченности» даже образы «страны Наири» (древнее название Армении),
выправлять сам язык, очищая его от архаизмов. Анна Ахматова переведет
характерное для такой «перестройки» стихотворение Е. Чаренца «Наш язык»:

Мы затем коверкаем и душим
тот язык, что чище родников,
чтобы на сегодняшние души
не осела ржавчина веков.
Ширятся душевные границы.
И не выразят, чем дышит век,
ни Теряна звонкие цевницы,
ни пергаменный Нарек.

Для Мандельштама имена Ваана Теряна, армянского Блока, или Грегора Нарекаци,
классика армянского средневековья, древнейшие села вроде Аштарака, фольклорной
житницы, что «повисла на журчаньи воды, как на проволоке», «церковки в
шестигранной камилавке», наконец, армянский язык – «неизнашиваемый как каменные
сапоги», – самое существенное, вечное в этой стране. Ему и в голову не
приходило, что этот язык – весь в ржавчине веков, что его надо отчищать. Ведь в
нем:

... буквы – кузнечные клещи
И каждое слово – скоба...
Воспоминания. Очерки.

Киев. Очерк опубликован в «Киевской вечерней газете» в 1926 году,
предположительно в мае. В очерке выразилось – еще могло выразиться – игровое
начало души Мандельштама, озорство его мысли при взгляде на живописный нэповский
быт, царство вывесок, лавчонок, коммуналок. «Глубоким тройным дыханием дышит
украино-еврейский-русский город», – пишет он, отмечая и жизнелюбие маленьких
людей, и казусы украинизации, и величие управдомов, в будущем вечных героев
булгаковской прозы и драматургии.

Холодное лето. «Огонек». 1925, № 16. Этот очерк, как и очерк «Батум» (1922) –
свидетельство скитаний, кочевий Мандельштама в голодные годы возвращений в
Москву, стал, вероятно, одной из тем заметок М. А. Булгакова «Записки на
манжетах» о метаниях писателей по России в поисках покоя, заработка хлеба:

«Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один – из Керчи в Вологду, другой – из
Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится: – Вот не
доедем, да и только! – Натурально, не доедем, ежели не знаешь, куда едешь!..
Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил
лаконичностью: – Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас не покупают? – ...но денег не
пла... – начал было я и не успел кончить, как он уехал. Неизвестно куда».

Сухаревка. «Огонек», 1923, № 18. Очерк своеобразно продолжает тему «въезда»
поэта в Москву («На розвальнях, уложенных соломой»), освоения ее «буддийской»
живописности. Его «базар» – это и сущность исторической Москвы, воплощение
другой стороны «золотой дремотной Азии» (Есенин), опочившей и здесь, а не на
одних куполах, и угроза культуре: «Если дать базару волю, он перекинется в город

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru и город обрастет шерстью». Невольно сейчас задумаешься о сверхбытовом нашествии всякого рода нищенских «толчков», «вещевых рынков», орд «челноков», людей рынка, перекидывающихся сейчас во все сферы городов, как-то иначе понимаешь непростой смысл тревог поэта: «Недаром базары загоняют и отгораживают, как чумное место...» Разлив «базаров», заменяющих и музей, и библиотеку, и театр, и лекционный зал, – это ведь и разлив контркультуры, торжество живописного примитива, в известном смысле диктатура «челноков», мешочников, тоже жертв этой стихии.

Письма разных лет.

Федор Кузьмич Сологуб (1863–1927) – поэт, прозаик, драматург, один из старших символистов, автор романов «Тяжелые сны» (1883–1894), «Мелкий бес» (1907), трилогии «Новые годы» (1907–1914).

Надежда Яковлевна Мандельштам (1899–1980), урожденная Хазина, стала женой О. Э. Мандельштама в 1919 году. Она родилась в Саратове, но многие годы – до встречи с поэтом – прожила в Киеве. Ее отец был адвокатом. Она прекрасно знала киевскую художественную среду – поэтов, художников, ученых. Н. Я. Мандельштам сопровождала поэта во многих его странствиях по России, была с ним в Армении, а в 1934 году после его ареста и вынесения приговора отправилась с ним в Чердынь, а затем – в Воронеж. Из Воронежа она выезжала, оставляя мужа на попечение своей матери и новой знакомой Н. Е. Штемпель, в Москву, пытаясь пристроить те или иные рукописи, что-то заработать в редакциях, «зацепиться за жизнь». Свои «Воспоминания» она, жившая многие десятилетия «только для того, чтобы сохранить Мандельштама – его стихи, историю его жизни и смерти» (точное определение М. К. Поливанова) – характеризовала так: «Это – история моей борьбы со стихией, с тем, что пробовало слізнуть и меня и бедные клочки, которые я берегла». В своем последнем письме Осипу Эмильевичу 1938 года, естественно, не дошедшем до него, пролежавшем тридцать лет в чемодане, она писала о счастливой нищете, о том, что «мы как слепые щенята тыкались друг в друга, и нам было хорошо», что «трудно погибать одному – одной».

Свою связь с Мандельштамом она, человек, видимо, душевно очень сильный, волевой, категоричный в оценках, называла не любовью, а судьбой: «Я не мешала ему строить себя и быть самим собой. Он строил себя, а заодно и меня» («Воспоминания»). Но реально, судя по всему, и она строила его характер, видоизменяла многие ситуации своими, высказанными или невысказанными, оценками, общим взглядом на них. В ее оценках «изменнических» стихов Мандельштама – и, видимо, самих недолговечных, даже бурных романов поэта – с актрисой Арбениной (Гильдербрандт) О. Н. (1901–1980), О. А. Ваксель (1903–1932), Н. Е. Штемпель (1910–1988) – преобладает рационально-сдержанное, даже снисходительное начало, дух превосходства и уверенности. Ольга Ваксель для нее – «девочка, заблудившаяся в страшном, одичалом городе, беспомощная, беззащитная... Перед смертью Ольга надиктовала мужу, знавшему русский язык, дикое, эротическое мемуары», – напишет Н. Я. Мандельштам в «Воспоминаниях». В стихах к Н. Е. Штемпель она найдет «высокое и просветленное чувство будущей жизни». И лишь при воспоминании о М. Е. Петровых спокойствие изменит Надежде Яковлевне: она назовет ее «охотницей», пробующей свои силы, и ничего не скажет о действительно прекрасном стихотворении «Мастерица виноватых взоров» (1934). А ведь среди вариантов этого стихотворения в совершенно исключительном, благороднейшем контексте мелькало имя Марии Петровых:

Ты, Мария, – гибнущая подмога,
Надо смерть предупредить – уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи, уйди, еще побудь...

Эмилий Вениаминович Мандельштам (1856–1939) – см. примечания к публикации писем.

Юрий Николаевич Тынянов (1884–1943) – прозаик, литературовед, критик, один из основателей Общества по изучению поэтического языка (ОПОЯЗ), автор статьи «Промежуток» (1924), видимо, запомнившейся Мандельштаму сочетанием пророческой интуиции и фактической, научно-теоретической точности (в ней шла речь о поэзии А. Ахматовой, Б. Пастернака, О. Мандельштама, В. Маяковского).

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – поэт, переводчик, историк литературы, самый заметный литературный критик начала XX века.

Ставский (Кирпичников) Владимир Петрович (1900–1943) – прозаик, очеркист, с 1936 года секретарь Союза писателей СССР. Для деятельности его на этом посту характерно постоянное стремление выставить себя в роли «сигнальщика» той или

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru иной классовой, политической опасности. Он фактически спровоцировал репрессии в отношении писателей. Съездив к М. А. Шолохову в период завершения «Тихого Дона», В. П. Ставский тут же написал письмо И. В. Сталину о том, что «Тихий Дон» по-прежнему «течет не туда», что автор и не помышляет о том, чтобы перековать Григория Мелехова в большевика и, объяснив все это влиянием семьи, родни со стороны жены, предложил... переселить Шолохова из Вешенской в крупный промышленный центр. Этот же метод «сигнализации» он применил и 16 марта 1938 года, обратившись к Н. И. Ежову, наркому внутренних дел, с «просьбой» – «помочь решить этот вопрос об О. Мандельштаме». «Помощь» эта и выразилась в аресте поэта в пансионате «Саматиха» и приговоре – 5 лет лагеря.

Мандельштам Александр Эмильевич (1892–1942) – средний из братьев Мандельштамов (Шура). Кроме него в переписке поэта мелькает младший брат Евгений Эмильевич Мандельштам (1898–1979), дочь Е. Э. Мандельштама Татьяна (Татьяка).

Из стихотворений 1913–1937 гг. Публикуются по изд.: Мандельштам О. Соч. в 2-х т. М., 1990.

Записные книжки. Заметки.

«Записи 1931» года, «Записные книжки 1931–1932 годов» опубликованы впервые в 1969 году по копиям с авторских машинописей в т. 3-м Собрания сочинений поэта в 4-х т. При всей фрагментарности, тематической перекличке с очерками, автобиографической прозой эти записи, заметки имеют самостоятельное значение. «В январе мне стукнуло 40 лет. Я вступил в возраст ребра и беса», – подобные самохарактеристики явно призваны нарушить систему «сплошного», линейного повествования, отчета о поездках, переживаниях. В свете их и им подобных самонаблюдений – «я живу, не совершенствуя себя», «я принял океаническую весть о смерти Маяковского» и т. п. – становится яснее вся дорога жизни поэта, его трепетно-настороженное отношение к миру. Едва ли кто до Мандельштама воспринимал восхождение на Алатау столь сложно и «странно»: «Едешь и чувствуешь у себя в кармане пригласительный билет к Тамерлану...»

За пределами этих заметок, записей осталось, правда, многое, позднее раскрытое в «Воспоминаниях» Н. Я. Мандельштам. Оказывается, поэт побывал и в мастерской великого живописца Мартироса Сарьяна, в Тифлисе к нему пришел Егише Черенц, замечательный армянский поэт и, выслушав рассказы и стихи Мандельштама, сказал: «Из вас, кажется, точно лезет книга».

Встречающиеся в записях, записных книжках имена – поэта А. Безыменского, государственных деятелей вроде Лакобы Нестора Ивановича (1893–1936), председателя Совнаркома Абхазии, Ч. Дарвина, путешественника Палласа, естествоиспытателей Линнея, Ламарка и др. – важны, скорее, как повод для самонаблюдения, для «дегустации» той или иной мысли.

«Изменническая» лирика, или стихотворения о любви

Мадригал. Соломинка I–II. Эти стихотворения 1916 года обращены к петербургской красавице кн. Саломее Андрониковой. Осип Мандельштам бывал в имении Саломеи Андрониковой в Крыму, где участвовал в представлении коллективно сочиненной комедии «Кофейня разбитых сердец, или Саванаролла в Тавриде». Там же, на этом спектакле он познакомился с другой знаменитой петербургской Венерой, Верой Аркадьевной Судейкиной. Ей посвящено стихотворение «Золотистого меда струя из бутылки текла...» (Алушта, 1917 г.) – начало так и не продолженного очередного цикла. Эта роковая женщина – в те годы жена художника, актриса неопределенного жанра – в последующем станет одной из героинь «Поэмы без героя» А. А. Ахматовой. Перемены в ее личной жизни тоже по-своему блистательны: в эмиграции она – жена композитора Игоря Стравинского, а после его смерти – жена известного мецената маркиза де Боссе.

«Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...» (1920), «Я наравне с другими...» (1920), «Чуть мерцает призрачная сцена...» (1920), «Возьми на радость из моих ладоней...» (1920); «За то, что я руки твои не сумел удержать...» (1920); «В Петербурге мы сойдемся снова...» (1920) – все эти стихотворения, образующие подобие цикла, обращены к Ольге Николаевне Арбениной, актрисе Александрийского театра. А. А. Блок был прав – в отношении этих стихов, – когда говорил: «Его (Мандельштама – В.Ч.) стихи возникают из снов – очень своеобразных, лежащих в областях искусства и только». Правда, свидетели этого умозрительного романа запомнили, что Мандельштам и Арбенина «были вдвоем в балете», что он читал ей – как раз во время выступления Маяковского в Доме Искусств – свои стихи наедине. И

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru не читал, а «пел стихи... и голос его взлетал голубем и бился о хрустальные подвески плафонов и рвался в окно, к Неве». Запомнившая эти подробности Ида Наппельбаум, дочь известного петербургского фотографа М. Наппельбаума, для которой Арбенина была просто Олечкой, добавила уже от себя такое наблюдение за судьбой несчастливца Мандельштама: «У поэта не было открытого забрала, он состоял из двух профилей – солнечного и теневого. И оборачивался то одной, то другой стороной... Он бился в клетке жизни». (Цит. по кн.: О. Мандельштам. Век мой, зверь мой. – М., 2002. – С. 140, 141). Догадки другой мемуаристки Э. Герштейн о своеобразном соперничестве – «в голодную зиму 1920 года они оба (Мандельштам и Гумилев – В.Ч.) домогались в Петрограде любви Ольги Николаевны Арбениной» – следует, видимо, оставить в стороне как бездоказательные и несколько измельчающие весь возвышенный, мифологический строй мандельштамовских посланий, сам образ Петербурга, зоркий метафоризм, богатство смысловых ассоциаций этой любовной лирики.

«Захлестнула шелком Мельпомена», Мельпомена – муза трагедии, одна из девяти прекрасных спутниц Аполлона; «Ничего, голубка Эвридика» Эвридика – жена великого певца Орфея, ужаленная змеем в ногу и унесенная в Аид. Орфею разрешено было – после его песен, от которых плакала вся природа, – владыкой Аида и его женой Персефоной вывести Эвридику с одним условием: «Но во время пути по подземному царству ты не должен оглядываться. Помни! Оглянешься, и тотчас покинет тебя Эвридика и вернется навсегда в мое царство». Не слыша шагов бесплотной тени за своей спиной, боясь, что Эвридика отстала, Орфей все же оглянулся...

«И бессмертных роз огромный ворох / У Киприды на руках...». Киприда (или Афродита) – вечно юная, прекраснейшая из богинь в венке из благоухающих цветов родилась из белоснежной пены морских волн, которые и принесли ее на остров Кипр. По преданию, там, где только ступает Афродита, пышно разрастаются цветы. Эта подробность, как и упоминание о пропуске («Мне не надо пропуска ночного»), опровергают утверждения Н. Я. Мандельштам, согласно которому стихи «В Петербурге мы сойдемся снова» посвящены ей, а не О. Н. Арбениной. Впрочем, и «блаженное бессмысленное слово» – это тоже из сферы жизни О. Н. Арбениной – актрисы, созданной «для комедийной перебранки». Она искренне не понимала, прочитав весь цикл стихов о себе: «Непонятно, почему получилась такая трагедия в стихах – теперь я с грустью понимаю его жизнь, и весело – наше короткое знакомство» (из письма 1974 года О. Н. Арбениной художнику А. Малишевскому).

«Жизнь упала, как зарница...», «Есть за куколем дворцовым...», «Из табора улицы темной...» (все – 1925 г.), «На мертвых ресницах Исакий замерз» (1935), «Возможна ли женщине мертвой хвала...» (1935, 1936 гг.) – микроцикл посланий, диалог с Ольгой Александровной Ваксель (1903–1932 г.), «юной сумасбродкой», «Лютиком», у которой О. Мандельштам по всем правилам дореволюционного хорошего тона просил «руки и сердца» в 1924 году, решаясь даже оставить Н. Я. Мандельштам. Воспоминания сына О. А. Ваксель А. Смольевского свидетельствуют, что эта «сумасбродка», по преданию и оценкам Н. Я. Мандельштам, не только несла на себе печать чего-то трагического. «Ухаживания одного поэта из группы акмеистов, женившегося „на прозаической художнице“ и почти переставшего писать стихи» (то есть Мандельштама), она принимала, как выяснилось из ее воспоминаний, вовсе не беззаботно, не поверхностно, совсем не без трепета. После разрыва с О. Мандельштамом, ухаживаний его брата Евгения Мандельштама в 1927 году О. А. Ваксель вышла (в 1932 году) замуж на норвежского дипломата Х. Иргена-Вистендаля, но, уехав с ним в Осло, всего через три недели после приезда в его теплый и гостеприимный дом, в остром приступе ностальгии застрелилась. Накануне рокового выстрела – не без воздействия ухода из жизни В. Маяковского! – она написала стихотворение, обращенное и к Мандельштаму и к России:

Я расплатилась щедро, до конца
За радость наших встреч, за нежность ваших взоров,
За прелесть ваших уст и за проклятый город,
За розы постаревшего лица.
Теперь вы выпьете всю горечь слез моих,
В ночах бессонных медленно пролитых,
Вы прочтаете мой длинный-длинный свиток,
Вы передумаете каждый, каждый стих.
Но слишком тесен рай, в котором я живу,
Но слишком сладок яд, которым я питаюсь.
Так с каждым днем себя перерастаю.
Я вижу чудеса во сне и наяву,

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru

Но недоступно то, что я люблю, сейчас,

И лишь один соблазн: уснуть и не проснуться...

«Мастерица виноватых взоров» (1934), или «Турчанка» по обозначению А. А. Ахматовой, считавшей его лучшим любовным стихотворением XX века, – адресовано поэтессе и переводчице Марии Сергеевне Петровых (1908–1979). Для нее, выросшей на ярославской земле и в атмосфере «безоглядного любвеобилья детства» глубоко усвоившей школу классического русского стиха, было характерно стремление к значительности духовного мира творца, к исповедальности, к способности «домолчаться до стихов». Ее стихи и переводы – особенно с армянского языка – высоко ценили Б. Пастернак, А. Тарковский, А. Ахматова, Г. Шенгели. Реальный облик этой замечательной женщины, к сожалению, был искажен в мемуаристике Н. Я. Мандельштам, назвавшей ее «охотницей» (на чужих мужей) после безответной любви к ней Мандельштама, и Э. Герштейн, одного из лучших друзей поэта, создавшей тривиальный, увы, образ М. С. Петровых, салонной соблазнительницы, игравшей в опасные игры сразу с двумя – молодым Л. Н. Гумилевым «Гумилевушкой», и О. Мандельштамом. Удивляет, что никакие возражения со стороны семьи М. С. Петровых, со стороны С. И. Липкина, не остановили составителей в целом очень полезной, содержательной биографической книги о Мандельштаме «Век мой, зверь мой» от очередной концентрации объективно унижающих подробностей: то она, М. С. Петровых, замужняя женщина, отбивается от страстных объятий «Левушки», и современники, по словам Э. Герштейн, видят его исцарапанным Марусей, «дикой кошкой», то сама Мария Сергеевна выходила из комнаты поэта, «к неудовольствию жены», с большими пятнами на лице и «в возбужденном состоянии» («Век мой, зверь мой». С. 479). Поэтическая правота поэта в отношении «турчанки дорогой», его моления «Ты, Мария – гибнущим подмога», прекраснейшая метафора «летуче-красный, этот жалкий полумесяц губ», – все это, конечно, исправляет тривиальную ситуацию. Едва ли бы о пошлой соблазнительнице, «охотнице» Мандельштам сказал в другом стихотворении, относимом целиком только к Н. Я. Мандельштам:

Ну а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

«Я к губам подношу эту зелень...»; «Клейкой клятвой липнут почки...»; «К пустой земле невольно припадая...»; «Есть женщины, сырой земле родные...» – эти стихотворения (все 1937 года), как и целый ряд шуточных стихов, посвящены Наталье Штемпель, с которой опальный поэт дружил в Воронеже. По ее словам он, серьезный и сосредоточенный, прочитав их ей, сам задал вопрос:

«– Что это?»

Я не поняла вопроса и продолжала молчать. „Это любовная лирика, – ответил он за меня. – Это лучшее, что я написал“. И протянул мне листок».

Приложение. Воспоминания. Эссе

Марина Цветаева. Защита бывшего. «Защита бывшего» часть более развернутого очерка «История одного посвящения», впервые опубликованного в журнале «Oxford Slavonic Papers» 1914 XI. На экране памяти трагической русской поэтессы XX века возникает «цветаевский» образ поэта – на фоне волошинского Коктебеля. В очерке звучат мотивы полемики и сочиненной фантастической летописи жителя-бытия в том «приюте муз», который основал М. А. Волошин: вдаваться в него нет нужды... Современный читатель переносится благодаря острой ностальгической тоске М. И. Цветаевой 1931 года в атмосферу блаженной страны неведения, игры, лицедейства, в артистический Серебряный век, еще не оборвавшийся «над морем черным и глухим».

Анастасия Цветаева, Из воспоминаний о Марине Цветаевой и Осипе Мандельштаме. В кн. Цветаева Анастасия. Воспоминания. М., 1974.

Безусловно, младшая сестра М. И. Цветаевой не могла понять сложного по своей природе процесса вхождения Мандельштама в Москву. Он видел многое через свою призму:

Успенье нежное – Флоренция в Москве.
(1916)

В стенах Акрополя печаль меня снесла
По русском имени и русской красоте.
(1916)

Едва ли она догадывалась, что сквозь церковную архитектуру, да еще «нежную», рядом со словом «Флоренция» (то есть «цветущая»), для него оживала и фамилия

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
«Цветаева». Еще менее внятна юной москвичке и такой пережест чувств
Мандельштама: «Мандельштам каким-то образом – через иконный колорит или иначе –
уловил черно-желтый контраст Иерусалима» (Л. М. Видгоф. Москва Мандельштама. М.,
1998. С. 24).

Вместе с тем наивное сознание девочки 1910-х годов прекрасно запечатлело и
«интерьер эпохи», и многие душевные состояния О. Э. Мандельштама.

Маковский С. К. Осип Мандельштам «Портреты современников»
Из книги С. К. Маковского «На Парнасе „Серебряного века“» (Мюнхен, 1962).

Сергей Константинович Маковский (1877–1962) – поэт, критик, искусствовед,
издатель – был сыном известного портретиста, исторического живописца К. Е.
Маковского, коренным петербуржцем, выросшим в среде художников, артистов, поэтов
начала XX века. Много лет спустя после петербургской юности – с ее салонами
«Мира искусства», театральными премьерными, поэтическими сборниками, книгами о
живописи и художниках – С. К. Маковский напишет: «И сквозь листву
туманно-кружевную, / Как бы затянутую паутиной, / Я чувствую действительность
иную, / Касаясь тайны всеединой» («Утишь»).

Главное создание С. К. Маковского в предреволюционную эпоху – журнал «Аполлон»
(1909–1917), где он и принимал юного Мандельштама, – это тоже создание
«туманно-кружевное», полное духа созерцательности, культа красоты и
«самоценного» творчества. С этих позиций С. К. Маковский и воспроизводит дебют и
первые шаги в поэзии автора «Камня» О. Э. Мандельштама. Весь акмеизм молодого
поэта с его четкостью интонаций и резкостью линий, весомостью и конкретностью
слова – это как бы реализация его же, С. К. Маковского, тоски по
«аполлоническому» началу, классической ясности. В целом воспоминания об О. Э.
Мандельштаме, как и вся книга «На Парнасе „Серебряного века“», отмечены
сгустившейся эмигрантской ностальгией по ушедшей, быстротечной эпохе, нотами
прощания с нежным, артистичным веком: «...Но вас забыть, / Взнесенных на высоты
Парнасские, – нельзя! / В дни забот, борений, нужд искали вы / Вперед путей
нехоженных...». С. К. Маковский предугадал судьбу своего юного парнасского друга,
вполне гармоничного «аполлонического» поэта, способного выразить с классической
ясностью жуткую неустойчивость времени, ужас распада былой среды и культуры,
вечного путника на нехоженных путях.

Мимолетные догадки, скорее обмолвки С. К. Маковского о якобы имевших место
попытках Мандельштама после 1917 года «приспособиться» к большевикам, «смягчить»
свой образ «писателя-плебея» по происхождению и вольнодумца без политических
предубеждений, весьма спорны, туманны и бездоказательны. Эти «факты» собраны из
вторых рук. С. К. Маковский, правда, все время помнит, какой беспомощной «птицей
Божией» был Мандельштам, как простительно его соглашательство с
веком-волкодавом.

Эренбург И. Г. Мандельштам
Из книги «Русские поэты» (Берлин, 1922).

Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967) – прозаик, поэт, публицист – выпустил
первую книгу стихов в 1910 году. В 1918–1923 гг., в период завершения серии эссе
о русских поэтах, в которую вошел и портрет О. Э. Мандельштама, он опубликовал
10 поэтических книг, среди которых выделялась «Молитва о России» (1918),
признанная тогда контрреволюционной. На восприятие И. Эренбургом поэзии и всей
трагической судьбы Мандельштама безусловно повлияло собственное положение автора
эссе: бегство из Москвы в Киев после полосу арестов, отъезд в 1921 году из
России в Берлин и Париж (в этом ему помог гимназический товарищ Н. И. Бухарин,
личный друг и Эренбурга и отчасти Мандельштама) и опыт осмысления судеб
человеческих в романе о приключениях гомельского портного Лазика, «еврейского
Швейка» («Бурная жизнь Лазика Ройтшванца»). Осип Мандельштам для Эренбурга –
кочевник, одержимый вдохновением, вместилище памяти культуры, вечно
подвергающийся опасностям, следящий лишь за «вспышками сознания», ищущий
счастливых состояний, когда «душа висит над бездною крылатой, / И музыка от
бездны не спасет...».

В последующем И. Г. Эренбург создаст более многоплановый образ скитальца О. Э.
Мандельштама 20-х годов в книге «Люди, годы, жизнь» (В 3-м т. М., 1990). Глеб
Струве, исследователь творчества Мандельштама, отметит заслугу И. Г. Эренбурга
как создателя этого образа поэта «Серебряного века». «Он, Мандельштам, с таким

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru задором воевавший накануне революции и против символистов, и против футуристов, предстанет, может быть, как наиболее полно синтезировавший... символизм, акмеизм и футуризм» (Г. Струве. О четырех поэтах. Блок. Сологуб. Гумилев. Мандельштам. Лондон, 1981. С. 186).

Мандельштам Н. Я. Большая форма. Трагедия. Единство потока. «Оркестры и фимелы». Блудный сын. Начало и конец
Публикуются по тексту «Воспоминаний» Н. Я. Мандельштам. Кн. 2. М., 1990.

Вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна Мандельштам прожила долгую жизнь (1899–1980). Осип Мандельштам женился на ней, сестре поэта Евгения Хазина (ее девическая фамилия) в 1919 году. Из всех подробностей их духовной и бытовой жизни, скитаний в 20–30-е годы можно сделать обобщающий вывод, что их брак можно назвать счастливым, что Мандельштам вообще не мог представить своей поэтической судьбы без «нежняночки», как он называл Н. Я. Мандельштам. Она сопровождала его дважды – в Чердынь, Воронеж – в ссылку, она снимала муки его полнейшей бытовой неустроенности, находила покровителей, поддерживала связи с родственниками, предостерегала от опасных решений и лжедрузей. О степени благодарности поэта к Н. Я. Мандельштам говорят и многие стихотворения («Твоим нежным плечам под бичами краснеть»), и готовность поэта ради здоровья жены переносить разлуку, и вступаться за честь ее – в частности после бытовой ссоры в одной из писательских коммуналок с А. Н. Толстым, с С. П. Бородиным (Саркисом Амирджаном). Вспыльчивый, производивший впечатление человека с неуравновешенной психикой, однажды покушавшийся на самоубийство (в Чердыни) поэт, к тому же окруженный атмосферой слезки, недоверия, отчужденности, требовал от «нежняночки» исключительного внимания. К тому же надо было, как пел А. Вертинский, «прощать мои ненужные влюбленности» – в О. Ваксель, М. Петровых... Да еще – при полном отсутствии постоянных заработков, бездомности, наличии «злого жилья», где сквозь халтурные стены пробивалась «домашнего страха струя».

После смерти поэта Н. Я. Мандельштам с завидным упорством, самопожертвованием, риском спасла поэтическое наследие поэта и восстановила то, что заменяло дневник, записные книжки – повседневные беседы, варианты стихотворений, записанные с голоса, сохранившееся в памяти современников (в частности близкой ей А. А. Ахматовой). Известный исследователь поэзии «Серебряного века» М. К. Поливанов был прав, отмечая, «что нередко Надежда Яковлевна и Анна Андреевна Ахматова, „вместе вспоминали и уточняли все, что обе знали о Мандельштаме...“, поэтому книги „Воспоминаний“ Н. Я. Мандельштам стали бесценным комментарием ко всему написанному Осипом Мандельштамом и материалом к его биографии» (К. М. Поливанов. Предисловие к кн. 2 «Воспоминаний» Н. Я. Мандельштам. М., 1990. С. 6.).

Примечания

1

Лекманов О. А. Опыты о Мандельштаме. / Ученые записки. Вып. 2. М., 1997. С. 6.

2

Эта метафора – поэт, голосистый вестник рассвета – не умерла в русской поэзии и к концу XX века. Анатолий Передреев, тоже задиристый петушок, напишет – о себе, обо всех «тихих лириках» 60-х годов так:

И вот над краем
Дорогим и милым
Кричит петух...
Ах, петя-петушок!
Как вскинуть
Он старается
Над миром
Свой золотой,
Свой бедный гребешок!
Кого зовет он так
По белу свету...

3

Еще в 1930 году поэт угадает всю жуткую логику поведения новоявленных бескрылых «птиц», их колющие и режущие насмерть повадки, способы выклеиванья других:

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru
На полицейской бумаге верже
Ночь наглоталась колючих ершей –
Звезды живут, канцелярские птички.
Пишут и пишут свои РАПпортички...
И на мерцанье, писанье и тленье
Возобновляют всегда разрешенье.

4

Аверинцев С. С. Судьба и весть Осипа Мандельштама / Осип Мандельштам. Соч. в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 29.

5

Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Кн. 2. С. 41.

6

Как справедливо заметил Л. М. Видгоф, в строке

...а Рим далече
И никогда он Рима не любил
только глухой может не расслышать в этом «Рима не» – «Марине!» «Мандельштам называет свой сборник „Камень“, используя и преобразуя и звук, и смысл слова „акмэ“ (острая оконечность камня)... свое собственное имя он соотносит не только с библейским Иосифом, но также с осью и осами», – пишет Л. М. Видгоф («Москва Мандельштама». – М., 1998. С. 20).

7

Пяст Вл. Встречи. – М., 1997. С. 169, 171.

8

«Опечатано» (фр.).

9

Лавка колониальных товаров (фин.).

10

Елочка, елочка! (нем.).

11

Зал для игры в мяч. Здесь: актовый зал (фр.)

12

На случай (лат.).

13

Здесь уместно будет вспомнить о другом домочадце литературы и чтеце стихов, чья личность с необычайной силой сказывалась в особенностях произношения. – о В. Недоброво.

14

Скажи мне, отец (нем.).

15

М. Э. Козаков. (Примеч. О. Э. Мандельштама.)

16

К оружию! (фр.).

17

Петр Симон Паллас (1741–1811) – немецкий путешественник по России.

18

Отец поэта Эмилий Вениаминович Мандельштам (1856–1939) родился в местечке Жагоры Двинской губернии, в патриархальной еврейской семье. В детстве он тайком от ортодоксально-религиозного отца изучает языки, читает книги. Из-за отсутствия средств не закончив высшего иудейского духовного училища в Берлине, занялся ремеслом. В 1891 году он получает диплом мастера перчаточного дела и сортировщика кож. Стремясь дать сыновьям хорошее образование, он через несколько лет переезжает в Петербург (звание купца первой гильдии дало ему, еврею, право на жительство в этом городе). Под старость, уже не будучи в состоянии работать, Эмилий Вениаминович поселился в семье своего младшего сына Евгения, где и жил до конца дней.

Отношения старшего сына Осипа с отцом были неровные. В своих неопубликованных воспоминаниях Евгений Мандельштам пишет: «...очень важно для характеристики Осипа сказать, что с юности в нем совершился постепенно полный пересмотр его отношений к отцу. Взамен отчужденности и полного отсутствия интереса к духовному миру отца пришло глубокое, возраставшее с годами желание большей близости. Отец в последние годы жизни писал нечто вроде философского трактата. Писал крайне неразборчиво, по-немецки. Осип проявлял большой интерес к этой работе и взял ее себе для расшифровки и обсуждения с отцом. К сожалению, после ареста брата эта рукопись исчезла».

Евгений Эмильевич Мандельштам (1896–1979) – младший брат поэта, врач по образованию. В 20-е годы работал в Ленинградском отделении Московского общества драматических писателей и композиторов (МОДПИК), позже реорганизованном во Всероссийское общество (ВСЕРОСКОМДРАМ). Трижды его сажали в тюрьму и трижды выпускали ввиду необоснованности обвинений. В 30-е годы, почувствовав осложнившуюся атмосферу, порывает с литературной средой и уходит на работу врача-гигиениста. Всю войну он провел на фронте врачом-эпидемиологом. Демобилизовавшись, начинает работать в области научно-популярной кинематографии, сначала редактором студии, затем сценаристом.

19

Надя – Надежда Яковлевна Мандельштам, урожденная Хазина (1899–1980), жена поэта: художница, филолог и мемуаристка.

20

Лившиц Б. К. (1876–1939) – поэт и переводчик, в 20-х годах был дружен с Мандельштамом, был шафером на его свадьбе в киеве. (См. прим. 7).

21

Гедройц В. И. (1870–1931) – поэтесса, участник Первого Цеха поэтов, печаталась под псевдонимом Сергей Гедройц.

22

Вырубова (урожденная Танеева) А. А. (1884–1918) – фрейлина императрицы Александры Федоровны, доверенный друг царской семьи.

23

Отец Н. Я. Мандельштам – Яков Аркадьевич Хазин (умер в феврале 1930 года), киевский адвокат; ее мать – Вера Яковлевна (умерла в 1939 году), домохозяйка.

24

Речь идет о конфликте О. Э. Мандельштама и Б. К. Лившица с издательством «Земля и фабрики», которым в 1928–1929 годах заведовал И. Ионов. Конфликт возник после незаконного расторжения Ионовым договоров с Лившицем и Мандельштамом на переводы

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshstamjoseph.ru
из Майн Рида. (См. письмо О. Э. Мандельштама М. А. Зенкевичу – Государственный
литературный музей, ф. 247. оп. 6146/1).

25

7 апреля 1929 года в «Известиях» появилась статья Мандельштама «Потоки халтуры», посвященная серьезным недостаткам в организации и практике художественного перевода и открывшая широкую дискуссию о переводческом деле в стране (см., например, «Литературную газету», 29 апреля 1929 года. стр. 3). Усилиями Д. И. Заславского, извратившего возникший в результате издательской оплошности и полностью исчерпанный к этому времени конфликт 1928 года между Мандельштамом и переводчиками «Тилиа Уленшпигеля» А. Г. Горнфельдом и Д. Н. Карякиным, эта дискуссия переросла в травлю самого Мандельштама. См. также статьи Мандельштама «Жак родился и умер» («Красная газета», вечерний выпуск, 3 июля 1926 года; с сокращениями перепечатано в «Журналисте», 1927, № 6, стр. 30–31) и «О переводах» («На литературном посту», 1929, № 12, стр. 42–45).

26

Очевидно, имеется в виду газета «Киевский пролетарий», где Мандельштам напечатал 25 января 1929 года статью «Веер герцогини». На русском языке выходила также газета «Вечерний Киев».

27

Вечер О. Мандельштама в Киеве состоялся 22 января 1929 года в Доме врача; были прочитаны стихотворения («Век», «1 января 1924 года») и отрывки из повести «Египетская марка». (См. отчеты о вечере в газетах «Пролетарская правда», 25 января 1929 года, и «Вечерний Киев», 29 января 1929 года.)

28

Всеукраинское фотокиноуправление (ВУФКУ) существовало в Киеве с 1926 года. В издаваемом ВУФКУ журнале «Кіно» на украинском языке была напечатана (1929, № 6) рецензия Мандельштама на фильм «Кукла с миллионами». (См «Памир», 1986, № 10, стр. 166–170, публикация С. В. Василенко, Б. С. Мягкова и Ю. Л. Фрейдина.)

29

Святошино – дачное место под Киевом (ныне в черте города).

30

Неточность: с 1927 года в Харькове на русском языке выходил журнал «Красное слово».

31

РКИ – Рабоче-крестьянская инспекция.

32

Шура – средний брат поэта Александр Эмильевич Мандельштам (1892–1942), библиограф и издательский работник.

33

РУНИ – Районное управление народного имущества. Квартира, о которой пишет Мандельштам, получена им не была.

34

Хазин Е. Я. (1893–1974) – брат Н. Я. Мандельштам, писатель и очеркист.

35

Леля – Элеонора Самойловна Гурвич (р. 1903), жена А. Э Мандельштама, художница.

36

Лена – Елена Михайловна Фрадкина (1902–1981), жена Е. Я. Хазина, художница.

37

В марте – апреле 1931 года были написаны или закончены стихотворения: «После полуночи сердце ворует...», «Я скажу тебе с последней прямокой...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Колют ресницы, в груди прикипела слеза...», «Жил Александр Герцович...», «Ночь на дворе Барская лжа...», «Нет, не спрятаться мне от великой муры...», «Я с дымящей лучиной вхожу...», «Я пью за военные астры...», «Рояль», «Нет, не мигрень, но подай карандаш ментоловый...». В декабре 1930 – январе 1931 года в Ленинграде были написаны стихотворения «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «С миром державным я был лишь ребячески связан...» и «Мы с тобой на кухне посидим...». «Арменией» Мандельштам называет 12 стихотворении цикла «Армения» и 8 примыкающих к ним стихотворений, написанных в октябре – ноябре 1930 года в Тифлисе.

38

Имеется в виду «Путешествие в Армению» (закончено в 1932 году, опубликовано в «Звезде», 1933, № 5).

39

По-видимому, речь идет о выплатах по двухтомному собранию сочинений О. Мандельштама в ГИХЛе (договор № 19/Х – см. темпланы на 1932–1933 годы. – ЦГАЛИ, ф. 613. оп. 1. ед. хр. 11. л. 23).

40

Танюша – Татьяна Григорьевна Григорьева (1901–1981), вторая жена Е. Э. Мандельштама, энтомолог.

41

Татка (Наташа) – дочь Е. Э. Мандельштама от первого брака с Надеждой Дмитриевной Дармолатовой (1920–1943); умерла в блокадном Ленинграде.

42

Юрик – Юрий Евгеньевич Мандельштам (р. 1930). сын Е. Э. Мандельштама от второго брака.

43

Старчиков А. О (1892–1938) – критик и журналист, с января 1932 года руководитель Ленинградского отделения ГИХЛа. (Сообщено А. А. Морозовым.).

44

Узкое – санаторий, подведомственный Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ). Мандельштам отдыхал здесь и раньше, в октябре – ноябре 1928 года.

45

Этот интерес, запечатленный как в стихах, так и в прозе Мандельштама, особенно усилился благодаря знакомству и дружбе с молодым биологом Б. С. Кузиным и его кругом.

46

Переделкино – Дом отдыха ОГИЗа, позднее Дом творчества Союза писателей СССР.

47

Получение ордера и вселение в квартиру в доме в Нащокинском переулке (д. 5 кв.

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamjoseph.ru

34) состоялось в июле – августе, а окончательный переезд в ноябре – декабре 1933 года.

48

Намек на хлопоты Н. И. Бухарина.

49

Имеется в виду вечер Мандельштама в редакции «Литературной газеты» в Дон Герцена 10 ноября 1932 года. По сообщению Н. И. Харджиева, на вечере присутствовало около 30 человек, в том числе Б. Пастернак, В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, Д. Мирский, М. Зенкевич, П. Маркиш, В. Тренин. Я. Смеляков, С. Кирсанов, А. Крученых, А. Жаров, М. Левидов, Л. Горнунг.

50

«Литературная газета» напечатала 23 ноября 1932 года три стихотворения Мандельштама: «Ленинград», «Полночь в Москве» и «К немецкой речи».

51

В авторской карточке О. Э. Мандельштама в ГИХЛе значатся договоры: № 243 от 8 сентября 1932 года на книгу «Стихи» и № 313 от 31 января 1933 года на книгу «Избранное» (ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 1, ед. хр. 5287, л. 37 об.).

52

Два вечера Мандельштама в Ленинграде состоялись 22 февраля и 2 марта 1933 года (в Доме печати и в Капелле). Вечер Мандельштама в Политехническом музее состоялся 14 марта. Со вступительным словом на нем выступил Б. М. Эйхенбаум (см. «День поэзии 1967». М. 1967, стр. 167–168). 3 апреля вечер Мандельштама состоялся также в московском Клубе художников. (Сообщено Л. В. Горнунгом.)

53

Деда – семейное прозвище Э. В. Мандельштама.

54

Началом декабря помечено начало работы Мандельштама в Воронеже сразу над несколькими стихотворениями, вошедшими в так называемую «Вторую Воронежскую тетрадь»: «Гудок», «Рождение улыбки», «Мой щегол, я голову закину...», «Когда щегол в воздушной сдобе...», «Ныне день какой-то желторотый...», «Я в сердце века, путь неясен...». «Не у меня, не у тебя, – у них...». К моменту написания письма были завершены лишь «Гудок» и «Когда щегол в воздушной сдобе...».

55

О желании читать испанских поэтов Мандельштам писал также С. Б. Рудакову (ИРЛИ, ф. 803, оп. 1, ед. хр. 15).

56

Ср. описание отцовского кабинета в главе «Книжный шкаф» в «Шуме времени».

57

М. Н. – Мария Николаевна Дармолатова.

58

СВИТЛ (УСВИТЛ) – Управление Северо-восточных исправительно-трудовых лагерей. Мандельштам находился в пересыльном лагере «Вторая речка» под Владивостоком.

59

К. р. д. – контрреволюционная деятельность.

60

ОСО – Особое совещание.

61

В другой редакции после этого следует цитата:

Зорю бьют. Из рук моих ветхий Данте...

62

В другой редакции после этого следует:

«Египетская культура» означает, в сущности, египетское приличие, средневековая – средневековое приличие. Несогласные по существу с культом Амон-Ра или тезисом Триентского собора втягиваются поневоле в круг, так сказать, «неприличного приличия». Оно-то и есть содержание культурпоклонства... [и т. д.].

63

Здесь: последнему птенчику (нем.)

64

Четверть груши, чтобы утолить жажду (фр.).

65

Принесли бы вам несчастье (фр.).

66

Вы что же, так никогда и не спите? (фр.)

67

«Нет, ты только посмотри, как бежит эта дама!» – «Пусть себе бежит, когда-нибудь да остановится!» (фр.)

68

Впоследствии неудачно замененное: «Целую кисть, где от браслета». (Примеч. М. И. Цветаевой.)

69

Имя автора воспоминаний. (Примеч. М. И. Цветаевой.)

70

Насколько я помню это были небольшие (по количеству строк) стихи, лирические, любовные – и конечно прекрасные. Но одно из них резко отличалось от остальных. В нем шла речь о смертной казни, которую Осип Эмильевич не принимал и не оправдывал ни при каких обстоятельствах. Кажется, хотя я в этом не уверена, у Мандельштама на эту тему был спор в Союзе писателей как будто с Лупполом. Осип Эмильевич всегда забывал о своем положении. Осторожность не была ему свойственна.

71

До этого Мария Вениаминовна специально добивалась гастролей в Воронеже, чтобы увидеться с Мандельштамом. Она не побоялась прийти к нему в гости и играли для него в свободное от концертов время.

72

Шум времени. Осип Эмильевич Мандельштам mandelshamtjoseph.ru
У меня был замечательный учитель, ему я безгранично обязана своим литературным вкусом и симпатиями, – Павел Леонидович Загоровский, профессор Воронежского университета.

73

К. Р. – великий князь Константин Константинович, русский поэт, взявший эти инициалы в качестве псевдонима.

74

Стихи Мандельштама я знала давно, пожалуй, с первого курса университета. Он был в числе любимых поэтов, наряду с Пастернаком, Ахматовой, Гумилевым и Цветаевой, которую я представляла тогда по «Верстам». Помню, мы, молодежь, небольшая группа по сравнению с остальной студенческой массой, жестоко спорили, кому отдать пальму первенства: Мандельштаму или Пастернаку. Я и мои сторонники считали стихи Мандельштама глубже по мысли, не говоря уж о совершенно невиданной стройности, чеканности формы, классической скульптурности стиха. «Молодой Державин», по определению Марины Цветаевой! В то время я знала «Камень», «Tristia», прекрасную подборку в антологии «Русская поэзия XX века» под редакцией Ежова и Шамурина, позднее – сборник «Стихотворения» 1928 года. И вдруг этот замечательный поэт в Воронеже, просто невероятно.

75

По современной нумерации: ул. Ф. Энгельса, д. 13, подъезд 5, кв. 39.

76

События захватывали и близких мне людей, не общественных деятелей, не политиков, а самых обыкновенных.

77

Высылаемому разрешалось выбрать местожительство по своему усмотрению за исключением шести, девяти или двенадцати городов, таких, как Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Минск, Одесса, Севастополь и другие.

78

Главная улица в Воронеже.

79

Поэзия, тебе полезны грозы!

80

Письмо опубликовано в журнале «Литературное обозрение» (1986. № 9).

81

Из семейного архива Б. Л. Пастернака «Где я, что со мной дурного...» – строка из стихотворения Мандельштама «Эта область в темноводье...». Саводник Владимир Федорович (1874–1940) – историк литературы, автор учебников для средней школы.

82

К этому времени педфак университета выделился в самостоятельный институт.

83

Это была рецензия на фильм режиссера Шпиковского «Шкурник» (ныне опубликована в журнале «Памир», 1966, № 10). Шпигун – фамилия главного лица фильма.

84

С Х И – Сельскохозяйственный институт.

85

«Глагол», 1933, № 1.

86

Эти материалы собраны Василием Гыдовым.

87

Ныне ресторан «Москва».

88

Когда я приехала в Москву в марте 1975 года и прочла Надежде Яковлевне эту рукопись, она сказала: «Наташа, вы о своих стихах не все сказали, неполно, это не прощальные стихи. Ося возлагал на вас большие надежды». И она повторила строчки:

...Сопровождать воскресших и впервые

Приветствовать умерших – их призванье...

89

Факсимиле этого стихотворения приведено в книге: О. Мандельштам. Стихотворения. М.–Л. 1973. Почти одновременно с «Черноземом» наблюдая воронежскую весну, буйный разлив, когда река выходит из берегов, затопляет весь луг и вода переливается даже через дамбу, а иногда и врывается в город, Осип Эмильевич пишет еще одно небольшое стихотворение, которое перекликается с первым (оба стихотворения датированы апрелем), – «Я должен жить, хотя я дважды умер...». В стихотворении чувствуется большая симпатия поэта к городу, где оказался он не по своей воле.

90 Реалиями для строчек «Дайте свет, – прозрачных лунок на фанере не сочтешь...» послужила карта Воронежской области, сделанная на фанере. Населенные пункты на ней были обозначены лунками с горящими лампочками. Карта висела на телефонном переговорном пункте, где Мандельштамы часто бывали.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://mandelshamtamjoseph.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!